

А. Н. Горяинов

В РОССИИ И ЭМИГРАЦИИ:

ОЧЕРКИ О СЛАВЯНОВЕДЕНИИ
И СЛАВИСТАХ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Российская академия наук

Институт славяноведения

А. Н. ГОРЯИНОВ

**В РОССИИ И ЭМИГРАЦИИ:
ОЧЕРКИ О СЛАВЯНОВЕДЕНИИ
И СЛАВИСТАХ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА**

Москва
2006

Ответственный редактор

доктор исторических наук *М. А. Робинсон*

А. Н. Горяинов. В России и эмиграции: Очерки о славяноведении и славистах первой половины XX века. — М.: Институт славяноведения РАН, 2006. — 000 с.

Книга очерков о трагедии отечественного славяноведения, судьбах «славянской идеи», университетской славистике в первое десятилетие существования СССР. Рассмотрены различные аспекты биографии и научного творчества крупных отечественных славистов Д. Н. Егорова, В. И. Пичеты, С. А. Никитина, показан вклад в советское славяноведение болгарского политэмигранта-коммуниста Георгия Бакалова, рассказано о творческих контактах ученых-эмигрантов А. Л. Бема и М. Г. Попруженко с оставшимися в России коллегами В. И. Срезневским и Г. А. Ильинским, о загадках биографии скончавшегося в Чехословакии советского гражданина славяноведа А. Л. Петрова.

Предисловие

Эта книга — третья в серии из четырех исследований, над которыми многие годы трудится группа научных сотрудников, составляющих ныне научный центр «Россия и славянский мир в истории науки и общественной мысли» Отдела восточного славянства Института славяноведения РАН.

Замысел многопланового исследования истории отечественного славяноведения 20—40-х годов XX в. имеет тридцатилетнюю историю. Впервые он был высказан в середине 1970-х годов незабвенным В. А. Дьяковым, основателем и руководителем того научного коллектива, продолжателем традиций которого является Центр¹.

Пятилетний план работы Института в 1976—1980 гг. предусматривал начало работы над двухтомным коллективным трудом по истории отечественной славистики, его вторая часть должна была охватывать историю советского славяноведения с 1917 до середины 1960-х годов. Подготовка первого тома задуманного В. А. Дьяковым труда со временем трансформировалась, и после выпуска в 1979 г. библиографического словаря славистов дореволюционной России² завершилась в конце 1980-х годов публикацией книги о дореволюционном славяноведении³. Большая предварительная работа была проделана также по созданию второго, «советского» тома. Члены его авторского коллектива совместно с большой группой институтских и внеинститутских славистов составили библиографический словарь «Славяноведение в СССР» с краткими сведениями приблизительно о 1 500 ученых разных специальностей, занимавшихся славянскими странами (в связи с отсутствием финансирования науки в годы «перестройки» его удалось издать только в 1993 г. в США)⁴. Вышло десять сборников историографических работ, в которых регулярно публиковались статьи о различных вопросах истории советского славяноведения.

Однако написание серьезного научного труда по истории отечественной славистики после 1917 г. в условиях тоталитаризма оказалось невозможным. По мере накопления фактического материала все отчетливее вырисовывалась необходимость привлечения к объяснению ряда важ-

нейших вопросов (например, приоритетов исследования тех или иных проблем, причин создания и ликвидации славистических научных учреждений и кафедр, выяснения судеб славистов) таких документов и материалов, которые в то время были недоступны исследователям. Накопленный же опыт свидетельствовал о нереальности издания книги, объективно осознаваемой в плане теме.

Возможности для непредвзятого исследования отечественной славистики послеоктябрьского периода стали возникать только в самом конце 1980-х годов, но для их реализации исследователям необходимо было освоить новые источники, изучить выпущенную из «спецхранов» литературу. Вместе с тем становилось все более очевидным, что отечественная история второй половины 1950-х и последующих годов — это особый период в истории Советского государства, и историю науки этого периода, в том числе историю славяноведения, целесообразно изучать как самостоятельную проблему. В 1988 г. была пересмотрена концепция труда: в одном из документов 1990 г. он назван «Очерки истории славяноведения в СССР: Исследования и материалы». В «Очерках», согласно этому документу, должны были исследоваться «малоизвестные страницы становления славяноведения в СССР, проблемы усвоения марксизма старыми кадрами славистов, трагические судьбы репрессированных в 30-е годы ученых, причины возрождения славистики конца 30-х годов и особенно развитие славяноведения в годы войны».

Итогом ряда организационных мероприятий, проведенных в Институте в конце 1992 г. с целью интенсификации его работы, стала переориентация сотрудников, разрабатывавших вопросы истории славяноведения в СССР, на другую тематику. Тема «История отечественной славистики 20—40-х годов XX в.» исчезла из конкретных планов институтских исследований, сохранившись лишь в качестве одного из перспективных направлений — «Группы Славянской энциклопедии», где трудились участники бывшего коллективного труда. За долгие годы интенсивной работы ими был накоплен материал, представлявший значительную научную ценность, который и стал базой подготовки упомянутой выше серии монографий.

В 1996 г. в проекте плана Института впервые появилась индивидуальная тема Е. П. Аксеновой «Очерки по истории отечественного славяноведения 1930-х годов», реализованная в 2000 г. в виде книги⁵. Согласно распределению тематики между членами авторского коллектива несуществующих «Очерков истории славяноведения в СССР», Аксенова раз-

работывала историю академического славяноведения, некоторые признаки активизации которого наблюдались в 1930-е годы, и вполне естественно, что стержнем ее книги стала славистическая деятельность Академии наук СССР. В то же время она расширила свой труд за счет включения в него глав об условиях развития славяноведения в 1930-е годы, о репрессиях в отношении славяноведов, о славистике в высших учебных заведениях, о контактах советских славистов с зарубежными учеными. Е. П. Аксенова опиралась не только на свои разработки, но и на результаты исследований других сотрудников авторского коллектива неосуществленных «Очерков...» Разумеется, не остались без ее внимания и исследования других ученых.

Несколько позже Е. П. Аксеновой активизировал исследовательскую деятельность по изучению отечественного славяноведения межвоенного периода М. А. Робинсон. Первоначально его тема формулировалась как исследование «проблем усвоения марксизма» учеными «старой школы». Однако, вникнув в существо вопроса и изучив огромный массив писем крупнейших представителей академической славистики, исследователь отверг как совершенно несостоятельное существовавшее в советской науке мнение об освоении и усвоении учеными дореволюционной формации марксистской идеологии и методологии. В результате изменения «вектора» исследования, а также в связи с необходимостью длительной работы в архивах Петербурга, отсутствия материальных возможностей и других условий для такой работы М. А. Робинсону удалось завершить и опубликовать свою книгу только в 2004 г.⁶

М. Ю. Досталь, в соответствии с первоначальными планами, должна была сосредоточиться на изучении состояния славяноведения в СССР в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы. Эта проблематика разработана автором в целом ряде статей, являющихся хорошей основой для создания завершающего труда серии.

Автору настоящих очерков первоначально поручено было изучить проблемы университетского славяноведения. Он опубликовал ряд работ по этой тематике, относящихся как к 1920-м, так и к 1930-м годам, но после появления книги Е. П. Аксеновой освещение в рамках серии проблем университетского славяноведения в 1930-е годы стало излишним. Тема же о славяноведении в советских университетах 1920-х годов не была сколько-нибудь подробно освещена ни Е. П. Аксеновой, ни М. А. Робинсоном. Кроме того, в книгах Аксеновой и Робинсона совсем не затронуты или исследованы лишь отчасти такие, например, вопросы,

как трактовка «славянской взаимности» в Советской России и в эмигрантской среде; изучение истории, экономики и культуры зарубежных славянских стран иностранными коммунистами, эмигрировавшими в СССР; славистическая деятельность неакадемических библиотек.

Часть поставленных вопросов автор предлагаемой книги пытается решить в соответствующих тематических очерках, другие же он считает более целесообразным рассмотреть в рамках очерков о жизни и деятельности отдельных славистов. Здесь необходимо подчеркнуть важность биографического жанра как инструмента исследования истории науки в целом и особенно такого сложного комплекса различных научных дисциплин, как славяноведение, в разработке которого участвуют ученые разных специальностей. Биографический жанр стал популярен сравнительно недавно, сейчас он бурно развивается, и об этом свидетельствуют как уже появившиеся сборники биографий, так и исследования о конкретных славистах. Собирая материалы для неосуществленного коллективного труда по истории советского славяноведения, автор настоящей работы, историк по специальности, интересовался, прежде всего, судьбами славистов-историков. Часть работ о них в дополненном и переработанном виде включена в книгу. Кроме того, в рамках «портретного» жанра получила отражение работа некоторых ученых в области славянской библиографии и археографии. Не все очерки освещают деятельность славистов всесторонне. В случаях, когда о них имеется значительная литература или когда для раскрытия исследуемой проблемы особенно важна какая-либо сторона научного творчества того или иного слависта, рассматриваются только соответствующие аспекты их взглядов.

В отличие от Е. П. Аксеновой и М. А. Робинсона, ограничивших хронологические рамки своих книг 1930-ми или 1917 — началом 1930-х годов, автор предлагаемых очерков вынужден иногда выходить в биографических разделах за хронологические рамки 1917 — начала 1930-х годов. Поэтому в заголовке книги поставлены весьма широкие временные ориентиры, хотя преимущественно исследуются все же сюжеты, вписывающиеся в отрезок времени до начала 30-х годов XX в.

В приложениях к книге публикуется разысканный автором бесцензурный вариант статьи Г. А. Ильинского «Что такое славянская филология?», перечень книг, присланных Г. Бакаловым в Библиотеку им. В. И. Ленина и не перечисленных в библиографии его работ, а также библиография работ сотрудников Отдела восточного славянства ИС РАН, созданных

в рамках изучения истории отечественного славяноведения 1917—1945 гг., и перечень использованных архивных фондов.

Настоящие очерки содержат результаты не только индивидуального труда автора, но и совместных с другими учеными разработок ряда проблем. В отдельных очерках говорится о степени сотрудничества с коллегами.

Здесь бы автору хотелось выразить глубокую и искреннюю благодарность за помощь и поддержку всем своим товарищам по работе и прежде всего Е. П. Аксеновой, М. Ю. Досталь, Ю. Ф. Иванову, Л. П. Петровскому, А. В. Ратобильской, совместно с которыми автор начинал разработку биографических очерков, в дополненном и переработанном виде вошедших в данный труд, а также Л. Е. Горизонтову и В. С. Гречаниновой.

В заключение выражаю искреннюю признательность чехословацкой исследовательнице жизни и деятельности А. Л. Бема М. Бубениковой, вместе с которой было подготовлено издание переписки А. Л. Бема и В. И. Срезневского⁷, что определило содержание очерка о человеческой дружбе и научных контактах двух ученых.

Примечания

¹Подробнее см.: *Горизонтов Л. Е.* Путь историка // Дьяков Владимир Анатольевич (1919—1995). М., 1996. С. 22—23.

²Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиогр. словарь. М., 1979. 409 с.

³Славяноведение в дореволюционной России: изучение южных и западных славян / Отв. ред. Д. Ф. Марков, В. А. Дьяков. М., 1988. 415 с.

⁴Славяноведение в СССР: изучение южных и западных славян: Биобиблиогр. словарь. [New York, 1993]. 528 с.

⁵*Аксенова Е. П.* Очерки из истории советского славяноведения. 1930-е годы. М., 2000. 222 с.

⁶*Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 — начало 1930-х годов). М., 2004. 430 с.

⁷*Бем А. Л., Срезневский В. И.* Переписка. 1911—1936 / Сост., подгот. текста, введение, комментарии, именной указатель М. Бубениковой и А. Н. Горяинова. Брно, 2005. 183 с.

Идея «славянской взаимности» в 1920—1930-е годы: трактовка в Советской России и в среде эмиграции

У многих, наверное, осталась в памяти сценка из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок», в которой советский журналист Паламидов вразумляет американского корреспондента Хирама Бурмана, интересовавшегося еврейским вопросом в СССР: «У нас такого вопроса уже нет [...]. Нету. Не существует», — утверждал Паламидов¹, устами которого, конечно, высказывалась официальная точка зрения большевистского руководства. То же, по существу, в 1920—1930-е годы утверждали большевики и в отношении идей «славянской солидарности»: по их мнению, «славянская взаимность» была измышлением идеологов империалистической буржуазии и не имела в Советском государстве права на существование. Заметим, что к подобной позиции уже начиная с февральских событий 1917 г. сочувственно относилась по крайней мере часть русского общества. Об этом свидетельствует письмо историка культуры, члена-корреспондента РАН К. В. Харламповича выдающемуся отечественному славяноведу академику А. И. Соболевскому, возглавлявшему Санкт-Петербургское славянское общество. 31 мая 1917 г. Харлампович писал о бесперспективности проводившегося в Казани сбора в пользу сербов денежных средств. «Что нам до славян, — с горечью отмечал ученый в письме, — когда масса отеклась от собств[енного] славянства и даже от русского имени! Захотелось быть интернационалистами...»²

Но даже при общественной поддержке большевистские идеологи были не в состоянии отменить ни еврейский, ни, в особенности, славянский вопрос. В СССР, где подавляющее большинство населения принадлежало к славянским народам (русские, украинцы, белорусы, а также значительные в 1920-е годы польское, болгарское и чешское национальные меньшинства)³, они могли только его безосновательно игнорировать. В результате лишь усугублялись имевшиеся в Советском Союзе проблемы, в научном же плане такой подход отрицательно сказывался на славяповедении как важной части научного знания.

Отношение большевиков к «славянскому вопросу» определялось принятыми ими идеологическими постулатами. Идеи общности славян и «славянской солидарности» не соответствовали ленинской теории национального вопроса и проводившемуся большевистской партией на практике «принципу пролетарского интернационализма». На протяжении первой трети XX в. взгляды партийных идеологов на «славянскую взаимность» существенно менялись. До начала 1920-х годов их отношение к «славянской идее», как к одному из направлений общественно-политической мысли, было вполне безразличным, но постепенно оно становилось все более жестким. Правда, в конце 1920-х и начале 1930-х годов большевистское руководство СССР попыталось использовать западных носителей идей «славянской солидарности» в своих политических целях, но вскоре эта попытка провалилась. Тогда на все подозреваемое в «славянстве» начались открытые гонения, и в середине 1930-х годов проводившиеся ранее от случая к случаю репрессии в отношении славяноведов, в которых власти видели носителей идей «славянской взаимности», завершились полным разгромом славяноведения как науки. Во второй половине 1930-х годов под запретом оказались даже сами понятия «славянский вопрос», «славянская идея», «славянская солидарность». О них стало возможным говорить и писать лишь в 1939 г., в преддверии начала Второй мировой войны, когда идеи «славянской взаимности» стали политически актуальными в связи с угрозой агрессии со стороны фашистской Германии⁴.

Первым, кто обратил внимание на необходимость учета идей «славянской взаимности» в условиях, сложившихся в начале 1920-х годов, был известный славяновед Г. А. Ильинский, придерживавшийся либеральных взглядов. В «Ученых записках» Саратовского университета, в котором он тогда работал, Ильинский опубликовал статью «Что такое славянская филология?»⁵ Ученый рассматривал эту науку как «одно из важнейших звеньев в системе гуманитарных знаний»⁶, подчеркивал, что, наряду с разработкой теоретических проблем, славянская филология должна способствовать решению множества «жизненных, *чисто-практических* задач»⁷.

Ильинский предвидел, что после возникновения в результате Первой мировой войны новых западно- и южнославянских государств, «поставленный лицом к лицу со своими соплеменниками, русский народ принужден будет вступить с ними в теснейший контакт»⁸.

Чтобы межславянские связи оказались плодотворными, он считал необходимым «знакомство с географией славянских земель, этнографическим составом их населения, с историческим прошлым славянских

народов, с их языками и литературами, с современными экономическими и политическими условиями их развития, и т. д., и т. д.»⁹

О «славянской взаимности» или «славянской солидарности» в статье Г. А. Ильинского прямо не говорилось. Однако в некоторых случаях там употреблялось понятие «славянский племенной дух»¹⁰. Ильинский отмечал также факт отражения во всех славянских литературах таких «могучих движений», как борьба за национальную Кирилло-Мефодиевскую церковь, богомилство, итальянский гуманизм, реформация, «Просвещение», романтизм¹¹. В заключительной части статьи Ильинский пытался убедить власти, что славянская филология — это, по его определению, — «*дитя* славянского национального возрождения» «уже с первых шагов своего развития сделалась одним из самых мощных *факторов* его дальнейшего прогресса». Она «не есть только достояние некоторых наглухо замурованных от жизни ученых кабинетов и не есть даже искусственно взрощенный цветок какой-нибудь хотя бы ученойшей небылицы, но есть живой и цельный организм, связанный миллионами нитей с самыми реальными, житейскими, и даже, так сказать, с кровными интересами, общественной, политической и духовной жизнью славянских народов». При этом Г. А. Ильинский утверждал, что «как ингредиент и главное условие национального самосознания, славянская филология должна составлять необходимый элемент научного мирозерцания всякого работающего среди славянских народов гражданина»¹². «Да! Все говорит, что мы находимся накануне нового, небывалого расцвета славянских изучений, — заключал Г. А. Ильинский. — Этот расцвет будет так могуч и так пышен, что перед ним должны будут померкнуть и те бесчисленные заслуги, которые славяноведение оказало в своем более чем столетнем прошлом. Только теперь перед нашей наукой открывается перспектива нормального и беспрепятственного творчества во всей его необъятной широте, и только теперь славистика [...] получает возможность выйти из тиши ученых кабинетов на широкий форум жизни!»¹³

Попытка Ильинского привлечь внимание к назревшим вопросам практического воплощения в жизнь идей, так или иначе связанных с решением «славянского вопроса», не вызвала никакого сочувствия официальных инстанций, направлявших свои усилия на внедрение в идеологию масс классового сознания и всемерно умалявших значение всего национального; больше того, значительная часть цитирувавшихся выше упоминаний об общеславянских духовных ценностях была вычеркнута советской цензурой из опубликованного в Саратове текста. Эти высказы-

вания Ильинского дошли до нас только вследствие публикации полной версии его работы в Болгарии¹⁴.

Из статьи были вычеркнуты также слова о существовании в различных науках не связанных друг с другом закономерностей¹⁵, изъято определение филологии как «науки о словесном творчестве»¹⁶, уничтожен пассаж о «двух наиболее даровитых и культурных славянских народах, чешском и польском», которые после мировой войны «как фениксы восстали из пепла к новой жизни»¹⁷. Гонения на статью Г. А. Ильинского свидетельствуют о нежелании большевиков, находившихся в плену усвоенных ими догм, даже ставить самые насущные вопросы, вытекавшие из необходимости осмысления новой роли западных и южных славян в мире и разработки практической политики в отношении вновь образовавшихся славянских государств.

В 1924 г. ректор Белорусского университета В. И. Пичета опубликовал брошюру, в которой рассмотрена национально-культурная функция белорусского языка¹⁸ (о ней еще пойдет речь в посвященном Пичете очерке). Здесь следует отметить, что уже в этой работе ученому пришлось говорить об идеях «славянской взаимности» эзоповым языком и подстраиваться к взглядам руководителя советской исторической науки тех лет М. Н. Покровского.

Покровский и его ученики время от времени высказывали в советской печати негативное отношение к «славянской идее». Глава новой «школы» в издевательском тоне писал, например, о «русских вариациях» на тему о «единокровных братьях-славянах», которые он считал разновидностью западноевропейских буржуазно-националистических идей¹⁹. Покровскому вторил его ученик, известный в будущем историограф и специалист по отечественной истории Н. Л. Рубинштейн. В сборнике, вышедшем под редакцией Покровского, он утверждал, будто бы русские славянофилы симпатизировали «в гораздо большей степени... русским славянам, нежели западным их соплеменникам»²⁰.

26 июня 1927 г. Покровский опубликовал в газете «Правда» статью в связи с началом 27 июня работы в Варшаве конференции историков восточноевропейских стран, хлестко назвав ее «Панславизм на службе империализма». В статье было заявлено, что конференция историков стран Восточной Европы продолжает съезды неославистов 1900-х годов²¹ и она, подобно всем другим форумам, посвященным славянским народам, должна будет заняться моральной подготовкой к войне. Там утверждалось, что круг представленных на конференции государств опреде-

лен на основе путаной, ненаучной классификации, что эта классификация маскирует политическую ангажированность участников, являющихся не учеными, а политиками антисоветской ориентации. Первенствующий советский историк намеренно смешал столь разнородные проявления интереса к славянским народам, как различные политические интерпретации «славянской идеи» и науку славяноведения, чтобы распространить на славяноведение вывод: «панславизм всегда был чисто политическим явлением, вернее политическим оружием в руках самых разнообразных деятелей» и поэтому никого не удастся обмануть современными «всеславянскими конгрессами, “научно” рассуждающими о создании новых блоков». Справедливо отмечая различие политических интересов у разных интерпретаторов «славянской взаимности», Покровский, вместе с тем, отказывался выяснять особенности подходов своих современников к «славянскому вопросу». Он считал вполне достаточным просто указать, что «уже около 20 лет назад» «политическое оружие» в форме «славянской идеи» целиком «перешло в руки нового хозяина, и этим хозяином был империализм», направивший попавшее в его руки оружие на восток, т. е. против Советского Союза.

Особое место в статье занимали русские эмигранты, символом которых для Покровского являлся П. Н. Милюков. По мнению автора, Милюков когда-то «был крупным русским историком», но «давно перешел на чисто политическое амплуа», и его книги теперь являются «собранием газетных сплетен о большевиках и Советской власти». Трудно думать, заявляет Покровский, что оказавшийся на положении эмигранта глава кадетской партии был приглашен на конференцию «с нарочитой целью сделать доклад о состоянии русской исторической науки конца XIX в.»

Приглашение на конференцию Милюкова (и, подразумевается, других ученых-эмигрантов) Покровский, таким образом, оценивает как показатель ее политического, а не научного характера, видит в этом приглашении антисоветские происки организаторов форума. Его позиция не случайна. Большевистское руководство, взгляды которого выражал руководитель советской исторической науки, было, видимо, серьезно озабочено налаживавшимся взаимопониманием между эмигрантами и зарубежными поборниками идей «славянской солидарности». Как правильно отмечает Е. П. Аксенова, партийные идеологи были раздражены тем, что слависты, эмигрировавшие из СССР, за границей свободно высказывали и отстаивали свои научные взгляды²².

Но различные партийные идеологические «инстанции» не могло не волновать также то воздействие, которое славяноведы-эмигранты, не понаслышке знавшие о всех «прелестях» идеологического давления на советскую науку, могли оказать на своих зарубежных коллег и зарубежное общественное мнение в целом. Недаром академик Н. С. Державин (о нем речь ниже) называл «возмутительной ложью» и «клеветой» правильные, по сути, утверждения эмигрантских ученых на IV съезде русских академических организаций за границей (1928 г.), что СССР «не интересуется славянами и не изучает их»²³.

В первой трети XX в. наблюдается оживление славянского движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, возникших на развалинах Австро-Венгерской монархии. В новых, коренным образом изменившихся условиях, возобновляют свою деятельность лидеры довоенного неославистского движения зарубежных славян К. Крамарж, С. Бобчев, Р. Дмовский, реорганизуются старые и создаются новые славянские общества. Не остаются в стороне и эмигранты из Советской России.

Еще летом 1920 г. первые эмигранты, выехавшие из Крыма, создали в Белграде газету «Славянская жизнь», перед заглавием которой подобно большевистскому лозунгу «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» регулярно печатался призыв «Все славяне, объединяйтесь!»²⁴ Наиболее солидную эмигрантскую газету, поставившую целью пропаганду идей «славянской солидарности», основал в 1928 г. при финансовой поддержке чехословацких правительственных структур, возглавлявшихся К. Крамаржем²⁵, бывший «легальный марксист», а затем либеральный журналист и ученый П. Б. Струве. В газете, которая выходила в Париже с декабря 1928 по июнь 1934 г. и афишировала себя как «орган национально-освободительной борьбы и славянской взаимности», наряду с материалами русских эмигрантов часто помещались статьи К. Крамаржа и других сторонников идеи «славянской взаимности» из числа западных и южных славян.

Наряду с главной задачей — вести бескомпромиссную борьбу с коммунизмом — в программной статье первого номера «России и славянства» провозглашалась еще одна — «осуществление междуславянской взаимности на почве сближения России и славянства»²⁶.

Газета писала, что в понимании ее сотрудников «славянская взаимность» «предполагает *приятие* России, а приятие России есть *отвержение коммунистической советчины*... Сила славянства неотделима от силы России»²⁷.

В газете отмечалось также, что издателям близко то славянство, «которому дорога сильная национальная Россия»²⁸. Вместе с тем там «решительно отвергались» «всякие проявления насильственной гегемонии империализма по отношению к славянству»²⁹ и сообщалось, что газета не разделяет «одиозного» старого панславизма. России, освобожденной от большевизма, считала редакция, «придется *наново* строить свои отношения к славянству»³⁰. По мнению «России и славянства», будущее межславянских отношений должно определяться двумя принципиальными положениями: признание окончательными существующих границ между славянскими государствами и «признание со стороны всех славянских государств за всеми славянскими племенами и народами права на культурное самоопределение»³¹.

По мнению П. Б. Струве, российские эмигранты в славянских странах осуществляли чрезвычайно важную миссию, превращая в «реальные, культурные, бытовые» прежние «идеальные и политические» связи России с зарубежным славянством и таким образом подготавливая почву для «здоровой, никому не угрожающей славянской взаимности», которая «выльется и отвердится в самые разнообразные прочные связи»³².

Советские власти, по всей вероятности, внимательно следили за публикациями «России и славянства»: в числе очень немногих эмигрантских органов печати газета поступала в «спецхраны» едва ли не всех крупнейших библиотек Москвы³³.

Здесь надо подчеркнуть, что взгляды по «славянскому вопросу» представителей различных течений в среде русской эмиграции немногим отличались друг от друга. Показательна в этом отношении позиция интерпретатора и пропагандиста «славянской идеи» в среде словацкой интеллигенции, российского ученого-карпатоведа Е. Ю. Перфецкого, взгляды которого были достаточно противоречивыми, но, в общем, эволюционировали влево. Он, подобно Струве, исходил из грядущей роли России как главной опоры славянства. Перфецкий считал, что для успешного выполнения этой роли будущей России необходимо освободиться от груза «ошибочных» и «чужеродных» принципов самодержавного строя, сложившихся еще в эпоху Петра I. По его мнению, единая и неделимая Россия вместе с другими славянскими народами должна стать интегральной частью европейской цивилизации. «Если свобода самостоятельных народов есть принцип Западной Европы, то может ли славянский Восток быть исключением?» — риторически вопрошал он³⁴.

Немногим отличались от изложенных выше взглядов Струве и Перфецкого воззрения на «славянский вопрос» «истиннорусских» славянофилов — националистов. Попав в эмиграцию, они скоро поняли, что в новых условиях уповать на главенство России в славянском мире не только не реалистично, но и опасно. Один из видных сторонников «славянофильского» течения А. А. Башмаков так же, как и редакторы «России и славянства», утверждал, что учение, которого он придерживается, «не имеет ничего общего с панславизмом». Он полагал, что славянофильство — это только «исторический синтез русского народного духа», философская система, которая «расчистила путь к возрождению славянства и призвала его к новой жизни»³⁵.

Отличие взглядов Башмакова и его сторонников от воззрений либералов в «славянском вопросе» состояло преимущественно в подчеркивании роли православия для сохранения «славянской идеи», причем лишь в русской эмигрантской среде. Они также более активно, чем либералы, высказывали претензии к общественности и правительствам славянских стран за то, что в этих странах забывают о благодеяниях, оказанных в свое время зарубежным славянам Россией, и не выполняют своего долга, помогая русским беженцам лишь на уровне благотворительности³⁶.

Будущая роль освободившейся от большевиков России в славянском мире активно обсуждалась не только в эмигрантских изданиях, но и среди зарубежных деятелей славянского движения. Большинство их приходило к выводу, что для решения «славянского вопроса» необходимо «русско-славянское» сотрудничество. *«Будущность славянства зависит от судьбы и будущей ориентации России»*, — писал в «России и славянстве» К. Крамарж, отмечая, что только при помощи Российского государства «славянство может сделаться важным фактором мировой политики» и предлагая в связи с этим не идти на компромиссы с большевиками, а также оказывать более действенную поддержку эмигрантам³⁷.

На подобных же позициях стоял и глава Славянского общества Болгарии С. Бобчев. В журнале общества «Славянски глас» он заявлял, что «славянская идея» «жива, действительна и направлена в своих существенных чертах на самые благородные цели: культурно-хозяйственный, духовный и человеческий прогресс путем сотрудничества с цивилизованными народами»³⁸. Бобчев выдвинул целую программу претворения в жизнь «славянской идеи». Она предусматривала установление между славянскими государствами тесного сотрудничества в политической, экономической и культурной областях при всемерном сохранении их национальных осо-

бенностей; воплощение в жизнь идей славянского равенства, братства и взаимопомощи; осуждение славянского сепаратизма и партикуляризма; сближение славянства с неславянским культурным миром, со всем человечеством³⁹. В программе Бобчева нашел свое место и тезис о потенциальном значении России в славянском мире. «В настоящее время, да и в будущем [...], — писал он, — у славянских народов нет и не должно быть какого бы то ни было суверена, который рассматривался бы как их высший начальник и покровитель. Однако нельзя отрицать, что великая Россия по своему положению самой большой, самой многолюдной и самой заслуженной в деле славянской самопомощи державы имеет право быть первой среди равных»⁴⁰. Сейчас, по мнению Бобчева, место России в «славянском концерте» пусто, но она должна занять его в будущем. Пока же «господство большевизма и Коминтерна» не дает возможности проявляться «славянской идее» в пределах России, ее знамя несет русская эмигрантская интеллигенция, которая в многочисленных публицистических и научных работах обращается к «славянской идее» как к жизненной необходимости⁴¹.

Таким образом, зарубежные сторонники «славянской идеи» в своем большинстве разделяли взгляды на «славянскую взаимность» русской эмиграции. Советские лидеры попытались расколоть это единство. В какой-то момент они задумались, видимо, над тем, чтобы использовать в своих политических целях существовавшие у части зарубежных ученых симпатии к российской науке.

В августе 1928 г. М. Н. Покровский во главе делегации советских историков принял участие в VI Международном конгрессе историков в Осло (вместе с ним в заключительных заседаниях этого научного форума участвовал и Д. Н. Егоров, которому посвящен один из последующих очерков). Спустя почти полтора года Покровский, выступая с докладом об очередных задачах историков-марксистов, неожиданно поделился впечатлениями о беседах членов делегации с приехавшими на конгресс учеными из славянских стран. Покровский заявил, что обнаружил в Осло «известное тяготение» к советской делегации некоторых южнославянских ученых. «Мы могли бы, несомненно, при немного большей бойкости и предприимчивости с нашей стороны, — отмечал он, — организовать этих славянских историков около себя...» Покровский предлагал реализовать открывающиеся возможности воздействия на славянских ученых с помощью славяноведения. «Сейчас, несомненно, происходит борьба за центр славяноведения между Прагой, Варшавой и Москвой. И, несом-

ненно, есть элементы в Югославии и Болгарии, которые больше тяготеют к Москве, нежели к Праге и Варшаве», — отмечал глава советских историков⁴².

Своеобразным сигналом о готовности Москвы претендовать на руководство славянским движением стало не основанное ни на чем, кроме благих пожеланий, утверждение Покровского о борьбе столицы СССР за руководящую роль в мировой славистике. Следствием выступления Покровского было создание в Ленинграде, где еще сохранилось некоторое число старых славистических кадров, крайне немногочисленного по составу Института славяноведения⁴³. Перед Институтом были поставлены не только научные, но и политические цели: характерно упоминание в одном из документов о политическом влиянии нового научного учреждения в своей области⁴⁴.

Институт славяноведения возглавил академик Н. С. Державин⁴⁵. «Хитрый ученый и умелый конформист, приспособившийся к любой политике любой власти»⁴⁶, верный последователь Н. Я. Марра и пропагандист марровской «яфетической теории» (Г. А. Ильинский характеризовал ее как «своеобразную смесь невежества, святой наивности и самой дикой фантазии»)⁴⁷, исследователь незначительного научного потенциала и невысоких моральных качеств, он был, однако, искренне предан славяноведению как науке. Именно эта преданность позволила Державину сыграть в нелегкой судьбе советского славяноведения положительную роль.

Институт начал работу в сентябре 1931 г. В связи с началом его деятельности в научных изданиях появились статьи Н. С. Державина и В. Н. Кораблева (о последнем и его статьях еще будет сказано ниже)⁴⁸, а также подробный обзор состояния зарубежной славистики авторитетного учено-этнографа члена-корреспондента АН СССР Д. К. Зеленина⁴⁹.

Задачей Зеленина было показать как советским, так и (может быть, главным образом) зарубежным ученым, что в Советском Союзе знают о деятельности славистов Запада и что там хотят сотрудничать со специалистами-славяноведами, стоящими на дружественных СССР позициях. Он оговаривался, что рассматриваемые в обзоре работы неприемлемы для советских исследователей методологически и в связи с антисоветской направленностью, а также потому, что многие их авторы являются белоэмигрантами. В то же время автор отметил: славяноведением на Западе занимаются не только враги, но и зарубежные друзья Советского Союза, с ними следует поддерживать контакты и оказывать им необходимую по-

мощь. «Для того, чтобы продвинуть разрешение этой задачи и для того, чтобы изучить арсенал врага, мы и считаем необходимым познакомить наших читателей с состоянием изучения современного славянства в Западной Европе», — обосновывал публикацию своего обзора ученый⁵⁰.

Видимо, чтобы привлечь симпатии западных ученых объективностью и «научностью» обзора, Зеленину было позволено многое. Ему разрешили, например, привести без каких-либо комментариев цитату из статьи львовского украиноведа Е. Пеленьского «Украинская этнография последних лет»⁵¹ с критикой «курьезных» ошибок этнографов Советской Украины и замечанием, что эти теоретики «марксизма» в этнографии повторяют «более или менее точно теории Тэйлора и других представителей антропологической школы», а их «марксистско-интернационалистский» метод проявляется только подспудно, например при выборе тем исследования⁵².

В обзоре упоминаются русские и украинские ученые-эмигранты А. Л. Бем, Н. П. Кондаков, А. Л. Погодин, В. А. Францев, Н. В. Ястребов и др. Зеленин не побоялся отметить, что зарубежные исследователи констатируют «некоторую пустоту», образовавшуюся в связи с разрушением научного центра славянского языкознания, существовавшего в России до революции. Заполнить эту пустоту, отметил ученый, сейчас пытается Прага, которая является не только центром чешской и словацкой славистики, но и «одним из крупнейших центров немецкого славяноведения [...], а также научным центром эмигрантско-украинских и эмигрантско-русских ученых кругов»⁵³.

Таким образом, ученому была дана возможность донести до читателей более или менее объективную информацию. Зеленин воспользовался этой возможностью в полной мере. В обзоре кратко оценивается деятельность существующих в мире славяноведческих научных учреждений, называются периодические издания по славяноведению, перечисляются появившиеся после Первой мировой войны монографии и важнейшие статьи о славянских странах и народах, вышедшие в Западной Европе и США. Обзор на фактах научной жизни и историографических источниках показывает, насколько успешно развивается славяноведение за рубежом, сколь большое значение придается славистическим исследованиям в Чехословакии и других славянских странах. В кратком предисловии Зеленин писал о внимательном отношении к славистике в государствах Запада.

Наибольшее внимание Д. К. Зеленин обращает на изучение на Западе проблем славянской этнографии. Он останавливается также на разработке европейскими учеными истории славяноведения, вопросов церковнославянского языка, древнейшей истории славян, славянских топонимики и фольклора, межславянских связей, на зарубежной библиографии славяноведения, пишет об интересе в западных странах к Достоевскому и Толстому, к русской истории, философии и психологии.

Отмечен в обзоре и один печальный результат нападок М. Н. Покровского на конференцию историков стран Восточной Европы. Как мы помним, глава советской исторической науки упрекал организаторов конференции в нечетком определении круга ее участников. Оказывается, критика Покровского получила практическое воплощение в практике межславянских научных связей. Дело в том, что конференция восточно-европейских историков являлась лишь одним из многочисленных форумов ученых восточноевропейских стран разных специальностей. Через несколько месяцев после нее состоялся второй съезд славянских географов и этнографов, в котором принимала участие советская делегация. Как сообщает Д. К. Зеленин, на съезде «советские делегаты заявили, что советские ученые могут участвовать лишь в таких славянских конгрессах, где принимают участие все специалисты данной отрасли знания, независимо от их национальности; между тем на съезды славянских географов и этнографов приглашались лишь представители славянских государств...»⁵⁴

Завершая обзор, Д. К. Зеленин вновь подчеркнул притязания Москвы на руководящую роль в славяноведении. Он выразил надежду, что «открытие в Ленинграде при Академии наук СССР Славянского института должно вдохнуть в международную славистику новое содержание и подлинно научные методы работы»⁵⁵.

Сути новых подходов к славяноведческим исследованиям были посвящены статьи Н. С. Державина, определявшие методологические принципы и программу деятельности Института славяноведения. Как и Г. А. Ильинский, Н. С. Державин признавал необходимость изучать современное славянство, но он требовал рассматривать «живую славянскую современность» в «разрезе истории классово-борьбы»⁵⁶. Славянский мир и славянская культура являются, по его мнению, лишь одним из многочисленных «национальных оформлений» «хозяйственных участков» мировой экономической системы и общечеловеческой культуры⁵⁷.

Исходя из этого, академик выражал свое резко отрицательное отношение «ко всяким идеологическим пережиткам старого феодально-крепостнического строя в виде теорий “славянофильства”, “панславизма”, “славянского единения и взаимности” и прочих, и прочих классово враждебных пролетариату идеологий»⁵⁸. Таким образом, отрицался подход к славяноведению как к комплексу национально-культурных проблем⁵⁹.

В результате сама постановка вопроса Державиным исключала возможность серьезного изучения сотрудниками возглавленного им института «славянской идеи». В двух вышедших томах единственного институтского издания — «Трудов Института славяноведения» можно отметить только считанное число статей, в которых хотя бы отчасти затрагивается «славянский вопрос». В первом томе опубликованы небольшая работа В. Н. Кораблева о С. Радиче и написанный им же обзор деятельности Славянского института в Праге⁶⁰.

В статье автор, останавливаясь на взглядах сербских и хорватских политических деятелей по вопросам взаимоотношений между сербами и хорватами в Югославии 1920—1930-х годов, отмечал нежизнеспособность в условиях острой национально-политической борьбы идей «славянского единства». В обзоре Кораблев осуждал взгляды ученых пражского института на славянство как на некое этническое единство со специфическими особенностями, назвав подобный взгляд «неопанславизмом».

По всей видимости, появление именно этих материалов стало причиной резко негативной оценки перспектив научной деятельности В. Н. Кораблева со стороны Г. А. Ильинского, который еще в декабре 1928 г. нелестно отзывался о нем в письме М. Г. Попруженко⁶¹. В июне 1932 г. Ильинский писал Б. М. Ляпунову: «В успехи занятий Кораблева славистикой я не верю. Человек, который еще недавно состоял секретарем ультрамонархического Славянского Благотворительного общества, а также помощником главного редактора Правительственного вестника, человек, воевавший даже с неославизмом, как со слишком либеральным движением, объявляет себя чуть ли не стопроцентным марксистом и собирается в этом диаметрально противоположном своим прежним убеждениям направлении разрабатывать вопросы славистики!! Мне кажется, что с таким прошлым и с такой психологией можно только насилловать науку, а вовсе не двигать ее вперед!»⁶²

Во втором томе со статьей «Балканские славяне и русские “освободители”» выступил К. А. Пушкиревич⁶³, который, изучив некоторые архивные материалы о деятельности Славянских благотворительных ко-

митетов, сделал никак не соответствующий действительности вывод, что комитеты были классовыми организациями, а их идеология являлась не только реакционной, но и антинародной. Разоблачителем «славянской идеи» вновь проявил себя В. Н. Кораблев, который в ряде опубликованных в том же номере статей утверждал, что видные русские и славянские ученые были, по существу, агентами царизма, что царское правительство рассчитывало на них «в проведении среди славян своих панславистских планов»⁶⁴.

Е. П. Аксенова обратила внимание на наличие в «Трудах» Института славяноведения публикаций, «значительно расширяющих представления об эмигрантской науке»⁶⁵. Ей удалось убедительно показать, что, «не опускаясь до злобной политической травли русских коллег за рубежом», авторы различных материалов первого (добавлю — и второго. — А. Г.) тома «Трудов», все же в полной мере высказали то жесткое отношение к эмиграции, которое желали показать зарубежным ученым М. Н. Покровский и другие руководители советской науки⁶⁶.

Н. С. Державин подчеркнул в своей программной статье, открывавшей первый том «Трудов», что новый Институт славяноведения рассчитывает на пересмотр учеными Запада «старых научных позиций» «во имя интересов живой науки, живой современности и подлинных интересов классовой солидарности трудящихся во всем мире»⁶⁷. Однако, как и следовало ожидать, расчет оказался несостоятельным. Ученые западных стран не торопились заменять «славянскую солидарность» классовой, а русские слависты-эмигранты продолжали пользоваться их поддержкой. Это, по всей вероятности, и привело, в конечном счете, к ликвидации института: летом 1934 г., спустя менее трех лет после открытия, он прекратил существование.

Формально Институт славяноведения был закрыт в связи с необходимостью усиления работы по славяноведению во всех гуманитарных учреждениях Академии наук⁶⁸. В нем, однако, фактически стало некому работать: не менее половины сотрудников института, не обеспечивших выполнения политического задания властей, были сделаны участниками так называемого «дела славистов» или стали жертвами иных политических процессов. Директор института Н. С. Державин остался, правда, на свободе, но он был внесен в обвинительное заключение по «делу славистов» под первым номером как один из руководителей мифической «Российской национальной партии». От ареста и обвинительного приговора его спас, видимо, только ранг академика⁶⁹.

Сфабрикованные ОГПУ процессы, в результате которых репрессиям подверглись наиболее крупные историки и филологи, занимавшиеся зарубежными славянами, начались одновременно с подготовкой к созданию Института славяноведения. В последующих очерках будет рассказано о трагических судьбах некоторых жертв режима — Д. Н. Егорова, В. И. Пичеты, Г. А. Ильинского, С. А. Никитина. В течение 1928—1930 гг. были также репрессированы проходившие вместе с Д. Н. Егоровым и В. И. Пичетой по «академическому делу» историки — академик М. К. Любавский, члены-корреспонденты РАН В. Н. Бенешевич и Ю. В. Готьё⁷⁰.

Осенью 1929 г. репрессиям подверглось несколько украинских ученых, на которых ОГПУ навесило ярлык участников «контрреволюционной националистической организации», среди них языковеды В. П. Петрусь и В. К. Демьянчук⁷¹.

25 декабря 1933 г. был арестован как участник «контрреволюционной националистической организации украинских болгар» бывший сотрудник Института славяноведения (к моменту ареста — профессор Ленинградского областного педагогического института) Д. Д. Димитров⁷².

10 февраля 1934 г. по обвинению в принадлежности к белорусским «национальным демократам» «карательные органы» арестовали работавшего в то время в Минске специалиста по восточнославянским языкам и межславянским языковым связям П. А. Бузука. Ученый был сослан в Вологду, в конце 1937 г. его вторично арестовали в ссылке и 17 февраля 1938 г. казнили⁷³.

Шли аресты также среди коммунистов-политэмигрантов из славянских государств, часть которых изучала историю рабочего, революционно-го и национально-освободительного движения своих родных стран (поляки Х. Битнер, Б. Будкевич, Е. Пшибышевский и др.; болгары И. Василев, Х. Кабакчиев; югославский коммунист Ф. Филипович)⁷⁴.

Все перечисленные профессора и научные работники в той или иной степени занимались зарубежными славянами, а курсом М. К. Любавского «История западных славян», который незадолго до ареста академика в совершенно недопустимых выражениях критиковала газета «Ленинградская правда», студенты пользовались до середины 1950-х годов⁷⁵.

Апогеем преследования славяноведов был конец 1933 и начало 1934 г., когда ОГПУ сфабриковало так называемое «дело славистов»⁷⁶. Его участниками стали люди разных профессий, но все они принадлежали к интеллигенции. Самую большую группу среди арестованных составили славяноведы-филологи, в числе которых были академики В. Н. Перетц

и М. Н. Сперанский, члены-корреспонденты Академии наук Н. Н. Дурново, Г. А. Ильинский, А. М. Селищев, многие другие серьезные ученые, в том числе будущий глава советских филологов и академик В. В. Виноградов.

Фабриковавшееся «дело» было, видимо, рассчитано, на запугивание и унижение интеллектуалов. Из нескольких направлений, по которым его можно было создавать, следователи сочли самой заманчивой версию, ведущую к «видным славяноведам, обладающим широкими связями за кордоном»⁷⁷.

Следствие вменяло в вину несчастным людям, значительная часть которых не имела никакого отношения к славяноведению, участие в разветвленной контрреволюционной националистической организации «Российская национальная партия», организованной «по прямым указаниям русского заграничного фашистского центра». Руководителями мифического «центра» следователи сделали (не для того ли, чтобы еще раз очернить эмигрантских ученых в глазах зарубежных славистов?) русских славяноведов Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсона, П. Г. Богатырева, обосновавшихся в Австрии и Чехословакии. Придать версии следствия некоторую видимость правдоподобия позволяла принадлежность Трубецкого к числу идеологов евразийства⁷⁸.

В состав российского «руководства» придуманной «партии» кроме Н. С. Державина, о чем уже сказано выше, было зачислено еще пятеро академиков: специалисты по славянской филологии и истории М. С. Грушевский, В. Н. Перетц, М. Н. Сперанский, представители естественных наук В. И. Вернадский и Н. С. Курнаков. Туда же включили членов-корреспондентов АН СССР филологов Н. Н. Дурново и Г. А. Ильинского, ученого секретаря Института славяноведения историка и журналиста В. Н. Кораблева⁷⁹.

Четверо академиков, включая Н. С. Державина, в конечном счете, остались вне «дела»⁸⁰, пострадали лишь М. Н. Сперанский, который был осужден условно, и сосланный в Саратов В. Н. Перетц, скончавшийся в ссылке⁸¹. Остальные «руководители» из лагерей и ссылок не вернулись: В. Н. Кораблев умер в 1936 г., Дурново и Ильинский были расстреляны в 1937 г.⁸²

Всем участникам «дела славистов» приписывались не только конкретные «преступные деяния», но и «националистические» (по мнению следователей) взгляды. Были объявлены преступлениями такие пункты несуществующей программы мифической «партии», как «примат партии

над классом», сохранение «самобытной культуры, нравов, быта и исторических традиций русского народа», «религии как силы, способствующей подъему русского национального духа». Наконец, преступной была сочтена «пропаганда» идеи «исключительного исторического будущего славян как единого народа», основанная на идее «превосходства славянской расы» (сама формулировка последнего пункта показывает, насколько некомпетентными были составители обвинительного заключения в вопросах «славянской взаимности») ⁸³.

Орудием пропаганды идей, враждебных большевизму, следствие считало любое исследование, посвященное зарубежным славянам. Под давлением следователей Н. Н. Дурново вынужден был, например, дать показания (находясь в лагере, он от них отказался) ⁸⁴, что Институт славяноведения в Ленинграде являлся «легальной базой контрреволюционной деятельности» ⁸⁵.

Н. И. Кравцову, который через несколько лет защитил книгу «Сербский эпос» в качестве докторской диссертации ⁸⁶ следователь ставил в вину, что этот его труд — «орудие в борьбе против нас, нашей идеологии» ⁸⁷.

Таким образом, не только идеи «славянской взаимности», но и вся научная работа по славяноведению были прямо отнесены к разряду антисоветских деяний, подлежащих уголовному преследованию.

Нетрудно понять, какие негативные последствия имели широкомасштабные репрессии в отношении славяноведов для «славянской солидарности». Все, еще разделявшие хотя бы в какой-то степени идеи «славянской взаимности», вынуждены были замолчать. Впрочем, властям удалось добиться этого не сразу.

В 1927 г. академик М. С. Грушевский попытался противопоставить разгромной статье М. Н. Покровского о конференции историков в Варшаве объективную информацию. С этой целью был использован редактировавшийся ученым журнал «Україна», в котором участник конференции, западноукраинский ученый М. Кордуба опубликовал краткий, но правдивый отчет о форуме ⁸⁸.

Более решительно выступил в декабре 1929 г. поэт и литературовед М. П. Драй-Хмара, впоследствии также репрессированный и погибший в лагере ⁸⁹. Он опубликовал в харьковской газете «Пролетарская правда» статью «Проблемы современной славистики» ⁹⁰, где в очень осторожной форме писал о необходимости сохранения славистических кадров. Драй-Хмара сетовал на «равнодушие к славяноведению, как наших руководящих кадров, так и широких слоев граждан», заявлял, что причиной этого

является подмена в царской России славяноведения «славянской фразеологией», т. е. различными интерпретациями «славянской идеи». «К великому сожалению, — справедливо подчеркивал Драй-Хмара, — у нас и теперь еще путают эти два, совершенно различных, понятия». Отметив, что отсутствие научных связей со славянскими странами и изучения славистики мешает внедрению в жизнь славянских соседей СССР марксистских идей и методологических «достижений», он проводил ту мысль, что организация славистических исследований диктуется интересами самого Советского государства. «Нам не к лицу плестись в хвосте славистической деятельности, — подчеркивал Драй-Хмара, — мы должны принять в ней самое деятельное участие» путем «экспансии нашей пролетарской культуры».

В статье Драй-Хмары содержались совершенно несостоятельные, с точки зрения славяноведения, утверждения об отсутствии у славянских народов антропологического сходства и общего культурного наследия. Автор, видимо, вынужден был прибегнуть к ним, чтобы обосновать приемлемый, по его мнению, для властей тезис о возможности изучать «такие славистические проблемы, как солидарность, сближение, или конкретные связи» без привлечения исторического материала, абстрагируясь «от генетических разысканий...» В то же время он пытался подчеркнуть наиболее понятную для малосведущих в славяноведении советских руководителей практическую цель — изучение современного состояния зарубежного славянства.

В статье Драй-Хмара осторожно намекал также на успехи отечественных языковедов в разработке традиционных направлений славянского языкознания и на допустимость исторического подхода при решении теоретических вопросов славяноведения. В заключение он предлагал приступить к практическим шагам по возрождению славяноведения на Украине и создать для этого специальную комиссию при Украинской академии наук. По мнению Драй-Хмары, вокруг комиссии следовало объединить все наличные силы славистов.

Как видим, пожелания видного деятеля украинской культуры были в целом созвучными с предложениями, высказанными еще Г. А. Ильинским. Впрочем, статья Драй-Хмары тоже осталась без последствий. После же завершения «дела славистов» власти сделали все, чтобы не только искоренить какие-либо попытки отечественных ученых заниматься изучением славянских народов и межславянскими связями, но и прекратить любые контакты советских и зарубежных славяноведов. С этой целью

был использован упоминавшийся уже выше Д. Д. Димитров. В конце 1934 г. он был осужден условно и некоторое время находился на свободе, но за эту недолгую передышку (в 1937 г. Димитров разделил участь своих коллег) ученому пришлось дорого заплатить⁹¹.

В конце 1934 г. Д. Д. Димитров был вынужден выступить в Институте языка и мышления АН СССР с докладом «Славянская филология на путях фашизации». В докладе и опубликованной на его основе статье славянская филология характеризовалась как «наука чисто эмпирическая, описательная», которая пользуется «лишь формальным» методом исследования и потому далека от подлинной науки⁹².

Димитров писал об «органической связи славистики со славянофильством»⁹³, а «веру, расу и власть»⁹⁴ объявил знаменем славянской филологии в дореволюционной России и на Западе. Этого оказалось достаточно, чтобы утверждать: славянская филология как дисциплина, отстаивающая «особую, самобытную природу» и «вытекающую из нее мессианскую роль» «славянского типа», «была всегда наукой, заведомо и насквозь пропитанной зоологическим национализмом»⁹⁵.

Далее Димитров писал о «служебной, вернее прислужнической, роли славистики перед паразитическими классами» и об использовании славянской диалектологии «для нужд захватнической и ассимиляторской политики того или иного буржуазного государства». В статье утверждалось, что за последние годы «наука о славянах не только не разрешила, но и не выдвинула новых, актуальных с точки зрения науки проблем». Теоретической базой славянской филологии Димитров считал «идеализм фашистского типа»⁹⁶, славяноведение, по его мнению, на современном этапе выродилось «в самую откровенную теологию»⁹⁷.

Завершает статью вывод: «Славянская филология на Западе плотно врастает в фашизм и этим самым теряет право на науку, ибо фашизм с его расовой теорией, как сказал [...] товарищ Сталин, так же далек от подлинной науки, как небо от земли»⁹⁸.

Поскольку глава советской славистики Н. С. Державин остался на свободе, в статье Димитрова формально громилась только «буржуазная» (дореволюционная российская и современная зарубежная) славистика, однако его выступление было несомненным сигналом со стороны властей, призванным показать, что в СССР заниматься славянскими народами в любой форме — вещь недопустимая и уголовно наказуемая.

Сигнал был понят, изучение зарубежных славян в стране прекратилось почти полностью. Сохранились лишь две маломощные ячейки

славистических исследований. В штате Кабинета славяноведения Библиотеки АН СССР числился всего один человек — К. А. Пушкаревич. Существовал также Кабинет славянских языков Института языка и мышления АН СССР под руководством академика Б. М. Ляпунова, но его сотрудники разрабатывали преимущественно восточнославянскую проблематику⁹⁹. Читались также отдельные курсы профессорами, исследовались некоторые темы по славянским языкам и истории славянских народов разрозненно работавшими в некоторых высших учебных заведениях преподавателями и аспирантами¹⁰⁰.

Отношение к славяноведению начало меняться лишь в самом конце 1930-х годов, когда изучение славян стало политически актуальным. Обескровленная преследованием филологов и вызванная к жизни политическими потребностями, славистика в СССР возрождалась преимущественно как историческая наука. Историки, в частности, проявили интерес к идеям «славянской взаимности». В 1939 г. в советской литературе появились первые более или менее развернутые высказывания об интерпретации «славянской идеи» славянофилами. Воззрениям славянофилов на славянство посвящено, например, несколько страниц в брошюре А. И. Ковалевского, изданной Военно-политической академией¹⁰¹.

Ковалевский исходит из характеристики Ф. Энгельсом панславизма как «мошеннического плана борьбы за мировое господство под маской несуществующей *славянской* национальности», который осуществлялся русским самодержавием при поддержке южно- и западнославянских сторонников «славянской идеи» из среды интеллигенции, выразивших через приверженность к русскому панславизму «своеобразный протест против национального угнетения со стороны Австрии и Турции»¹⁰².

По мнению автора брошюры, зарубежные сторонники панславистских взглядов смыкались с русскими славянофилами в надеждах на освобождение славянских стран Россией. отождествляя славянофильство и панславизм, Ковалевский писал, что теория об особой исторической роли славянства понадобилась славянофилам для прикрытия агрессивной внешней политики царизма. Он считал, что, в конечном счете, «панславистское движение превратилось в агентуру царизма...»¹⁰³

Единственным более или менее серьезным исследованием 1930-х годов о «славянской взаимности» была кандидатская диссертация А. А. Михайлова, защищенная в 1939 г. на историческом факультете Ленинградского университета.

Сохранилась папка с отзывами оппонентов и другими документами, которые Михайлов представил Ученому совету университета перед защитой диссертации¹⁰⁴. Диссертацию разыскать не удалось, о ней можно судить лишь по опубликованным кратким тезисам¹⁰⁵, отзывам С. Н. Валка и А. Н. Предтеченского и отчасти по статье Михайлова, написанной на основе анализа писем идеологов славянофильства¹⁰⁶.

Как и другие советские исследователи, Михайлов полагал, что отношение славянофилов к зарубежным славянским народам определялось желанием «объединить» славян путем их включения в состав Российской империи. Он подчеркивал враждебность славянофилов революционному движению в России и Западной Европе, указывал на оценку ими с реакционных позиций революций 1848—1849 гг. и результатов Крымской войны. Вместе с тем интересно, что, сближая взгляды славянофилов и панславистов, Михайлов все же не ставит их на одну доску. По мнению диссертанта, славянофилов и панславистов роднит сама постановка ими «славянского вопроса», но в то же время в статье отмечается «горячая поддержка» славянофилами национального движения австрийских славян и их отношение к Крымской войне, как не имевшее «ничего общего» «с истинными целями русского царизма». Наконец, Михайлов отмечает, что после Крымской войны славянофилы требовали «смягчения существующего режима» и выступали за «предоставление австрийским и турецким славянам независимого от России существования». Таким образом, оставаясь в целом на позициях неприятия любых интерпретаций «славянской идеи», А. А. Михайлов подходит к ним с несравненно большей степенью объективности и сдержанности, чем это имело место до конца 1930-х годов.

В течение первых двух десятилетий советской власти отношение в СССР к идеям «славянской взаимности», а вместе с ними и к славяноведению эволюционировало от безразличия к активному неприятию, а редкие попытки ученых доказать необходимость изучения славянских народов не встречали понимания у властей. Некоторое смягчение позиции большевиков в отношении славистики как науки в конце 1920 — первой половине 1930-х годов было вызвано конъюнктурными политическими соображениями, оказалось лишь частичным и являлось весьма непродолжительным. Определенный перелом наметился лишь в самом конце 1930-х годов, он позволил начать более серьезное исследование проблем «славянской взаимности» и приступить к возрождению славистических исследований. Славяноведение при этом возрождалось как историческая наука, что же до «славянской солидарности», то первые после долгого перерыва работы на эту тему еще несли на себе печать предшествующих лет и были далеки от объективного подхода к проблеме.

Примечания

- ¹ *Ильф И., Петров Е.* Собр. соч. М., 1996. Т. 2. С. 231–232.
- ² Цит. по кн.: *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917– начало 1930-х годов). М., 2004. С. 20.
- ³ По данным Всесоюзной переписи 1926 г., в СССР проживало 792 411 поляков, 114 011 болгар, 30 671 чехов и словаков (См.: Всесоюзная перепись населения 1926 г. М., 1929. Т. 17. С. 8, 34, 35).
- ⁴ Подробнее см.: *Аксенова Е. П.* Славянская идея и советское славяноведение перед Второй мировой войной // Славянская идея: история и современность. М., 1998. С. 160–172.
- ⁵ Ученые записки государственного имени Н. Г. Чернышевского университета. Саратов, 1923. Т. 1. Кн. 3. С. 123–135. Цитирую статью по ее полному тексту в журнале: *Славянски глас.* София, 1926. Кн. 1/2. С. 8–18; Кн. 3. С. 15–22.
- ⁶ *Славянски глас.* 1926. Кн. 1/2. С. 8.
- ⁷ Там же. Кн. 3. С. 19.
- ⁸ Там же. С. 21–22.
- ⁹ Там же. С. 22.
- ¹⁰ Там же. С. 17.
- ¹¹ Там же. С. 18.
- ¹² Там же. С. 21.
- ¹³ Там же. С. 22.
- ¹⁴ Подробнее об обстоятельствах публикации статьи Г. А. Ильинского в Болгарии и связанных с этим письмах Ильинского см. очерк «Советский режим и судьба двух славистов...»
- ¹⁵ *Славянски глас.* 1926. Кн. 1/2. С. 11.
- ¹⁶ Там же. С. 15.
- ¹⁷ Там же. Кн. 3. С. 22.
- ¹⁸ *Пичета В. И.* Белорусский язык как фактор национально-культурный. Минск, 1924. 23 с.
- ¹⁹ *Покровский М. Н.* Историческая наука и борьба классов. М.; Л., 1933. Вып. 1. С. 68.
- ²⁰ *Рубинштейн Н. Л.* Историческая теория славянофилов и ее классовые корни // Русская историческая литература в классовом освещении. М., 1927. Т. 1. С. 92–93.
- ²¹ О неославизме и съездах его сторонников см.: *Ненашева З. С.* Идеино-политическая борьба в Чехии и Словакии в начале XX в.: чехи, словаки и неославизм. 1898–1914. М., 1984. 240 с.; *Дьяков В. А.* Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М., 1993. С. 147–187.
- ²² *Аксенова Е. П.* Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000. С. 60.
- ²³ Цит. по: *Аксенова Е. П.* Очерки... С. 60.
- ²⁴ Один из номеров этой газеты хранится в Отделе русского зарубежья РГБ.

²⁵ Подробное о задачах и размерах финансирования газеты чехословацкими властями см.: *Савицкий И.* Прага и Зарубежная Россия: (очерки по истории русской эмиграции 1918—1938 гг.). Прага, 2002. С. 121.

²⁶ Наше политическое лицо и наши задачи: [передовая] // Россия и славянство (Париж). 1928. I. XII. № 1.

²⁷ Наша годовщина: [передовая] // Россия и славянство. 1929. 7. XII. № 54.

²⁸ Россия и славянство: [передовая] // Россия и славянство. 1928. 15. XII. № 3.

²⁹ Национальная Россия или Красный Интернационал?: [передовая] // Россия и славянство. 22. XII. № 4.

³⁰ Россия и славянство: [передовая] // Россия и славянство. 15. XII. № 3.

³¹ Югославско-болгарское сближение и некоторые основные принципы славянской политики: [передовая] // Россия и славянство. 1929. 2. III. № 14.

³² *Струве П. Б.* Дневник политика. 65(325) // Россия и славянство. 1930. I. III. № 66.

³³ См.: Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий русского зарубежья в библиотеках Москвы (1917—1996 гг.). М., 1999. С. 330. № 1554.

³⁴ О взглядах Перфецкого см.: *Досталь М. Ю.* Перфецкий Е. Ю. — популяризатор славянской идеи в Словакии в 20-е годы XX в. // Берасцейскі хранограф: Зборнік навуковых прац. Брэст, 1999. Вып. 2. С. 273—279.

³⁵ *Башмаков А. А.* Кризис славянской идеи // Юбилейн сборник на Славянското дружество в България. 1899—1924. София, 1925. С. 109. Цит. по: *Аксенова Е. П.* Славянофил А. А. Башмаков о кризисе славянской идеи // Славяноведение. 2001. № 5. С. 87.

³⁶ Подробное см.: *Аксенова Е. П.* Славянофил А. А. Башмаков... С. 83—89.

³⁷ *Крамарж К.* Россия и славянство: Беседа с д-ром К. Крамаржем // Россия и славянство. 1928. I. XII. № 1.

³⁸ *Бобчев С.* Славянската идея след Световната война // Славянски глас. 1928. Кн. 1/2. С. 8.

³⁹ Там же. С. 13—17. Подробное см.: *Горяинов А. Н.* Славянская идея и русская эмиграция в Болгарии (по материалам журнала «Славянски глас», 1920—1933 гг.) // Славянский альманах, 1998. М., 1999. С. 132—141.

⁴⁰ *Бобчев С.* Указ. соч. С. 15.

⁴¹ Там же. С. 9.

⁴² *Покровский М. Н.* Очередные задачи историков-марксистов: Докл. на общ. собрании историков-марксистов 19 марта 1930 г. // *Покровский М. Н.* Историческая наука и борьба классов. Вып. 1. С. 68.

⁴³ О его деятельности см.: *Аксенова Е. П.* Очерки... С. 59—90.

⁴⁴ Там же. С. 61.

⁴⁵ Подробное см.: *Аксенова Е. П.* «Изгнанное из стен Академии...»: (Н. С. Державин и академическое славяноведение в 30-е годы) // Советское славяноведение. 1990. № 5. С. 69—81.

⁴⁶ *Ашин Ф. Д., Алпатов В. М.* «Дело славистов». 30-е годы. М., 1994. С. 89.

⁴⁷ Българо-руски научни връзки, XIX—XX век: Документи / Съст. Л. Костадинова, В. Флорова, Б. Димитрова. София, 1968. С. 133.

⁴⁸ *Державин Н. С., Кораблев В. Н.* Институт славяноведения (ИНСЛАВ) // Вестник АН СССР. 1932. № 1. Стлб. 37—40; *Державин Н. С.* От филологического формализма к марксистско-ленинской методологии // Там же. 1932. № 10. Стлб. 37—44; *Он же.* Наши задачи в области славяноведения // Труды Института славяноведения. Л., 1932. Т. 1. С. 1—14.

⁴⁹ *Зеленин Д. К.* Современное изучение славянства в Западной Европе // Советская этнография. 1932. № 3. С. 98—124; № 4. С. 124—143.

⁵⁰ Там же. № 3. С. 99.

⁵¹ *Pełeński E. J.* Ukraińska etnografia lat ostatnich // Ruch słowiański. Lwów, 1930. R. 3. № 4/5. S. 154—161.

⁵² *Зеленин Д. К.* Указ. соч. // Советская этнография. 1932. № 3. С. 132.

⁵³ Там же. С. 125.

⁵⁴ Там же. С. 130.

⁵⁵ Там же. С. 143.

⁵⁶ *Державин Н. С.* Наши задачи в области славяноведения... С. 13.

⁵⁷ Там же. С. 10.

⁵⁸ Там же. С. 11.

⁵⁹ Подробнее см.: *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты... С. 145—146.

⁶⁰ *Кораблев В. Н.* Степан Радич и сербско-хорватский вопрос // Труды Института славяноведения. Т. 1. С. 141—156; *Он же.* Славянский институт в Праге // Там же. С. 325—331.

⁶¹ «[...] громче всех кричат *ату!* те, которые до революции стояли на крайне-правой платформе. Таков напр[имер] В. Н. Кораблев, б[ывший] секретарь Славянского благотворительного общества и издатель Слав[янских] известий. Таких метаморфоз у нас сейчас сколько угодно», — отмечал Ильинский, сообщая Попруженко о причинах травли властями историка античности академика С. А. Жебелева (Българо-руски научни връзки... С. 143).

⁶² Цит. по: *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты... С. 47.

⁶³ Труды Института славяноведения. М.; Л., 1934. Т. 2. С. 189—229.

⁶⁴ *Кораблев В. Н.* Валтасар Боггишич и академик Ламанский: (по архивным материалам) // Там же. С. 187.

⁶⁵ *Аксенова Е. П.* Очерки... С. 82.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ *Державин Н. С.* Наши задачи в области славяноведения... С. 14.

⁶⁸ *Аксенова Е. П.* Очерки... С. 76.

⁶⁹ Ф. Д. Ашнин и В. М. Алпатов, которые внимательно изучили материалы следственного дела в архиве бывшего Комитета государственной безопасности СССР, пишут о причинах оставления на свободе большинства академиков, включенных в обвинительное заключение, следующее: «Видимо, руководство ОГПУ само или по согласованию с высшей

властью, решило не предпринимать нового разгрома Академии наук...» (*Ашин Ф. Д., Алпатов В. М.* Указ. соч. С. 77).

⁷⁰ Об «академическом деле» существует значительная по объему литература. Назовем здесь самые основные работы: *Брачев В. С.* «Дело» академика С.Ф. Платонова // Вопросы истории. 1989. № 5. С. 117—129, о названии этого «дела» см.: *Горяинов А. Н.* Еще раз об «Академической истории» // Там же. 1990. № 1. С. 180—181; *Перченко Ф. Ф.* Академия наук на великом переломе // Звенья. М., 1991. С. 163—225; Академическое дело 1929—1931 гг. СПб., 1993. Вып. 1. С. 80—181; *Ананьич Б. В., Панях В. М.* «Академическое дело» как исторический источник // Исторические записки. 1999. № 2 (120). С. 338—350.

⁷¹ См.: *Горяинов А. Н.* Славяноведы — жертвы репрессий 1920—1940-х годов: некоторые неизвестные страницы из истории советской науки // Советское славяноведение. 1990. № 2. С. 78—79.

⁷² Материалы архива биобиблиографического словаря «Славяноведение в СССР».

⁷³ См.: Возвращенные имена: сотрудники Академии наук Беларуси, пострадавшие в период сталинских репрессий. Минск, 1992. С. 25; *Ашин Ф. Д., Алпатов В. М.* Указ. соч. С. 55, 114, 139.

⁷⁴ Подробнее о научной деятельности политэмигрантов в области изучения славянских стран см.: *Горяинов А. Н.* Советская славистика 1920 — 1930-х годов // Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981. С. 5—21; *Митина Н. П.* Советское славяноведение 1920—1930-х годов и вклад польских политэмигрантов в его становление и развитие // Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1986. С. 124—139.

⁷⁵ Подробнее о критике в газете «Ленинградская правда» М. К. Любавского, В. Н. Бенешевича и других кандидатов на выборах 1929 г. в академики см.: *Горяинов А. Н.* «Ленинградская правда» — коллективный организатор «великого перелома» в Академии наук // Вестник АН СССР. 1991. № 8. С. 107—114.

⁷⁶ О нем см.: *Ашин Ф. Д., Алпатов В. М.* Указ. соч.

⁷⁷ Там же. С. 13.

⁷⁸ О несостоятельности и навязывании этой версии обвиняемым см. «Показания Н. Н. Дурново» от 11 и 12 августа 1934 г., данные в Соловецком лагере особого назначения прибывшему туда прокурору СССР А. И. Акулову. Впервые опубликованы М. А. Робинсоном и Л. П. Петровским, см.: *Робинсон М. А., Петровский Л. П.* Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте «дела славистов» (по материалам ОГПУ—НКВД) // Славяноведение. 1992. № 4. С. 68—82. Позже показания воспроизведены в кн.: *Ашин Ф. Д., Алпатов В. М.* Указ. соч. С. 108—118.

⁷⁹ *Ашин Ф. Д., Алпатов В. М.* Указ. соч. С. 70—71.

⁸⁰ Там же. С. 76.

⁸¹ Об их судьбе см.: Там же. С. 88—107.

⁸² Там же. С. 198, 204.

⁸³ Там же. С. 70—71.

⁸⁴ Там же. С. 108.

- ⁸⁵ Там же. С. 57.
- ⁸⁶ См.: *Горизонтов Л. Е., Горяинов А. Н.* Указатель к советским диссертационным исследованиям: южные и западные славяне. New York, 1994. С. 31. № 803.
- ⁸⁷ *Бернштейн С. Б.* Трагическая страница из истории славянской филологии // Советское славяноведение. 1989. № 1. С. 81.
- ⁸⁸ *Кордуба М.* Конференція істориків у Варшаві // Україна. 1927. Кн. 5. С. 196–199.
- ⁸⁹ О нем см.: *Василевський П.* Так загинув він на Колимі (1939 р.) // Літературна Україна. 1989. 26 жовтня; *Іванисенко В.* Михайло Драй-Хмара // Дніпро. 1989. № 10. С. 93–106 и др.
- ⁹⁰ *Драй-Хмара М. П.* Проблеми сучасної славистики // Пролетарська правда. 1929. 22.XII.
- ⁹¹ О Д. Д. Димитрове см.: *Горяинов А. Н.* Славяноведы — жертвы репрессий... С. 80-82; *Аксенова Е. П.* Очерки... С. 35, 135.
- ⁹² *Димитров Д. Д.* Славянская филология на путях фашизации: (к характеристике ее состояния на Западе) // Язык и мышление. М.; Л., 1935. Вып. 5. С. 126.
- ⁹³ Там же. С. 127.
- ⁹⁴ Там же. С. 126.
- ⁹⁵ Там же. С. 127.
- ⁹⁶ Там же. С. 130.
- ⁹⁷ Там же. С. 132.
- ⁹⁸ Там же. С. 133.
- ⁹⁹ О них см.: *Аксенова Е. П.* Очерки... С. 91–96, 99–106.
- ¹⁰⁰ См.: Там же. С. 40–58; *Горяинов А. Н.* Славяноведение на историческом факультете МГУ (1934–1941 гг.) // Славистика СССР и русского зарубежья 20–30-х годов XX в. М., 1992. С. 29–33.
- ¹⁰¹ *Ковалевский А. И.* Общественное движение 30–40-х годов XIX века. М., 1939. 90 с.
- ¹⁰² *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. М., 1964. Т. 35. С. 222.
- ¹⁰³ *Ковалевский А. И.* Указ. соч. С. 54.
- ¹⁰⁴ ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1159.
- ¹⁰⁵ *Михайлов А. А.* Очерки по истории славянофильства 40-50-х годов: панславистские тенденции в раннем славянофильстве. Л., 1939. 3 с.
- ¹⁰⁶ *Михайлов А. А.* Революция 1848 г. и славянофильство // Учен. зап. Ленинградского университета. Л., 1941. № 73. Сер. исторических наук. Вып. 8. С. 48–74.

Советское университетское славяноведение 1920-х годов

Среди немногочисленных, но разнообразных по профилю учреждений и организаций, разрабатывавших в 1920-х годах различные вопросы истории, языка, культуры зарубежных славянских народов и готовивших кадры славистов, не было научных учреждений, способных направлять развитие отечественного славяноведения.

Деятельность Отделения русского языка и словесности Академии наук (ОРЯС), занимавшего до 1917 г. ведущие позиции в русской филологической науке и возглавлявшего с начала XX в. славистические исследования в России, в годы революции и Гражданской войны была серьезно дезорганизована. Оно почти не имело возможностей для осуществления научных программ и издания трудов, а в 1927 г., согласно новому академическому уставу, разработанному комиссией Политбюро ЦК ВКП(б) под председательством В. П. Милютина, его вообще упразднили, слив с Отделением исторических наук и филологии¹.

При ОРЯС в первые пореволюционные годы существовали две комиссии, занимавшиеся славистической проблематикой. Однако Комиссия по научному изданию славянской Библии работала в 1915—1922 гг. (в составе Отделения с 1918 г.) с перебоями, а затем фактически перестала действовать². После Октября 1917 г. она выпустила только труд Н. Л. Туницкого «Книги XII малых пророков с толкованиями в древнеславянском переводе» (М., 1918), да рецензию на эту книгу руководителя комиссии И. Е. Евсева³.

Славянская научная комиссия, существовавшая в 1923—1930 гг.⁴, имела лишь возможность заслушивать и обсуждать доклады своих членов, а ее научная продукция ограничилась книгами П. А. Лаврова и Н. К. Никольского, да двумя-тремя печатными работами членов комиссии, основанными на произнесенных ими докладах⁵.

В 1925 г. польские коммунисты-политэмигранты организовали нетрадиционную для славяноведения научно-исследовательскую организацию — Польскую комиссию Истпарта, изучавшую историю революционного

движения в Польше. Комиссия располагала значительными издательскими возможностями, она подготовила и выпустила в свет несколько ценных сборников документов по истории польского рабочего и социалистического движения, начала издание на польском языке журнала «Z pola walki» (1926—1934). После ликвидации комиссии в 1928 г. ее издательскую деятельность продолжила Редколлегия польских изданий Института К. Маркса и Ф. Энгельса⁶. Однако работа комиссии осуществлялась в рамках изучения мирового революционного движения и никак не связывалась в представлениях ее сотрудников и в чаяниях специалистов в области славистики с изучением славянства.

В сложившейся обстановке для сохранения славяноведения в его традиционном понимании, при котором основой этой научной дисциплины была славянская филология, важное значение имели высшие учебные заведения и крупные научные библиотеки. О работе славистов, связавших свою судьбу с библиотеками, еще будет сказано в последующих очерках. Из высших же учебных заведений интерес к славяноведению проявляли преимущественно Петроградский и Московский университеты⁷.

Прежде чем перейти к характеристике славяноведения в Петрограде и Москве, остановимся на других университетах. Это целесообразно сделать потому, что университетское славяноведение в провинции существовало на сравнительно приемлемом уровне только до середины 1920-х годов. Первыми пострадали провинциальные университеты, которые в годы Гражданской войны более или менее продолжительное время находились на территориях, попавших под контроль белых правительств (Юг, Сибирь, Дальний Восток). Киевский, Харьковский и Одесский (Новороссийский) университеты в самом начале 20-х годов XX в. были преобразованы в так называемые институты народного образования, где славистические дисциплины не изучались⁸. То же произошло в Казанском университете, где в 1922 г. были уничтожены историко-филологический и юридический факультеты, частично присоединенные к Восточному педагогическому институту⁹.

Тогда же были реорганизованы университеты Сибири. Дольше сохранилось изучение предметов славяноведения в Саратовском и некоторых других университетах, где до начала 1930-х годов действовали педагогические факультеты с филологическими отделениями.

Накануне революционных событий в России кафедру славянской филологии Киевского университета занимал Т. Д. Флоринский, ему помогали в ведении лекционных курсов и практических занятий со студентами

А. И. Степович и А. М. Лукьяненко. В марте 1917 — июне 1920 г., когда в Киеве власть постоянно переходила из рук в руки и принадлежала то Центральной раде, то гетману Скоропадскому, то немецким и польским оккупантам, то периодически занимавшим город советским войскам, занятия в университете продолжались на основе старых традиций. В 1917/18 учебном году Т. Д. Флоринский читал разделы общего курса истории славян, посвященные польской истории и истории сербов, хорватов, болгар. Он вел также семинар, в котором анализировался Законник Стефана Душана и на его примере преподавались приемы критического изучения исторических источников. «Исправляющий должность» экстраординарного профессора А. М. Лукьяненко читал в осеннем семестре того же года курс сравнительной грамматики славянских языков, преподавал историю сербохорватского языка и его диалектов, а также историю сербохорватской литературы. В весеннем семестре он руководил практическими занятиями по интерпретации нарративных источников на славянских языках. В лекционном курсе приват-доцента А. И. Степовича излагалась история новой сербской литературы. Содержанием его практикума было чтение со студентами и последующий разбор художественных произведений славянских писателей и образцов славянского фольклора, заслушивание и обсуждение студенческих рефератов. Вне рамок кафедры на славяно-русском отделении историко-филологического факультета преподавалась славянская палеография (доцент С. И. Маслов) и история Украины (профессор А. С. Грушевский)¹⁰.

Летом 1918 г. кафедру славянской филологии покинул А. М. Лукьяненко. В начале июня 1919 г. до А. И. Соболевского дошло известие о расстреле в Киеве «среди 53-х заложников» Т. Д. Флоринского¹¹.

Флоринского и Лукьяненко заменили воспитанник Киевского университета Е. А. Рыхлик, в 1918/19 учебном году преподававший славистические дисциплины в Самарском университете, и бывший профессор Московской духовной академии Н. Л. Туницкий (он возглавил кафедру, занятую ранее Флоринским).

Во второй половине 1920 г. Туницкий преподавал в Киеве сербохорватский язык, историю болгарской и сербской литератур нового времени, вел практические занятия по славянской филологии. А. И. Степович читал историю сербохорватской литературы и осуществлял связанные с этим курсом практические занятия. Е. А. Рыхлик проводил лекции по

истории польской литературы и занятия по истории южных славян, руководил практикумом по истории славянских литератур. К преподаванию на кафедре был привлечен также Ю. А. Яворский, который осуществлял спецкурсы «Литература Возрождения Карпатской Руси (XIX в.)» и «Золотой век польской литературы». В университете продолжали вести занятия по славянской палеографии С. И. Маслов и по истории Украины А. С. Грушевский, осуществлялись новые курсы по истории Украины Г. А. Максимовичем, по истории украинского языка и литературы Ф. П. Сушицким и др.¹²

После прихода в Киев Красной армии (июнь 1920 г.) университет был закрыт. Осенью в городе начали работу уже другие высшие учебные заведения. С установлением советской власти в Харькове и Одессе там также прекратилось изучение предметов славяноведения, поскольку эмигрировали профессора кафедр славянской филологии соответствующих университетов С. М. Кульбакин, А. Л. Погодин и М. Г. Попруженко. Вместе с отступающими белыми войсками бежал в Крым из Одессы профессор русской истории И. А. Линниченко, который серьезно занимался историей польско-российских отношений в период раннего средневековья. С конца XIX в. он в течение многих лет читал в Новороссийском университете курс «Введение в историю славян (историко-географическое обозрение славянских племен)», историю Польши и Литовско-русского государства, вел факультатив по истории славянских народов XVIII—XIX вв.¹³

В Казанском университете кафедру славянской филологии до безвременной кончины в 1921 г. занимал Н. М. Петровский, он обеспечивал чтение курсов и ведение практических занятий в университете по всем предметам славяноведения. В 1913—1918 и 1921—1922 гг. доцентом и профессором кафедры был А. М. Селищев (о нем будет подробно сказано при рассмотрении работы цикла южных и западных славян МГУ)¹⁴, талантливый ученик Петровского. В 1913—1918 гг. Селищев читал лекции по курсу «Введение в славянскую филологию» и по болгарскому языку. Несколько месяцев в 1920 г. в Казани проработал также Г. А. Ильинский, на кафедре всеобщей истории до 1922 г. преподавал известный в будущем советский историк-медиевист и славист Н. П. Грацианский, уже в то время интересовавшийся средневековой историей славян.

С осени 1918 по весну 1920 г. Селищев работал в Иркутском университете. Ученый прибыл в Иркутск в составе группы казанских преподавате-

лей, образовавшей костяк преподавательских кадров нового университета, открытого в условиях становления в Сибири власти белогвардейцев. Оказавшись на территории, отрезанной фронтами Гражданской войны от крупных научных центров, он занялся исследованием русских говоров Сибири, в университете же ему, как слависту, пришлось читать курсы по славянской филологии. В 1918/19 учебном году А. М. Селищев читал для первокурсников введение в языкознание и введение в славянскую филологию, в следующем году к ним прибавились курсы старославянского и истории русского языка¹⁵. Одновременно с Селищевым начал преподавательскую деятельность в Иркутском университете воспитанник Петроградского университета, впоследствии крупный польский историк А. Коссовский. Он читал студентам до отъезда в Польшу (1923 г.) лекции по истории польского языка и польской литературы, а также вел курс истории славян¹⁶. А. М. Селищев помогал молодому слависту, на что указывают его исправления в тексте рукописных лекций Коссовского по первому из этих курсов, которые сохранились в архиве Селищева¹⁷.

Из других сибирских вузов курсы по славянской филологии осуществлялись в Томском университете. Их читал ученик В. Н. Перетца, в то время экстраординарный профессор Л. А. Булаховский. В 1917—1921 гг. он преподавал в Пермском университете, где тоже читал эти курсы¹⁸.

Различными проблемами славяноведения занимались сотрудники Историко-филологического факультета во Владивостоке (осень 1918 — лето 1919 г.) и развернутого затем в полном объеме Дальневосточного университета А. П. Георгиевский и Д. П. Шестаков. Георгиевский преподавал старославянский язык и славянскую палеографию, а после реорганизации ДВУ в 1922 г. перешел на преподавание предметов русистики¹⁹. В 1919—1921 гг. он опубликовал в «Ученых записках» историко-филологического факультета Дальневосточного университета несколько работ. Среди них — сборник текстов по старославянскому языку для студентов²⁰, исследование (написанное по документам Московского цензурного комитета и архива Аксаковых) «Московский славянский благотворительный комитет и его судьба» (1919), содержащий материал о взглядах декабристов первый выпуск большой монографии «Славянский вопрос: историко-литературный очерк» (1921)²¹.

Ученый подготовил также 2—6 выпуски монографии о славянском вопросе общим объемом около 500 страниц, но они изданы не были²².

Д. П. Шестаков в 1927 г. напечатал перевод на русский язык драмы польского поэта XVI в. Яна Кохановского «Отъезд греческих послов» со своим кратким введением²³.

Из провинциальных университетов европейской части России наиболее прочные традиции изучения славяноведения существовали в Северо-Кавказском (располагавшемся в Ростове-на-Дону) и Воронежском. Первый был создан на основе Варшавского университета, эвакуированного из Царства Польского в связи с военными действиями в годы мировой войны. Вторым являлся бывший Юрьевский (Дерптский) университетом, перемещенным по той же причине в Воронеж из Прибалтики.

В Ростов из Варшавы перебрались известные слависты — профессор кафедры славянской филологии В. А. Францев и профессор кафедры истории славянских законодательств Ф. Ф. Зигель, но в 1921 г. Францев уехал в Чехословакию, а Зигель скончался²⁴.

В Юрьевском университете издавна существовала кафедра русского языка и славянского языкознания. С 1895 г. ее возглавлял ученик В. И. Ламанского Е. В. Петухов²⁵. Ректором университета был в Воронеже до середины 1920-х годов византинист и специалист по славянскому источниковедению В. Э. Регель²⁶. В 1918 г. Петухов прибыл в Воронеж вместе с университетом, но уже в конце 1919 или начале 1920 г. уехал в Крым. 24 января 1920 г. он начал профессорскую деятельность в Таврическом университете в Симферополе вступительной лекцией «Об изучении славянства в России», а затем преподавал там славянскую филологию и русскую литературу²⁷.

В Воронежском университете остался славист Г. А. Ильинский (профессор университета с 1916 по 1920 г.)²⁸. Курсы сравнительно-исторической грамматики славянских языков и старославянского языка читал в 1921/22 учебном году в Воронеже Н. Н. Соколов, в первом семестре следующего учебного года им был прочитан курс «История сербской литературы». Студенты Воронежского университета прослушали в 1922/23 учебном году также курс «История славянской культуры», прочитанный обосновавшимся в то время в Москве бывшим профессором Юрьевского университета историком А. Н. Ясинским²⁹.

Во второй половине 1920-х годов на педагогическом факультете Воронежского университета существовала кафедра славяноведения. На ней работал доцент Г. Т. Чуич, серб по национальности, воспитанник Московского университета. В годы Первой мировой войны Чуич служил в сербской армии, в 1917 г. вернулся в Россию, в 1920 г. вступил в большевистскую

партию. В отличие от других славистов, Чуич являлся университетским деятелем новой формации. Он начал с работы учителем, но очень скоро стал одним из руководителей народного образования Воронежской губернии, а в 1923 г. перешел в университет. В 1923—1927 гг. Чуич работал заместителем декана педфака, а затем до 1929 г. занимал пост ректора ВГУ. В 1929 г. он уехал в Сибирь, где продолжал работу в должностях ректора Иркутского университета (1929—1930) и Томского педагогического института (1930—1933). В Иркутске и Томске Г. Т. Чуич заведовал кафедрами общего и русского языкознания³⁰.

В Воронеже Чуич исследовал культурные связи России с южными славянами. В 1926 г. он опубликовал в Трудах Воронежского университета библиографический указатель переводов произведений русской художественной литературы на сербский язык³¹. Эта библиография, оставшаяся неизвестной А. Л. Погодину, выпустившему в эмиграции значительно позже Чуича аналогичный по замыслу капитальный библиографический труд³², не претендовала, как отмечал в предисловии автор, на полноту. Тем не менее она представляет интерес как первая попытка библиографического обобщения материала по сербско-русским литературным связям.

Филолог по специальности, Чуич, видимо, понимал необходимость привлечения на возглавлявшуюся им кафедру языковедов-славистов высокой квалификации. В 1926 г. он, как видно из письма Д. К. Зеленина А. И. Соболевскому, «спрашивал в Москве о возможности выписать из Чехии Н. Н. Дурново» (этому выдающемуся слависту не нашлось работы на родине, и с 1924 г. он жил в Чехословакии, но всеми силами стремился вернуться в Россию). Однако, отмечает Зеленин, инициатива Чуича встретила отрицательное отношение, ему ответили, что «это очень трудно сделать», поскольку Дурново «просто-напросто сбежал из Саратова»³³ (как мы увидим ниже, это бегство было вызвано невыносимыми условиями жизни в городе и соответствующей обстановкой в университете).

В конце 1917 г. начал свою деятельность историко-филологический факультет молодого (открыт в 1909 г.) Саратовского университета³⁴. Он привлек многих уже зарекомендовавших себя в науке славяноведов. В 1917/18 учебном году на филологическом отделении нового факультета русский, старославянский и польский языки преподавал М. Р. Фасмер. Именно его сменил в 1918 г. на кафедре русского языка Н. Н. Дурново. В течение двух лет работы на факультете Дурново продолжал начатое Фасмером преподавание старославянского языка и читал курс «Введение в славяноведение»³⁵.

Наиболее интенсивно как славяновед в Саратове работал Г. А. Ильинский, приглашенный в 1920 г. из Казани. Он начал свои курсы в университете вступительной лекцией «Что такое славянская филология?», а затем подготовил ее к печати в виде статьи. Поскольку об этой важной работе уже говорилось в предыдущем очерке, не будем здесь останавливаться на ней подробно. Отметим только, что Ильинский попытался дать свое определение славянской филологии, во многом отличное от классического определения И. В. Ягича. Считая, что Ягич изображает «славянскую филологию как агрегат наук, произвольно и механически сцепленных в одно целое»³⁶, Ильинский утверждает: славянская филология включает в свой состав лишь славянское языкознание и славянские литературы. Она, по мнению ученого, «*есть культурно-историческая дисциплина, изучающая духовную деятельность славянства, поскольку она проявляется в слове (resp. в языке) и его произведениях*»³⁷. Определение Г. А. Ильинского было шагом вперед по сравнению с ягичевским, так как четко разграничивало славянскую филологию и другие славистические дисциплины.

За время работы в Саратовском университете (1920—1927 гг.) Ильинский прочел курсы истории сербского, болгарского и польского языков, регулярно осуществлял курсы старославянского языка, преподавал студентам сравнительную грамматику славянских языков и историю славянских литератур.

В Саратове при университете работало Научное общество славяноведения, поставившее целью сближение культурных сил на научной почве и, наряду со славянскими языками и литературами, изучавшее современную жизнь славянских народов³⁸.

Приходится отметить, что слависты, преподававшие в Саратове, долго там не задерживались. О причинах откровенно писал академику В. М. Истрину Н. Н. Дурново. Он сообщал, что, получив летом 1921 г. командировку в Москву, возвращаться в Саратов не собирается ввиду очень неблагоприятных условий для научных занятий и нездорового климата. Особенно не устраивал ученого «чрезвычайно хулиганский состав всех местных учреждений», «хулиганско-враждебное» отношение саратовских властей к университету и «критическое» положение с продовольствием. «Значительная часть профессоров из Саратова уехала, находя невозможным свое дальнейшее пребывание там; студенты тоже разбегаются», — отмечал в письме Дурново³⁹.

На идеологическое давление, которому подвергалась местная профессура, жаловался в письмах 1924 г. академику Б. М. Ляпунову сменивший Н. Н. Дурново в Саратовском университете Г. А. Ильинский. «К материальным невзгодам присоединяются моральные. Увы! И у нас начинает развиваться научная проституция...», — констатировал он в апреле, а в конце года сообщал о «симптомах ухудшения политической ситуации» и приводил в качестве примера «официальное предписание читать лекции, не исключая и лингвистических, в марксистском духе»⁴⁰.

Одним из первых университетов, основанных после установления советской власти, был Белорусский государственный университет в Минске. Ректором БГУ, торжественно открытого 30 октября 1921 г., стал будущий глава советского славяноведения В. И. Пичета, о котором рассказывается в одном из следующих очерков.

Пичетой была разработана специальная программа подготовки студентов-славистов, в основе которой лежала «идея общности исторического развития славян»⁴¹. Он создал на этнолого-лингвистическом отделении факультета общественных наук польскую секцию, там осуществлялись различные славистические курсы⁴².

В 1922/23 учебном году в БГУ студенты должны были изучать введение в славянскую филологию, историю польской письменности, польский и старославянский языки. Ректор пытался привлечь к преподаванию славистических дисциплин наиболее подготовленных польских коммунистов-политэмигрантов. Еще до официального открытия университета, 8 октября 1921 г., он обратился к одному из руководителей коммунистов Польши Ю. Мархлевскому с приглашением вступить в число профессоров БГУ, чтобы читать курс польской литературы. Письмо с аналогичным приглашением в тот же день было направлено Мархлевскому секретарем ЦК Компартии Белоруссии В. Г. Кнориным. Польский коммунист отказался от приглашения в связи с загруженностью работой в Москве, но переговоры с ним были продолжены. Это видно из приглашения Мархлевскому преподавать польскую литературу в 1922/23 учебном году и сообщения о предстоящем чтении курса истории Польши другим руководящим деятелем КРПП С. Бобиньским⁴³.

В последующие годы курсы истории славян, истории Польши и истории польской литературы в Белорусском университете читал сам В. И. Пичета⁴⁴, в 1927—1929 гг. он передал последний из них польскому политэмигранту А. Друсковскому⁴⁵.

В 1927 г. Пичета сумел добиться от властей согласия на предоставление занятий в университете возвращавшемуся из Чехословакии для работы в Белорусской Академии наук Н. Н. Дурново⁴⁶, осуществив то, чего не смог сделать для Воронежского университета Г. Т. Чуич.

В первые годы советской власти предметы славяноведения преподавались также в Азербайджанском (Баку) и Туркестанском (Ташкент) университетах. В первом из них существовала кафедра славянской филологии⁴⁷. Во втором в 1920—1921 гг. занятия по сербскому и польскому языкам вела Л. В. Арасимович (Разумовская)⁴⁸.

Как видно из предыдущего, преподавание предметов славяноведения в провинциальных университетах неуклонно сокращалось. Это было следствием и трудных условий существования университетов после Гражданской войны, и дефицита преподавательских кадров, связанного как с увеличением количества университетов, так и с эмиграцией ученых. Однако наиболее важную роль играла в закреплении наметившейся тенденции политика властей в области высшего образования. Она была сформулирована в материалах состоявшегося 31 декабря 1920 — 4 января 1921 г. в Москве партийного совещания по вопросам народного образования. На совещании выступил М. Н. Покровский. В сохранившихся тезисах его выступления сказано: «Необходимо совершенно определенно и откровенно признать, что человек буржуазной идеологии не может быть руководителем занятий в высшей школе по основным вопросам обществоведения, он может быть терпим только в качестве очень узкого специалиста для работы с умственно уже зрелыми студентами [...]»⁴⁹. В резолюции совещания были приняты высказанные Покровским предложения: ускоренно готовить обществоведов для науки и высшей школы «из числа партийной молодежи, хотя бы и не получившей законченного университетского образования»⁵⁰, мобилизовать для преподавания общественных наук теоретических работников Коммунистической партии. Совещание решило также ввести в университетах «функциональную» систему подготовки кадров, которая будет направлена на обучение практических работников-обществоведов и других работников массовых профессий, высказалось за отдельную от создаваемой системы подготовку научных работников. Совещание освятил своим присутствием В. И. Ленин⁵¹.

Общие, неблагоприятные для славяноведения условия, не могли не сказаться не только на провинциальных, но и на столичных университетах. Однако в положении Петроградского—Ленинградского и Московского университетов имелись некоторые особенности, способствовавшие

сохранению там преподавания славяноведения. До 1925 г. ломка университетского преподавания в Петрограде и Москве нисколько не отличалась от провинции. В 1925 г. положение изменилось, о чем будет сказано ниже. В самые первые пореволюционные годы наиболее успешно славистику культивировал Петроградский университет, где существовали прочные славистические традиции. Во второй половине 1920-х годов ведущие позиции в подготовке кадров славяноведов занял Московский университет, в котором был организован цикл южных и западных славян.

До конца 1918/19 учебного года в Петроградском университете преподавание славистических дисциплин было организовано в соответствии со сложившейся до революции практикой. Оно сосредоточивалось на кафедре славянской филологии историко-филологического факультета. Профессора и преподаватели кафедры читали как филологические (П. А. Лавров, М. Г. Долобко, Н. С. Державин), так и исторические (Н. В. Ястребов, А. И. Коссовский) курсы, относящиеся к предметам славяноведения⁵².

При кафедре для подготовки к профессорскому званию были оставлены языковед С. А. Еремин, литературовед В. Г. Чернобаев, историки П. Г. Петров, К. А. Пушкаревич и др.⁵³

В сентябре 1919 г. в соответствии с общероссийским планом реорганизации народного образования⁵⁴ гуманитарные факультеты университета были объединены в единый факультет общественных наук (ФОН). Невзирая на возражения специалистов, власти решительно проводили свой план в жизнь, рассчитывая на максимально быстрый эффект: замену старых профессоров сколько-нибудь марксистски подготовленными и безраздельно преданными новому строю преподавателями и переориентацию воспроизводства высококвалифицированных кадров на массовую подготовку работников значительно более низкой, но способной выполнять задачи «культурной революции» квалификации. Очень точно смысл этой губительной для высшей школы политики властей определен в воспоминаниях замечательного отечественного слависта С. Б. Бернштейна. «Новая власть активно вторглась в университетскую жизнь, — вспоминал ученый. — Начались бесконечные эксперименты, реорганизации. Все это делалось руками интеллигентов [...]. Многие из них, конечно, понимали, что они разрушают налаженную академическую жизнь, а вместо этого насаждают невежество, верхоглядство. Однако они видели перед собой только задачи революции [...]. Пусть будет хуже, но свое. Пусть новая интеллигенция будет полуграмотной, но она будет защищать новый строй, которому она всем обязана [...]. По решению правительства

были отменены все ученые степени, ликвидированы кафедры, которые были заменены предметными комиссиями. Шла активная реорганизация самой структуры факультетов. Были организованы в университетах факультеты общественных наук (ФОН'ы) или факультеты социального воспитания»⁵⁵.

Кафедра славянской филологии, существовавшая на ФОН'е Петроградского университета до 1922 г.⁵⁶, была при его организации включена в состав филологического отделения. В это время на ней работали филологи Н. С. Державин, М. Г. Долобко, П. А. Лавров и историк А. Л. Петров⁵⁷ (последний, впрочем, в работе кафедры участия практически не принимал, о чем будет подробнее сказано в очерке об ученом). На вновь образованном историческом отделении были созданы две славистические кафедры: истории южных славян и истории Польши и Чехии⁵⁸. Видимо, подготовку славистов в области южнославянской истории осуществлял Ф. И. Успенский: он читал на ФОН'е лекции и вел семинарские занятия по истории славяно-византийских отношений, а также руководил научным студенческим кружком, занимавшимся соответствующей тематикой. Занять кафедру истории Польши и Чехии должен был Н. В. Ястребов, но в конце 1919 г. он эмигрировал, после чего деятельность кафедры, по всей вероятности, прекратилась⁵⁹.

4 марта 1921 г. Совнаркомом РСФСР был принят декрет «О плане реорганизации факультетов общественных наук российских университетов»⁶⁰, согласно которому историческое и филологическое отделения ФОН Петроградского университета упразднились. Исторические кафедры были переданы в состав Общественно-педагогического отделения, куда для преподавания истории славян пригласили В. Н. Кораблева. Преподавание языков и литератур сосредоточилось на этнолого-лингвистическом отделении, преобразованном вскоре в отделение языковедения и литературы⁶¹.

В соответствии с упомянутыми уже планами реорганизации народного образования Наркомпрос проводил в начале 1920-х годов курс на организационное отделение науки от учебной работы. При университетах создавались научно-исследовательские институты, постепенно обособлявшиеся в самостоятельные научные учреждения. В 1921 г. при Петроградском университете был создан Научно-исследовательский институт сравнительного изучения литератур и языков имени А. Н. Веселовского, в тематику исследований которого входила и славистическая проблематика. Осенью 1923 г. институт подвергся реорганизации и превратился

в Научно-исследовательский институт сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ). В июне следующего года он был включен в систему Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН), однако до мая 1927 г. продолжал существовать при университете⁶².

«Я создал исследовательский институт, просуществовавший уже пять лет, и состою бессменно его директором», — хвастался в письме видному болгарскому историку В. Н. Златарскому от 10 января 1927 г. Н. С. Державин, занимавший в 1922—1925 гг. также пост ректора Петроградского университета⁶³.

Державин состоял директором института с 1922 по 1933 г. Вместе с ним в ИЛЯЗВ'е работали М. Г. Долобко, Е. Ф. Карский, С. П. Обнорский, другие профессора и преподаватели ФОН'а. Одновременно с реорганизацией института шла и дальнейшая реорганизация факультета. В 1923 г. на Отделении языка и литературы была организована славяно-русская секция. Ее учебный план был рассчитан преимущественно на подготовку русистов, но наряду с курсами по русскому языку студенты, обучавшиеся на секции, изучали также введение в славянскую филологию, старославянский и один из живых славянских языков, историю славянских литератур⁶⁴.

Впрочем, студент С. С. Советов, готовившийся стать специалистом по польской литературе, за время обучения на секции имел возможность изучать всего пять предметов по дисциплинам, так или иначе связанным с изучением зарубежного славянства. В выданном Советову свидетельстве об окончании университета указано, что он выполнил «все требования учебного плана», после чего перечислены 32 предмета. Кроме указанных выше трех языковедческих курсов среди них значатся только семинар по польскому языку и спецсеминар по теме «Польская повесть XVIII в.» Для совершенствования своей подготовки Советов уже после окончания университета должен был прослушать курсы чешского и болгарского языков, истории чешской литературы, истории культуры западных славян, истории культуры южных славян⁶⁵.

После отъезда в 1922 г. за границу А. Л. Петрова и освобождения от преподавательской работы П. А. Лаврова⁶⁶, остававшиеся в учебном плане славистические дисциплины обеспечивали Н. С. Державин, М. Г. Долобко и В. Г. Чернобаев. При секции работал Славянский кабинет, в его состав входила библиотека славянского семинария. Заведовал библиотекой В. Г. Чернобаев, ему помогал С. С. Советов⁶⁷.

Качество преподавания предметов, необходимых будущим славяноведам, в отсутствие П. А. Лаврова и А. Л. Петрова перестало удовлетворять даже очень невзыскательных в то время студентов. К. Г. Шариков (он учился в Петроградском университете в 1922—1924 гг.) вспоминает, что учебные планы и программы по ряду предметов были схоластическими. «На ЯЛО (Отделение языка и литературы), — пишет он, — от студентов, изучающих славяноведение, на экзаменах по истории славянских литератур требовались такие поверхностные знания, что, в сущности, все дело сводилось к простому перечню авторов и их произведений. Это возмушало даже неискушенных студентов»⁶⁸.

Курс на подготовку работников массовых профессий себя не оправдывал, в идеологической сфере требовалось всё больше специалистов, хорошо подготовленных теоретически. Это понимали в Наркомпросе, и А. В. Луначарский вместе со своими сотрудниками искал выход в частичном возвращении к прошлому. В 1925 г. преподавание общественных наук в университетах подверглось очередной реорганизации. Видимо, по докладу Наркомпроса, правительством РСФСР были приняты постановления, фактически воссоздающие в Московском и Ленинградском университетах историко-филологические факультеты. Однако отменять ориентацию провинциальных университетов на подготовку работников «массовых профессий» Наркомпрос не считал нужным, да и принятые постановления скоро были дезавуированы высшими эшелонами власти. В октябре 1928 г. с критикой «консерватизма в системе подготовки специалистов, который в настоящее время весьма отрицательно сказывается в Наркомпросе», выступил секретарь ЦК ВКП(б) В. М. Молотов⁶⁹. Статья Молотова открыла кампанию нападок в печати на наркома просвещения А. В. Луначарского, противившегося введению двухлетнего срока обучения для «узких» специалистов. В 1929 г. Луначарский был отстранен от руководства Наркомпросом, а сроки преподавания в высших учебных заведениях были сильно сокращены.

Но вернемся в 1925 год. На основании декрета Совнаркома РСФСР от 2 июня 1925 г. «Об организации факультета языкознания и материальной культуры в Ленинградском университете»⁷⁰ на базе отделения языка и литературы и археологического отделения был создан соответствующий факультет, обычно обозначавшийся аббревиатурой ЯМФАК. На новом факультете впервые были организованы циклы (группы студентов, проходивших подготовку по определенной специальности), по которым студенты распределялись после первого курса.

Первоначально славистические дисциплины изучались на цикле языков и литератур Восточной Европы. Этот цикл объединял не только славистов и русистов, но и финно-угроведов, и студентов, специализировавшихся по балтийским языкам. Интересующихся славяноведением на цикле почти не было. «...Среди нынешних студентов, — сообщал 24 января 1926 г. в Москву академику А. И. Соболевскому заведующий Славянским отделом Библиотеки Академии наук А. И. Лященко, — интерес к славистике пал: у М. Г. Долобко, К. А. Пушкаревича — слушателей — один, два; то же у Н. Державина»⁷¹.

Отсутствие студентов, решивших углубленно изучать славяноведение, стало закономерным следствием пренебрежения большевистских властей к вопросам славянской идеологии и политики, о чем уже было сказано в предыдущем очерке. В то же время профессора и преподаватели ЯМФАК'а понимали необходимость развития славистического направления в деятельности факультета.

Особенно значительные усилия по организации подготовки славистов предпринимал Н. С. Державин, занявший пост декана ЯМФАК'а. При всех своих недостатках, о которых уже сказано в предыдущем очерке, именно благодаря его деятельности в Ленинградском университете в 1920-е годы сохранились кадры славистов и продолжалась подготовка специалистов по зарубежному славянству. Державину удалось привлечь к преподаванию таких первоклассных специалистов-языковедов, как Е. Ф. Карский, С. П. Обнорский, русист И. А. Фалев. Примечательно, что на цикле появились первые преподаватели, получившие подготовку в области славяноведения после революции. Окончив историческую аспирантуру ИЛЯЗВ'а, на факультет в 1925 г. пришел К. А. Пушкаревич, который переквалифицировался в филолога и стал вести курсы по славянским литературам. В конце 1926 г. на должность младшего ассистента Кабинета славяноведения был зачислен выпускник цикла С. С. Советов. В 1926/27 учебном году с целью приобщить студентов к славистике большинство предметов славистического профиля было превращено из факультативных в обязательные. Одновременно велась работа по перестройке читаемых славистических курсов, что выразилось, прежде всего, в расширении и приближении к современности их тематики. В январе 1927 г. в цитированном уже письме В. Златарскому Н. С. Державин смог заявить, что «славистика у нас в университете поставлена хорошо, если не качественно, то количественно». Он сообщал, что регулярно читает общий курс «Славяноведение», курс «Славянские литературы», а также курсы болгарского языка

и истории культуры болгар. По словам Державина, кроме него на ЯМФАК'е работали специалисты-слависты профессор М. Г. Долобко (обеспечивал преподавание лингвистических дисциплин), доценты В. Г. Чернобаев и К. А. Пушкаревич (вместе с Н. С. Державиным они преподавали славянские литературы), а также В. Н. Кораблев, который преподавал историю славян⁷².

Расширение рамок славистической подготовки в ЛГУ, а также, по всей вероятности, факт организации в 1927/28 учебном году цикла южных и западных славян в Московском университете, позволили Н. С. Державину добиться переименования цикла языков и литератур Восточной Европы в славянский. Новым названием подчеркивалась ведущая роль на цикле славистической проблематики, хотя на нем продолжали существовать как славистические, так и не славистические специализации. Наиболее отчетливо задачи славянского цикла сформулированы в докладной записке С. П. Обнорского, где подведены итоги обсуждения на заседании цикла с участием преподавателей и студенческих представителей вопросов, поставленных деканатом ЯМФАК'а: о будущих специальностях выпускников и об учреждениях, куда они могут быть трудоустроены. Славяноведение в записке Обнорского понималось скорее как историко-культурная, чем филологическая дисциплина. В ней отмечалась необходимость выпуска практических работников для сфер деятельности, не связанных со славяноведением, но вместе с тем подчеркивалась целесообразность сосредоточения основных усилий на подготовке специалистов по славяноведению, которые могли бы изучать зарубежные славянские страны, информировать о происходящих там событиях, налаживать межславянские культурные связи⁷³.

Тенденция к расширению филологических рамок прослеживалась в программе общего курса Н. С. Державина по славяноведению на 1927/28 учебный год. Программа предусматривала изучение не только вопросов славянской филологии и этногенеза славян, но и истории древнейших славянских государств, а также, что особенно примечательно, вопросов современного политического положения и культурного развития зарубежных славянских стран⁷⁴.

После переименования на цикле удалось, в соответствии с его новыми задачами, несколько расширить преподавание славянских языков. Студенты-слависты, специализировавшиеся по языкознанию, в 1927/28 учебном году должны были сдавать зачеты не по одному, как ранее, а по двум

живым славянским языкам, для них был сделан обязательным курс сравнительной славянской грамматики⁷⁵.

Впервые на цикле было организовано изучение украинского и белорусского языков (соответствующие курсы будущим языковедам читали Е. Ф. Карский и Б. М. Ляпунов), славяно-русской палеографии⁷⁶.

В то же время для славистов-литературоведов изучение славянских языков не было обязательным, а из зачетов они должны были сдавать только два по специальности: славяноведение (вместе с языковедами) и историю славянских литератур. Спецкурс К. А. Пушкиревича «Чешская литература XIX в.» и семинар по истории литературы польского Просвещения, который вел В. Г. Чернобаев, были факультативными⁷⁷.

Невысоким оставалось и качество подготовки студентов. Усвоению специальных предметов особенно сильно мешало отсутствие учебников и зарубежной литературы. Проблема учебников в 1920-е годы была острой для многих общественных, естественных и технических наук. В январе 1928 г. Государственный ученый совет (ГУС) при Наркомпросе РСФСР предложил ряду высших учебных заведений, в том числе и Ленинградскому университету, наметить «те учебники и учебные пособия, которые [...] необходимы для преподавания»⁷⁸. Преподаватели славянского цикла отнеслись к составлению перечня необходимых учебников с большой ответственностью и заинтересованностью. Предложение ГУС'а было обсуждено сначала порознь литературоведами и лингвистами, а затем на нескольких общих собраниях преподавателей цикла⁷⁹. По итогам обсуждений была составлена докладная записка с перечнем необходимых учебников и их возможных авторов. Написание учебников предлагалось поручить наиболее опытным и эрудированным преподавателям ЛГУ и других высших учебных заведений. Как возможный автор учебника по старославянскому (церковнославянскому) языку в докладной упомянут даже эмигрант С. М. Кульбакин. Наиболее подробно в записке раскрыты планы создания учебников по курсу славяноведения (возможные авторы Н. С. Державин или А. М. Лукьяненко) и по западно- и южнославянским языкам. В учебнике славяноведения предполагалось осветить преимущественно лингвистические аспекты славистики, серия учебников по славянским языкам должна была содержать краткие сведения об истории того или иного языка, грамматические очерки, учебные тексты и словари⁸⁰. К сожалению, как и многие другие планы, разрабатывавшиеся в СССР, программа создания учебников для высшей школы осталась на бумаге⁸¹.

Лучше обстояло дело с зарубежной литературой. Заведующему библиотекой цикла В. Г. Чернобаеву удалось наладить книгообмен с рядом крупных зарубежных книгохранилищ и научных учреждений, на покупку книг было выделено немного валюты⁸². Впрочем, полученные иностранные издания использовались плохо: преподаватели рекомендовали своим слушателям некоторые зарубежные новинки, но, вместе с тем, отмечали в отчетах слабое знание студентами иностранных языков.

В целом после создания славянского цикла подготовка славистов в ЛГУ сделала заметный шаг вперед. Вместе с тем переход ИЛЯЗВ'а в состав РАНИОН'а негативно отразился на научной работе цикла.

До мая 1927 г. работа по славноведению велась в нескольких подразделениях ИЛЯЗВ'а⁸³. В секции общего языкознания с докладом «О границах сравнительно-исторического метода на материале некоторых заимствований слов в славянских языках» выступил в 1926 г. М. Г. Долобо. Сообщения о славяно-албанских и славяно-грузинских языковых взаимоотношениях сделали Н. С. Державин и С. П. Обнорский⁸⁴. Несколько языковедов, интересовавшихся вопросами славноведения, работали в секции индоевропейского языкознания. В июне 1926 г. на заседании этой секции Л. В. Арасимович, перебравшаяся к тому времени в Ленинград, прочла доклад о двойственном числе в серболужицком. Тема «Этнология Балканского полуострова» и ряд тем по восточнославянской проблематике были включены в планы секции «живой старины» (фольклора), тему «Яфетические элементы в славянских языках» планировалось изучать в секции «яфетического языкознания». Были предприняты также усилия по созданию межсекционной «Комиссии по изучению этнических культур народов Юга и Запада СССР», в рамках которой, наряду с исследованием греческой, молдавской и других национальных групп, должна была быть продолжена начатая еще до революции Н. С. Державиным работа по этнографическому исследованию болгарского населения Украины.

Наиболее активно проблемы славноведения изучались в секции литературы средних веков и Возрождения. В ее составе работала специальная славяно-византийская группа, руководил которой специалист по древнерусской литературе Д. И. Абрамович. В работе группы участвовали В. П. Адрианова-Перетц, В. Н. Бенешевич, И. П. Еремин, П. А. Лавров, Б. М. Ляпунов, С. П. Обнорский, Н. Е. Ончуков, В. Н. Перетц, К. А. Пушкин-Каревич, С. С. Советов, В. Г. Чернобаев и др. Фактически она была комплексной. На заседаниях обсуждались, наряду с проблемами литературоведения, вопросы фольклористики, языкознания и даже средневековой

истории Сербии. В планах группы значились такие темы, как составление словаря литературных памятников старославянского языка (руководитель — академик П. А. Лавров), изучение взаимоотношений русской и польской повести (руководитель — академик В. Н. Перетц), разработка проблемы «Славянские древности» (руководитель — Н. С. Державин).

Данью времени было создание при группе подгруппы по изучению современного славянства, где, как заявлял ученый секретарь ИЛЯЗВ'а Я. А. Яковлев, должны были изучаться языки и литературы зарубежных славян в связи с экономикой и политикой славянских стран. Возглавлял подгруппу Н. С. Державин, в нее были включены, наряду с профессорами ЯМФАК'а, молодые лингвисты и литературоведы, готовившиеся к научной деятельности — Л. В. Арасимович, Б. В. Лавров, Э. А. Лемберг, Л. В. Матвеева-Исаева, С. С. Советов. Впоследствии все они стали крупными учеными, но никто не занялся проблемами современности. Упомянутые в источниках доклады на заседаниях подгруппы посвящены главным образом сообщениям о новых славистических изданиях. На современную тему был только доклад В. Г. Чернобаева о С. Жеромском.

Выделение ИЛЯЗВ'а из ЛГУ означало прекращение научной работы по славяноведению в стенах университета, но университетские профессора продолжали работу в институте. Наибольшей активностью отличался Н. С. Державин: он работал в пяти институтских секциях, руководил тремя научными темами, часто выступал с докладами. Плановые темы института нашли отражение в статьях Державина «Албановедение и албанцы»⁸⁵, «Славяне и Византия в VI в.»⁸⁶, «Яфетические переживания в прометеидской славянской традиции»⁸⁷. П. А. Лавров докладывал в ИЛЯЗВ'е о собранных С. Верковичем в Южной Македонии сказках и о житиях Константина и Мефодия. Впоследствии сборник сказок Верковича был подготовлен к печати Лавровым в сотрудничестве с Й. Поливкой и вышел в Чехословакии, а о житиях он подробно писал в своих итоговых трудах по кирилло-мефодиевской проблематике⁸⁸.

В сборниках ИЛЯЗВ'а «Язык и мышление» в течение 1927—1930 гг. были напечатаны статьи В. Г. Чернобаева и К. А. Пушкаревича о переломках и переработках в зарубежных славянских странах произведений русских и западноевропейских писателей⁸⁹, а также статья Д. Д. Димитрова о переселении в Россию болгар⁹⁰.

В период учебы в аспирантуре института подготовили свои первые печатные работы Э. А. Лемберг и Л. В. Матвеева-Исаева. Э. А. Лемберг (позже Якубинская-Лемберг) защитила в 1927 г. в ИЛЯЗВ'е диссертацию

«К вопросу об отражении праязычных конечных дифтонгов на славянской почве» и опубликовала в институтском сборнике статью по материалам диссертационного исследования⁹¹. Л. В. Матвеева-Исаева напечатала статью в том же сборнике «Различные отложения глоттогонического процесса на славянской почве»⁹².

Оживленная деятельность института лишь в незначительной части получила отражение в указанных выше печатных трудах. Статьи, подготовленные профессорами и преподавателями славянского цикла, находились на уровне тогдашнего состояния советской науки. Для них характерно стремление установить социально-классовые и политические причины описываемых событий, вскрыть глубинные связи и отношения между ними. В то же время некоторые работы грешили вульгарным социологизмом или основывались на так называемом «новом учении о языке» Н. Я. Марра. Особенно грешил марризмом Н. С. Державин, который придерживался этого псевдонаучного учения до конца жизни. По свидетельству С. Б. Бернштейна, «марризм крепко сидит в нем, является его кровью и мясом»⁹³.

Единственной ячейкой на славянском цикле, ориентированной на научно-исследовательскую работу, был научный студенческий кружок (создан в декабре 1927 г.). В проекте устава он назван «Студенческим кружком по изучению современного славянства», но его состав и задачи определены гораздо шире, чем развитие научных навыков студентов. Кружок рассматривается в документе как «объединение студентов, преподавательского персонала Ленинградского государственного университета и лиц, допущенных к занятию в таковом, для коллективной научной деятельности в области изучения культурного, политического и экономического состояния современного славянства»⁹⁴.

В состав кружка входило около 20 человек, из них студенты разных курсов составляли менее половины. В кружке работали также пять преподавателей и ассистент цикла, а руководил им Н. С. Державин⁹⁵. Уставом предусматривалось заслушивать и обсуждать на заседаниях научные доклады, устраивать публичные чтения и диспуты, печатать труды и даже организовать собственную библиотеку. Однако осуществлению этой программы мешала недостаточная подготовка студентов, и на практике деятельность кружка (по отчету о его работе за 1927/28 учебный год)⁹⁶ вылилась в заслушивание докладов преподавателей. С докладом о болгарской колонизации Юга России выступил лишь один студент — ученик Державина Д. Д. Димитров. Сделанные доклады были посвящены преимущест-

венно экономическому и политическому положению зарубежных славянских стран — шире — вопросам балканистики, в том числе интересовавшим Н. С. Державина проблемам албановедения. Литературоведение было представлено в кружке всего одним докладом С. С. Советова о Бранко Радичевиче⁹⁷.

Славянский цикл просуществовал всего один учебный год. 15 сентября 1928 г. на заседании цикла был оглашен проект новой структуры ЯМФАК'а, которая предусматривала ликвидацию циклов и отмену студенческих специализаций. Вместо циклов создавались предметные комиссии, каждая из них объединяла научно-методическую деятельность нескольких кафедр. В предметную комиссию славянских языков и литератур были включены преподаватели кафедр славянской филологии, русского языка и русской литературы⁹⁸. В 1930 г. историко-лингвистический факультет (так ЯМФАК назывался с 1929 г.) был выделен из университета и преобразован в самостоятельный Историко-лингвистический институт (ЛИЛИ)⁹⁹. Изучение в ЛГУ славяноведения прекратилось, преподавание славистических предметов там возобновилось лишь в 1937 г. после организации на базе ликвидированного самостоятельного института филологического факультета ЛГУ.

Таким образом, в Петроградском—Ленинградском университете в 1920-е годы, несмотря на неблагоприятные условия (отметим среди них многочисленные реорганизации, разделение учебной и научной работы, отсутствие интереса студентов к славяноведению, иногда низкое качество преподавания), продолжалась подготовка славистов, а университетские преподаватели пытались вести научные исследования по славистической проблематике. Преимущественно славяноведение рассматривалось еще как филологическая дисциплина, однако с середины десятилетия все более явственно прослеживается тенденция к расширению его тематических рамок за счет усиления внимания к вопросам культуры, новейшей истории, современного экономического и политического положения зарубежных славян.

Во второй половине 1920-х годов Ленинградский университет, несмотря на усилия Н. С. Державина сохранить университетское славяноведение на должном уровне, все более терял свое значение в деле подготовки славистов. Первенство в этом отношении постепенно переходило к Московскому университету, именовавшемуся в 1918—1930 гг. Первым МГУ в отличие от 2-го МГУ, созданного на базе Высших женских курсов.

До 1921 г. преподавание славистики в 1-м МГУ, как и в Петрограде, продолжало осуществляться в традициях дореволюционного славяноведения. Здесь, правда, профессорам удалось на два года отсрочить поглощение историко-филологического факультета факультетом общественных наук. Факультет остался самостоятельным, но лишился отошедшего к ФОН'у исторического отделения и превратился, по сути, в филологический¹⁰⁰. На нем было организовано отделение славянской филологии, заменившее традиционную для российских университетов одноименную кафедру, которая, впрочем, через несколько месяцев была восстановлена в прежнем виде¹⁰¹.

Из славистических предметов студенты слушали общий курс «Введение в славяноведение» и курс П. А. Расторгуева по сравнительной грамматике славянских языков, изучали старославянский (церковнославянский) язык. Тем, кто специализировался по славянской филологии, преподавались два славянских языка, для них читался курс польской литературы¹⁰².

До начала марта 1920 г. работой славистических подразделений факультета руководил профессор, член-корреспондент Академии наук Р. Ф. Брандт. После его кончины преподавание основных славистических предметов было поручено члену-корреспонденту АН профессору В. Н. Щепкину¹⁰³. Брандт и Щепкин готовили также в первые годы советской власти научных работников. Они принимали магистерские экзамены по славяноведению у известного в будущем фольклориста Б. М. Соколова, у жившего в России в 1908—1919 гг. публициста-неослависта из Галиции Д. Н. Вергуна, у других филологов. По предложению Р. Ф. Брандта для подготовки к профессорскому званию были оставлены А. И. Павлович и С. О. Макаровский.

В. Н. Щепкин скончался 2 декабря 1920 г. Сообщение А. И. Соболевского Б. М. Ляпунову о его смерти произвело на того сильное впечатление. «А. И. Соболевский пишет, — отмечал Ляпунов в письме в Петроград академику В. М. Истрину 1 января 1921 г., — что со смертью Щепкина Москва совсем осталась без славистов и что не с кем поговорить о славянских делах»¹⁰⁴.

Действительно, после кончины Щепкина подготовка славистов в МГУ не прекратилась только благодаря усилиям специалистов в области славянских языков и литератур, работавших на других кафедрах. Чтение славистических курсов взяли на себя профессор кафедры сравнительного языкознания В. К. Поржезинский, профессор русского языка и словес-

ности М. Н. Сперанский, преподаватели белорусского языка и литературы П. А. Расторгуев и Н. А. Янчук¹⁰⁵.

В 1921 г. в соответствии с упомянутым уже декретом Совнаркома от 4 марта историко-филологический факультет МГУ окончательно прекратил свое существование. На его базе были созданы литературно-художественное и этнолого-лингвистическое отделения ФОН'а; кафедра славянской филологии вошла в состав последнего. Научная деятельность профессоров и преподавателей должна была осуществляться в рамках Института языковедения и литературы с секцией славянских языков, который сначала существовал при университете, а в 1924 г. был отделен от МГУ¹⁰⁶.

Перед факультетом общественных наук была поставлена задача подготовки учителей, библиотекарей, музейных работников и кадров других массовых профессий. «В отличие от прежнего филологического факультета э[тнолого]-л[ингвистическое] отделение [...] ставит себе практическую цель. Республике нужны опытные и образованные преподаватели по литературе и языкам», сообщалось о задачах отделения в журнале, несколько номеров которого выпустил новый факультет¹⁰⁷. Предполагалось, что кроме учителей русского и иностранных языков для средней школы, со временем оно будет готовить преподавателей украинского, белорусского и польского языков для национальных школ, но этот план не был осуществлен ввиду резко обострившегося недостатка в университете славяноведов¹⁰⁸.

17 мая 1921 г. об уходе из МГУ в связи с отъездом в Польшу объявил В. К. Поржезинский¹⁰⁹, в сентябре Наркомпрос не утвердил профессором М. Н. Сперанского, 5 декабря скончался Н. А. Янчук¹¹⁰.

Восполнить эти потери было нечем, между тем специалисты с хорошей славистической подготовкой были насущно необходимы даже для выполнения «экзаменационного минимума», обязательного для будущих учителей-русистов¹¹¹.

В сложившихся условиях было решено привлечь к преподаванию в университете А. М. Селищева. Кандидатура Селищева оказалась очень удачной. Он был не только ученым, труды которого определяли развитие многих направлений славяноведения, но и талантливым педагогом, и хорошим организатором, проявлявшим к тому же такие ценные качества, как настойчивость и страстная любовь к славяноведению. «Никогда не изгладится в моей памяти первое впечатление от встреч с Селищевым, — вспоминал С. Б. Бернштейн, учившийся на цикле южных и западных славян. — Я пришел на очередную лекцию курса “Введение в славянскую

филологию» [...] Впечатление было очень сильным. Не от содержания лекции, а от личности профессора [...] Он взволнованно и убежденно сообщал нам сведения, без которых нельзя жить, которые важнее всего окружающего. Так думал профессор, так очень скоро начали думать и мы, его студенты [...] Он мало напоминал по манере чтения профессора. Перед нами стоял проповедник, который призывал нас к подвижнической жизни. Такого чтения лекций ни до, ни после мне никогда не приходилось слушать»¹¹². Бернштейн отмечал, что лекции Селищева были не только блестящими, но и весьма содержательными: студентам они давали очень много¹¹³.

14 июня 1921 г. Д. Н. Ушаков обратился к Селищеву с письмом, в котором спрашивал, согласен ли он на назначение «1) членом открывающегося в Москве Научного института языкознания (по секции славянских языков) и 2) профессором этнолого-лингвистического отделения фак[ультета] общ[ественных] наук». Селищев приглашался «для преподавания славистических предметов (введения в славяноведение, старо-славян[ского] языка, сравнит[ельной] грамматики славян[ских] языков) на секции русского языка словесности». «Насколько мне известно, — заключал письмо Д. Н. Ушаков, — большинство московских языковедов разделяет мое желание видеть Вас в Московском университете»¹¹⁴.

Желание, о котором писал Ушаков, разделял и сам Селищев. В Казани, где он в то время работал, ученому, по его собственному признанию, «с 1920 г. [...] стало там страшно тяжело», поскольку город в научном отношении вымер. «Устраиваться на новом месте при условиях нашей жизни весьма хлопотно, — сетовал он в одном из писем Е. Ф. Карскому. — Если бы Казань не вымерла, то я не ушел бы отсюда»¹¹⁵.

В начале октября 1921 г. А. М. Селищев был утвержден профессором 1-го МГУ и членом научного института при университете, но официальное извещение о назначении было отправлено ему с большим опозданием. Казанский профессор узнал о своем утверждении из частного письма Д. Н. Ушакова. «В научн[ом] ин[ститу]те мы отложили до Вашего прибытия, как хозяина секции славистики, намечание кандидатов на свободные места: 1 члена, 1 ассистента и не знаю скольких младш[их] сотрудников», — писал Ушаков. Возможными кандидатами на вакантные должности он называл Н. Н. Дурново и П. П. Свешникова. Ушаков рекомендовал Селищеву «поскорее вступить в сношения с у[ниверсите]том и ин[ститу]том» и называл адреса их руководителей¹¹⁶. С приездом Селищева в Москве связывали большие надежды на возрождение университетской славистики.

20 декабря на заседании отделения председательствующий сообщил о скором прибытии коллеги и объявил, что в связи с этим возобновляется чтение курсов по славяноведению, а П. А. Расторгуев высказал пожелание, чтобы в будущем «был поставлен вопрос о самом положении преподавания его (славяноведения. — А. Г.) на этнолого-лингвистическом отделении»¹¹⁷.

В свою очередь, сообщая 26 декабря А. М. Селищеву о заседании в институте, на котором обсуждалось какое-то письмо Селищева, его директор А. А. Грушка писал: «Как на меня, так и на членов института все то, что Вы пишете, произвело наилучшее впечатление, и мне очень приятно сообщить Вам, что все мы глубоко уверены в том, что в Вашем лице мы приобретаем не только достойного научного сотрудника, но и доброго товарища нашей коллегии»¹¹⁸.

А. М. Селищев переехал в Москву в начале весны 1922 г. 7 марта он впервые присутствовал на заседании этнолого-лингвистического отделения. Уже на этом заседании Селищев выступил с докладом о постановке на отделении преподавания славянской филологии и высказал ряд соображений о чтении конкретных курсов. Отделение поручило Селищеву преподавать предметы, о которых писал ему Д. Н. Ушаков, а также вести факультативный курс болгарского языка. Спустя два месяца новый профессор стал также читать курсы славянской этнографии и истории славянских литератур¹¹⁹. Одновременно Селищев перерабатывал свой учебник «Введение в сравнительную грамматику славянских языков» (Казань, 1914). 24 апреля 1924 г. его предложение об издании учебника, получившего заглавие «Введение в изучение славянских языков», было рассмотрено этнолого-лингвистическим отделением. Отделение постановило «заявить в редакционный сектор Госиздата о настоятельной необходимости переиздания этой книги...»¹²⁰, однако в то время издание не осуществилось. Впоследствии из книги вырос трехтомник «Славянское языкознание», первая часть которого увидела свет в 1941 г.

Оживление славистической деятельности в Москве вызвало сочувственные отклики ученых. Об этом, как о важной новости, сообщал председательствующему в ОРЯС В. М. Истрину академик М. Н. Сперанский. В свою очередь, член-корреспондент РАН, специалист по истории культуры К. В. Харлампович спрашивал 7 января 1923 г. А. И. Соболевского, правдивы ли слышанные им рассказы об активной роли А. М. Селищева в возрождении московского славяноведения¹²¹.

Восстановление преподавания славистических дисциплин на этнолого-лингвистическом отделении воздействовало на другие отделения ФОН'а.

7 октября 1922 г. руководители археологического отделения просили зачислить в университет на штатную должность Н. Л. Туницкого для преподавания славянских древностей, источниковедения истории Балкан и истории Византии, но вышестоящими инстанциями эта кандидатура была отклонена¹²².

28 октября того же года археологическое отделение высказало желание, чтобы курс истории русского языка читал археологам П. А. Расторгуев. Отметив, что Расторгуев — «специалист не только в русском, но и в других славянских языках», отделение мотивировало свою просьбу тем, что, «принимая во внимание происхождение и историю древне-русской письменности и ее тесную связь с юго-славянской и отчасти западно-славянской, необходимо в курсе затронуть и эти группы языков»¹²³.

В сентябре 1923 г. отделением было одобрено предложение Н. Д. Протасова о чтении курса «Археология славянских стран»¹²⁴.

Новые подходы к освещению польской проблематики попытался наметить С. М. Дубровский, намеревавшийся прочесть в 1923/24 учебном году на общественно-педагогическом отделении курс «Экономическая история Польши эпохи разделов»¹²⁵.

С первых шагов работы в МГУ А. М. Селищев вел дело к созданию там сильного учебно-научного славистического центра. Он пытался не только возродить подготовку в МГУ славяноведов. Ученого, видимо, не могла удовлетворить и научная деятельность секции славяноведения Научно-исследовательского института языка и литературы при МГУ, «деловую» работу которой удалось начать, как следует из письма Г. А. Ильинского Б. М. Ляпунову от 18 ноября 1927 г., только с 16 ноября этого года¹²⁶.

Деятельность секции не получила отражения в литературе. О достаточно скромном плане ее работы по созданию этнографической и политической карты современного славянства, об открытии заседаний секции докладом Селищева, посвященным болгарскому поэту С. Михайловскому, о намерении А. М. Селищева и Г. А. Ильинского пригласить для работы в ней Н. Н. Дурново есть упоминания только в письмах Ильинского¹²⁷.

Впервые вопрос о славистической специализации студентов начал серьезно обсуждаться весной 1923 г. в рамках подготовки очередной реформы ФОН'а, предусматривавшей реорганизацию этнолого-лингвистического отделения в отделение литературы и языкознания. Тогда предложение Селищева было отвергнуто, и на новом отделении осуществлялся прежний, лишь слегка модифицированный учебный план¹²⁸.

Как уже было сказано выше, в 1925 г. вышли декреты Совнаркома РСФСР о реорганизации факультетов общественных наук в Ленинградском и Московском университетах. Декретом от 28 июля 1925 г. «О преобразовании факультета общественных наук Первого московского государственного университета в факультеты советского права и этнологический»¹²⁹ ФОН МГУ был упразднен. Созданный в университете этнологический факультет должен был теперь обеспечивать выпуск «высококвалифицированных работников, подготовленных на основе исторического материализма и марксистской методологии в области истории, археологии, этнографии и искусствознания, которые, прежде всего, могли бы заниматься теоретической разработкой указанных научных областей и давать основной кадр работников для научно-исследовательских институтов общественных наук». Он состоял из четырех отделений, на факультете в числе других была создана кафедра славянской филологии, которую возглавил А. М. Селищев¹³⁰.

Кафедра обслуживала главным образом учебный процесс на восточнославянском цикле этнографического отделения, где изучались славянские языки и славянские древности, существовали лекционный курс и семинар по славянской этнографии, курс «Введение в сравнительное изучение славянских языков». На литературном отделении в качестве факультативных были объявлены курсы «Введение в славяноведение» и «История славянских литератур»¹³¹.

За три года работы А. М. Селищева в МГУ преподавание там славистических дисциплин несколько расширилось. Однако его состояние не могло удовлетворить ученого. В июле 1926 г. был разработан «Проект учреждения института славяноведения» (он не подписан, но по содержанию и стилю сходен с другими документами, автором которых был Селищев). В проекте в пользу создания института приводятся ставшие уже традиционными доводы — необходимость подготовки специалистов для обслуживания экономических, политических и прочих связей со славянскими странами, для пропаганды в этих странах советской идеологии и культуры. Вместе с тем автор подчеркивает наличие благоприятных условий для такой пропаганды: наличие за рубежом украинского и белорусского населения, близость языков и исторических традиций славянских народов. В документе отмечается большой недостаток в СССР соответствующих кадров и уже проявляющиеся на практике отрицательные последствия сложившейся ситуации. Отсутствие внимания к изучению славянских народов автор объясняет тем, что «реакция против царистского

панславизма вызвала и психологическую реакцию против славяноведения вообще». На основе сравнительного анализа положения с изучением славянских стран в СССР и в ведущих государствах Запада он приходит к выводу: одни университетские славистические ячейки не в состоянии обеспечить подготовку достаточного количества нужных специалистов, а получаемые этими специалистами знания лишь частично обеспечивают выполнение стоящих перед ними задач. В документе предлагается для исправления положения создать специальный комплексный учебный и научно-исследовательский институт, объединяющий подготовку специалистов по славянским странам с их изучением. Институт должен работать «при поддержке и под контролем НКВД, Внешторгбанка и Наркомпроса», готовя специалистов как по зарубежным славянским странам, так и по Украине, и по Белоруссии. Выпускники института должны владеть соответствующими языками, получать основательные знания по географии славянских стран (прежде всего экономической), их социальным и национальным отношениям, политической жизни, законодательству, этнографии, истории (здесь особое внимание необходимо обратить на социальную историю и историю взаимоотношений с Россией), истории их культуры. Институт должен также готовить и печатать научные труды и популярные работы о славянских народах, издавать исторические документы и другие материалы, выпускать специальный славистический журнал¹³².

Для какого руководящего органа был предназначен проект, неизвестно. Весьма вероятно, однако, что его появлению содействовали Р. О. Якобсон (в то время сотрудник полпредства СССР в Чехословакии) и представитель СССР в Чехословакии В. А. Антонов-Овсеенко, которые смогли заинтересовать проектом Народный комиссариат иностранных дел.

В одном из отчетов этнографического отделения сообщается, что «первый импульс к организации отделения славяноведения вышел из Народного комиссариата иностранных дел, почувствовавшего потребность в кадре подготовленных в области славяноведения и знающих славянские языки сотрудников»¹³³. В дневнике же Ю. М. Соколова, в те годы — секретаря этнографического отделения, 18 февраля 1927 г. есть запись: «Получил письмо от Р. О. Якобсона о взглядах полпреда Антонова-Овсеенко на образование славянского цикла в Унив[ерситете]. Я это письмо передам Волгину и П. Ф. Преображенскому. М[ожет] б[ыть] пригодится»¹³⁴. Декан этнологического факультета В. П. Волгин и председатель совета этнографического отделения П. Ф. Преображенский были людьми,

от которых во многом зависела судьба славистики в МГУ. П. Ф. Преображенский участвовал в заседаниях комиссии по организации славистической специализации, а В. П. Волгин представлял ее учебный план в Государственном ученом совете Наркомпроса¹³⁵.

Комиссия по организации славистической специализации и разработке ее учебного плана была создана в октябре 1926 г. В ее состав вошли ученые разных специальностей — языковед-славист А. М. Селищев, языковед-русист Д. Н. Ушаков, этнограф А. Н. Максимов, фольклорист Ю. М. Соколов, литературовед А. С. Орлов, историк М. К. Любавский. На завершающей стадии работы к ним присоединились языковед М. Н. Петерсон, профессор факультета советского права М. И. Исаев и представитель Народного комиссариата иностранных дел М. И. Ашбель¹³⁶.

Уже на первом заседании, состоявшемся 8 ноября 1926 г., решено было готовить будущих славистов не в отдельном институте и даже не на вновь созданном отделении, а в рамках одного из циклов отделения этнографии¹³⁷.

А. М. Селищев вынужден был согласиться с этим решением, поскольку у деканата не было возможностей, «которые позволяли бы обеспечить должным образом преподавание предметов славяноведения»¹³⁸. 12 ноября деканат этнологического факультета обсудил первые итоги работы комиссии. Согласившись с ее соображениями, он постановил создать цикл южных и западных славян. Вместе с тем деканат отметил, что «с учреждением нового цикла [...] задача преподавания славяноведения будет выполнена только частично»¹³⁹, и высказался за организацию в будущем специализированного славистического отделения. Было также решено ходатайствовать об организации при этнологическом факультете кабинета по славяноведению, который должен был стать базой будущего славистического научно-исследовательского института.

В ходе последовавших позже обсуждений учебного плана цикла в комиссии и деканате А. М. Селищев высказывал мнение, что начинать надо с подготовки студентов преимущественно как славистов-языковедов, но работа цикла отнюдь не должна замыкаться на изучении лингвистических дисциплин, и уже на первом этапе есть возможность готовить специалистов в других областях славяноведения¹⁴⁰.

Селищев предложил проект учебного плана, который был с рядом изменений принят комиссией и утвержден деканатом. Деканат согласился также с мнением комиссии о желательности расширения преподавания истории и литератур славянских народов на других отделениях факультета¹⁴¹.

Дальнейшая подготовка к открытию цикла проходила в остром противостоянии университетских профессоров с органами Наркомпроса, требовавшими значительных изменений в проекте учебного плана нового цикла. Наркомпрос настаивал на необходимости доработки плана в направлении дальнейшего повышения в нем удельного веса общественно-политической, экономической и юридической тематики за счет сокращения лингвистических дисциплин. Как недостаток было также отмечено наличие в проекте значительного числа предметов, базировавшихся на знакомстве с историей славян, которые презрительно именовались «древностями»¹⁴². План отстаивали Д. Н. Ушаков, М. К. Любавский и А. М. Селищев. При обсуждении замечаний Наркомпроса в комиссии цикла Селищев не согласился с упреками в отвлеченности проекта и его чрезмерном крене в сторону лингвистики. Он твердо стоял на точке зрения, что «знание славянских языков — самая необходимая предпосылка для изучения славянства», но, вместе с тем, не возражал против предложений о включении в учебный план подавляющего большинства общественно-политических и исторических дисциплин, а также сокращении курсов по русскому языку. М. К. Любавский счел несостоятельным мнение о преобладании в плане интереса к «древностям», ибо «курсы по истории славян не предполагалось ограничить лишь старыми эпохами». Примечательно также выступление в комиссии М. И. Исаева, отметившего «чрезвычайно важное значение организации славистической ячейки в 1-м МГУ, в которой заинтересован не только этнологический факультет, но, например, и факультет советского права»¹⁴³.

В результате длинной серии согласований учебный план был утвержден ГУС'ом в виде, зафиксированном 22 апреля 1927 г. в протоколе заседания этнографического отделения. На этом заседании были также распределены между профессорами предметы преподавания на новом цикле, причем ряд курсов и практикумов оказался вакантным. В связи с этим отделение сочло необходимым введение в штат должностей профессора, доцента и преподавателей славянских языков. Было также постановлено просить деканат об открытии кабинета славяноведения и об утверждении его заведующим А. М. Селищевым.

Оценивая в июне 1927 г. окончательно «сверстанный» учебный план цикла южных и западных славян, А. М. Селищев подчеркивал, что «основное значение в этом плане принадлежит лингвистическим изучениям [...]. Но кроме изучения славянских языков, студенты получают знания в отношении быта, культуры и государственного права южных и западных славян»¹⁴⁴.

Таким образом, преподавание на цикле должно было обеспечивать не только подготовку славяноведов-лингвистов, но и специалистов, компетентных в целом комплексе проблем славяноведения.

Подготовка к созданию цикла южных и западных славян была завершена, важнейшие условия для его существования созданы. Однако еще оставалось много нерешенных проблем. Наиболее насущной задачей был подбор высококвалифицированных преподавательских кадров. Прежде всего, необходим был славист широкого профиля, способный читать лекции, руководить семинарами и вести практические занятия по комплексу славистических дисциплин. Выбор Селищева пал на Г. А. Ильинского, о котором уже было рассказано в предыдущем очерке и еще будет сказано на дальнейших страницах книги. Вокруг кандидатуры Ильинского развернулась упорная борьба. Сведения о перипетиях ее весьма противоречивы. С. Б. Бернштейн вспоминает, что о вакансии в Москве Р. О. Якобсону (он к этому времени уже не работал в советском посольстве и продолжал жить в Праге в качестве частного лица, но еще был гражданином СССР) сообщил Д. Н. Ушаков и что именно Ушаков «продвигал» в дальнейшем эту кандидатуру. Якобсон, который испытывал большие затруднения материального характера, не имея постоянной работы, послал, якобы, в МГУ соответствующее заявление. Такое же заявление поступило от Г. А. Ильинского, преподававшего в 1926/27 учебном году в Казанском университете. «Селищев не был в восторге от кандидатуры Ильинского, — пишет Бернштейн. — Было хорошо известно, что Григорий Андреевич плохой лектор [...]. Нигде долго Ильинский не задерживался. Имея уже значительный стаж педагогической работы, он не воспитал ни одного слависта, известного своими учеными трудами. Но еще отрицательнее Селищев отнесся к кандидатуре Якобсона. Все направление научной деятельности Якобсона было глубоко чуждо Селищеву. Впервые со времени приезда в Москву у Селищева возникли осложнения в личных отношениях с Ушаковым. Последнее слово было за Селищевым, а он предпочел Ильинского»¹⁴⁵.

Однако воспоминаниям Бернштейна противоречат свидетельства некоторых документов и писем славистов. Из них видно, в частности, что, как справедливо пишет М. А. Робинсон, «мемуарист явно переоценил значение антагонизма научных направлений для делового сотрудничества»¹⁴⁶. В связи с этим интересно письмо Г. А. Ильинского Н. Н. Дурново от 17 ноября 1927 г., отрывки из которого приведены в книге Робинсона. «А. М. Селищев, председатель секции Славяноведения Исслед[ователь-

ского] Инст[итута], говорил мне, что он при первой возможности постарается провести Вас в члены ее, хотя по роду Ваших занятий и интересов Вам надлежало бы быть в И[нсти]туте русс[кого] языка и литературы», — писал Дурново Ильинский¹⁴⁷.

Есть в сообщении С. Б. Бернштейна и другие неточности. Из документов видно, что кандидатуру Ильинского представил в деканат этнологического факультета А. М. Селищев как раз вместе с Д. Н. Ушаковым¹⁴⁸, кандидатуру же Якобсона назвал и упорно отстаивал Ю. М. Соколов. Истинной причиной отрицательного отношения Соколова к назначению Ильинского были его «черносотенные», по мнению Юрия Матвеевича, взгляды, но на заседании деканата, рассматривавшего представление Селищева и Ушакова, он выдвинул иные доводы. «Я повздорил с Аф[анасием] Матв[еевичем] Селищевым из-за кандидатур новых преподавателей на славянский цикл. Он предлагает Г. А. Ильинского и со всей яростью (грубой, неврастеничной) набросился на кандидатуры, предложенные мною, Якобсона и Богатырева. Я очень решительно возражал», — записал Ю. М. Соколов вскоре после заседания деканата¹⁴⁹. Возражения Соколова, высказанные на заседании, сводились к двум пунктам: приглашение на профессорскую должность еще одного лингвиста «может повести к чрезмерному усилению чисто лингвистических интересов в ущерб интересам историко-культурным и этнографическим [...]»; предстоящий выезд в заграничную научную командировку В. П. Волгина открывает возможность пригласить на работу в МГУ зарубежных славистов¹⁵⁰. В письме к Н. Н. Дурново от 17 ноября 1927 г. Ильинский так комментирует первое из этих возражений: «Относительно Якобсона [...] Ю. М. Соколов [нрзб.] отстаивал его кандидатуру в Универ[ситете], предостерегая своих коллег, что Селищев и я будем будто бы душить студентов праславянщиной (!!)»¹⁵¹.

В том же письме Ильинский сообщает Дурново, что ф[акультет] нашел возможным послать Якобсону приглашение занять лишь лектуру чеш[ского] яз[ыка], но он на него даже не ответил¹⁵². Таким образом, от Якобсона какого-то официального заявления, о чем упоминается в воспоминаниях С. Б. Бернштейна, на факультет не поступало. Это подтверждается и вторым пунктом возражений Соколова, который, видимо, считал возможным пригласить Якобсона на работу через В. П. Волгина, если при этом Волгин не найдет за рубежом другой кандидатуры. Вполне вероятно, что Ю. М. Соколов рассчитывал на приглашение Волгиным в МГУ близкого ему по научным интересам этнографа и фольклориста П. Г. Богатырева, проживавшего, как и Якобсон, в Праге. В то же время

Волгин имел возможность пригласить на работу и другого слависта из-за рубежа. Судя по документам деканата этнологического факультета, им мог стать даже специалист, имеющий иностранное гражданство. Деканат утвердил, например, преподавателем сербского языка лектора Славянского института в Париже серба Янича, который, однако, в Москву не приехал¹⁵³. В условиях 1920-х годов приглашение иностранцев в советский университет было совершенно необычным и, несомненно, не могло быть осуществлено без согласования с «инстанциями», но руководство этнофака соответствующего разрешения, видимо, добились.

А. М. Селищев самым решительным образом отстаивал кандидатуру Г. А. Ильинского. Возражения Соколову он подробно изложил в особой записке, где детально разобрал доводы оппонента и показал, что именно Ильинский необходим циклу, так как он является разносторонним славистом, сочетающим лингвистическую специализацию с интересом к литературе и истории славян и способен вести соответствующие занятия со студентами. В заключение Селищев отмечал, что «профессор Ильинский — единственный славист, который по праву может быть профессором на кафедре славяноведения в 1-м Московском университете. Других кандидатов нет...»¹⁵⁴. После двукратного дополнительного обсуждения на этнографическом отделении, во время которого Ю. М. Соколов «остался при особом мнении», кандидатура Г. А. Ильинского была вновь представлена в деканат, и последний согласился с решением отделения¹⁵⁵. В начале 1927/28 учебного года Ильинский был утвержден профессором МГУ и переехал в Москву. «С октября м[есяца] я перевелся в здешний университет. Это стало возможным благодаря расширению преподавания славяноведения, чем А. М. Селищев и воспользовался...», — писал Ильинский М. Г. Попруженко из Москвы 11 декабря 1927 г.¹⁵⁶

Цикл южных и западных славян начал свою деятельность с 1927/28 учебного года. Вокруг него сразу же стали группироваться как специалисты, работавшие на этнографическом отделении и обеспечивавшие преподавание смежных дисциплин (Д. Н. Ушаков, А. Н. Максимов, археолог В. В. Богданов), так и преподаватели правового факультета, например, известный юрист-международник А. В. Сабанин. Правоведы вели на цикле главным образом лекционные курсы, освещавшие положение в зарубежных славянских странах и правовые аспекты международных отношений.

А. М. Селищев считал, что «поверхностное прохождение лингвистических предметов чрезвычайно вредно отражается на нашей жизни, не исключая и научной деятельности»¹⁵⁷. Поэтому он обратил самое присталь-

ное внимание на подбор преподавателей славянских языков. В то время их никто не готовил, и разыскать подобных специалистов было почти невозможно. Селищев нашел выход в привлечении к преподаванию политических эмигрантов. Эти необычные для МГУ кадры отлично владели славянскими языками, причем среди них были и дипломированные школьные учителя. Вместе с политэмигрантами практические занятия по славянским языкам вели и подготовленные в Москве молодые ученые. Известный впоследствии филолог-русист, ученик В. Н. Щепкина Д. Э. Розенталь вел на цикле практические занятия по польскому языку, а один из курсов болгарского языка был поручен молодому филологу, ученику В. А. Францева А. И. Павловичу¹⁵⁸.

Курсы различных славянских языков читали студентам цикла также Г. А. Ильинский и А. М. Селищев, последний вел и занятия по сравнительной грамматике славянских языков. Хорошая постановка изучения языков на цикле южных и западных славян отмечалась через много лет выпускницей цикла В. Н. Кондратьевой¹⁵⁹.

В связи с требованиями ГУС'а, настаивавшего на изучении студентами различных сторон современной жизни западных и южных славян, на цикле читалось несколько соответствующих курсов. Известный впоследствии юрист-международник В. Н. Дурденевский читал в 1927/28 учебном году курс государственного устройства славянских стран, затем Дурденевского заменил доцент К. А. Архиппов. Лекции по экономической географии читал профессор М. И. Селищенский, по славянской этнографии — П. П. Свешников.

В то же время на цикле было введено и успешно развивалось преподавание исторических дисциплин, ГУС'ом, как было отмечено выше, не одобряемое. В 1927/28 г. на цикле были прочитаны курсы древностей южных и западных славян (Ю. В. Готье), истории материальной культуры зарубежных славянских народов (В. В. Богданов), русской истории до XIX в. (М. К. Любавский, затем С. В. Бахрушин), новой и новейшей истории Австро-Венгрии (С. Д. Сказкин). Одновременно были организованы семинарские занятия по истории славянских народов. В следующем учебном году преподавание исторических дисциплин еще более расширилось. В учебном плане к прежним курсам были добавлены дополнительные: русской и западной истории XIX—XX вв., истории славян — западных (М. К. Любавский) или южных (Ю. В. Готье) в зависимости от специализации студентов. Ю. В. Готье руководил также спецсеминаром по изучению Законника Стефана Душана. С. Д. Сказкин вел семинар по истории

взаимоотношений славянских стран с Россией, его ассистентом был аспирант РАНИОН С. А. Никитин, успешно руководивший занятиями по славянской проблематике.

Значительно хуже изучались на цикле славянские литературы. В 1927/28 учебном году студентам цикла предложены были только лекционный курс и семинар по истории польской литературы до конца XIX в. Г. А. Ильинского. В учебном плане на следующий год предусматривалось чтение курсов истории южнославянских или западнославянских литератур (в зависимости от специализации студентов) и истории славянского фольклора, однако известно, что не все они были реализованы¹⁶⁰.

В заключение следует отметить курс А. М. Селищева «Введение в славяноведение». Включивший в себя сведения из курса «Введение в славянскую филологию», читавшегося с 1922 г., он во второй половине 1920-х годов в результате постоянной доработки профессором приобрел комплексный характер. «Введение в славяноведение», — писал в 1927 г. А. М. Селищев о задачах курса, — познакомит студентов с основными задачами славистических изучений, представит им общий обзор культурной жизни всех славянских народов и охарактеризует их современное состояние»¹⁶¹.

В 1927/28 учебном году на этнографическом отделении действовали I—III курсы, IV выпускной курс должен был быть открыт осенью 1928 г. С учетом общеобразовательного характера I курса специализация по циклу южных и западных славян была открыта на II и III курсах. Новая специализация заинтересовала студентов. На 1 декабря 1927 г. на цикле занималось 28 человек¹⁶². Успеваемость студентов на первых порах была низкой, но в этом отношении цикл не был исключением. Например, в 1926/27 учебном году на этнологическом факультете не было переведено на следующий курс 9,2% студентов и исключено за неуспеваемость 9,6%, а из 218 выпускников факультета все квалификационные требования смогли выполнить лишь 9 человек¹⁶³. А. М. Селищев отмечал, что во втором полугодии 1927/28 учебного года студенты были недостаточно активны ввиду перегруженности учебного плана предметами, которые «мешали надлежащему изучению основных дисциплин цикла»¹⁶⁴. Студенты, в свою очередь, жаловались на перегруженность цикла основными для цикла предметами. «Нам преподали целую стаю языков, — писала в многотиражке МГУ «Первый университет» студентка цикла А. И. Пятышина. — В результате получилась буквально зачетная эпидемия. Наскоро приготовишь зачет, еле донесешь до профессора, на обратном пути уже забудешь его и начинаешь готовить другой...»¹⁶⁵

Одной из причин плохой успеваемости студентов было отсутствие учебных пособий и научной литературы. В период подготовки к созданию цикла этнографо-археологическому музею и лингвистическому кабинету, действовавшему в составе этнофака, удалось получить некоторое количество зарубежной славистической литературы (в частности, было приобретено 11 учебников славянских языков), но этого оказалось совершенно недостаточно. Нехваткой учебников и литературы были озабочены прежде всего преподаватели цикла: на возникавшие в связи с этим трудности указывали, например, В. Н. Дурденевский и преподаватель сербского языка И. Малышич, а С. Д. Сказкин из-за отсутствия литературы вынужден был даже отказаться от чтения курса «История западнославянских государств»¹⁶⁶. «Большим затруднением не только для слушателей, но и для лектора является колоссальная отсталость наших библиотек от того, что вышло и выходит по славянской этнографии как в самих славянских странах, так и в иных, особенно в Германии, Австрии и отчасти Франции [...]. Эта неподготовленность едва ли оправдывается той неожиданной стремительностью, с какой на этнологическом факультете появился цикл южных и западных славян», — отмечал в своем отчете о чтении в 1927/28 учебном году факультативного курса «История материальной культуры западных и южных славян» В. В. Богданов¹⁶⁷.

Справедливо отмечая отсутствие в библиотеках нужной славистической литературы, Богданов недооценивал вместе с тем усилия, предпринимаемые руководством цикла для создания научной и учебной базы. Стремительность, о которой он писал, в значительной мере стала возможной в результате энергичной деятельности А. М. Селищева по обеспечению цикла литературой. За 1927/28 учебный год выписка славистической литературы в лингвистический кабинет увеличилась с 219 до 388 названий, причем для закупки ее был открыт «особый финансовый счет», куда поступали денежные средства, в том числе иностранная валюта¹⁶⁸.

После настойчивых обращений в вышестоящие инстанции, осенью 1929 г. в лингвистический кабинет этнофака из Казанского восточного педагогического института поступила богатейшая славистическая библиотека М. П. и Н. М. Петровских, она обеспечила цикл научными трудами, опубликованными до начала Первой мировой войны¹⁶⁹.

В то же время Селищеву по причине отсутствия помещения и штатов не удалось создать кабинет славяноведения, остались не реализованными разработанные им в декабре 1928 г. предложения о переводе зарубежных

и переиздании отечественных учебников¹⁷⁰, не удалось осуществить издание новых отечественных учебных пособий.

На уровне подготовки студентов цикла не могла не отражаться и общая обстановка, сложившаяся в университете во второй половине 1920-х годов. Она никак не способствовала углубленным и плодотворным занятиям. Непрерывно проводились различные кампании, преобладал командный стиль руководства, некоторые правильные по своей сути мероприятия в результате некавалифицированного или слишком прямолинейного подхода превращались в свою противоположность и не приносили желаемых результатов. Это отчетливо видно при просмотре университетской многотиражки «Первый университет». Поражает, например, статья М. Чеховского, в которой рассматривается вопрос о так называемой «пролетаризации» университета, т. е. о необходимости изменения социального состава студентов в пользу рабочих. Автор особенно сетует на то, что среди 7 400 студентов МГУ «мы имеем еще... нетрудового элемента 67 человек». «Группа рабочих и крестьян, — пишет далее Чеховский, — составляет всего лишь 40,7% [...]. Его необходимо довести до 75%. Надо настойчиво проводить принцип соотношения процентов по социальным группам...»¹⁷¹

Социальным составом студентов озабочен и другой автор «Первого университета» К. Иванов. В статье «Чем болен этнофак» он не доходит до процентомании Чеховского, но тоже сокрушается в связи со слишком большим числом студентов (530 из 800), не принадлежащих к рабочим и крестьянам. Иванов справедливо указывает на постоянное сокращение учебных планов факультета по причине урезывания финансирования, на систематические срывы производственной практики, на зачисление студентов на циклы без учета их желания и т. д. Однако для ликвидации недостатков он предлагает применять преимущественно административные и организационные меры¹⁷².

«Проработочные» кампании и административные меры нередко затрагивали наиболее думающих и талантливых студентов. Одним из них был Н. И. Кравцов, который учился на литературном отделении этнофака, но одновременно слушал курс сербской литературы Г. А. Ильинского на цикле южных и западных славян¹⁷³.

Как серьезно заинтересовавшегося сербским фольклором «выдающегося своими способностями и знаниями студента», Ю. М. Соколов в январе 1928 г. рекомендовал Кравцова в так называемые «выдвиженцы» (они отбирались из числа старшекурсников для подготовки к научной

деятельности). Однако при обсуждении в отделении представители студентов обвинили Кравцова в «немарксистском направлении». Возражения Соколова, указывавшего, что Кравцов лишь вырабатывает научное мировоззрение и что ему присущи «критицизм и скептицизм», оказались тщетными, не помогла и поддержка кандидатуры авторитетными литературоведами А. С. Орловым, М. А. Петровским, И. Н. Кубиковым¹⁷⁴. Деканат этнофака утвердил решение отделения, постановив отклонить кандидатуру Кравцова. Выдвиженцем был утвержден студент историко-археологического отделения М. В. Миско¹⁷⁵.

Описанный случай не был единичным. В апреле 1929 г. студентка III курса цикла южных и западных славян Е. К. Бесядовская не была утверждена «выдвиженкой», несмотря на рекомендацию этнографического отделения, в декабре того же года «проработке» подверглась студентка IV курса цикла «выдвиженка» О. И. Козлова, которая была вынуждена в итоге отказаться от «выдвиженчества». Нельзя в связи с этим не сказать о характеристиках, которые были даны администрацией и общественными организациями этнологического факультета студентам-выпускникам в конце 1929/30 учебного года. В списке выпускников с краткими характеристиками каждого студента значится около 100 человек, в том числе девять студентов цикла южных и западных славян, у трех из них отмечена недостаточная идеологическая выдержанность. Некоторые характеристики просто курьезны. Другие нельзя читать без глубокого возмущения. Приведу для примера выдержку из характеристики будущего академика Б. А. Рыбакова, который заканчивал археологический цикл: «Рыбаков Борис Александрович. Из служащих, б/п (беспартийный). — А. Г.) [...]. Академическая успеваемость хорошая. Идеологически не выдержан. В общественно-политическом отношении крайне пассивен. Направить на музейную работу по специальности под твердым идеологическим руководством»¹⁷⁶.

Подробные воспоминания о гнетущей и полной лицемерия обстановке в МГУ во второй половине 1920-х годов оставил С. Б. Бернштейн. «Основное противоречие между общими декларациями и реальной жизнью состояло в том, что боролись за осуществление высоких нравственных постулатов безнравственными приемами, — отмечал он. — Во внутренней жизни университета новой власти удалось осуществить то, что не могли осуществить прежние властители в периоды самой жестокой реакции. На каждом шагу студенты встречались со словом *бдительность* [...]. Нужно было разоблачать тех, кто не имел по существующим порядкам права учиться в университете [...]¹⁷⁷.

В таких нелегких условиях А. М. Селищев последовательно боролся за дальнейшее развитие университетского славяноведения. Он был убежден, что реальные возможности для этого могут быть созданы лишь при организации на базе цикла южных и западных славян отделения славяноведения. В феврале 1928 г. Селищев подал В. П. Волгину докладную записку. В ней отмечались достигнутые циклом успехи, но вместе с тем подчеркивалось, что, как часть этнографического отделения, он «должен включать в свой план общеотделенческие предметы [...], необходимые работникам по этнографии и краеведению в пределах СССР», но не нужные специалистам по зарубежным славянским странам. «Ряд этнографических и этнологических предметов весьма обременяют план славяноведческой группы: для студентов этот цикл чрезвычайно затруднителен, почти невыполним надлежащим образом [...]», — свидетельствовал Селищев. Далее он писал о настоятельной необходимости изучения славистами нескольких новых предметов, «которые ближе поставили бы наших слушателей к работе по Комиссариатам иностранных дел и торговли» и о предоставлении студентам возможности специализации в разных областях славяноведения. В связи с этим Селищев вновь вернулся к своему предложению 1926 г. об организации славистического института. Введение специализации студентов, по его мнению, должно было стать подготовительным шагом к организации в таком институте различных отделений и циклов.

Организовать преподавание на новом отделении А. М. Селищев наметал в рамках двух циклов: западных славян и южных славян. Он предлагал также ввести на нем дисциплину «Албановедение», осуществлять курсы «Введение в румыноведение» и «Румынский язык». Курсы румыноведения и румынского языка должны были стать первым шагом к организации самостоятельного цикла. К докладной был приложен детально проработанный проект учебного плана будущего отделения¹⁷⁸.

Вокруг повышения статуса цикла южных и западных славян развернулась длительная борьба, шедшая с переменным успехом. На стороне А. М. Селищева были преподаватели цикла и представители студентов, против его предложений выступали профессора и студенческие представители других циклов во главе с председателем этнографического отделения П. Ф. Преображенским. Противники Селищева считали создание нового отделения преждевременным, они предлагали сохранить цикл «по крайней мере на год, т[о] е[сть] до полного развертывания всех четырех курсов». Представленный учебный план, по их мнению, мог быть осуществлен

в рамках цикла с введением внутри него специализаций по лингвистике, литературе и истории¹⁷⁹.

На одном из заседаний, где обсуждалась докладная, Преображенский, осведомленный, видимо, лучше других об отношении к циклу университетских и факультетских руководителей, заявил, что А. М. Селищев сужает задачи этнографического отделения: его главной целью остается подготовка «работников для обслуживания культурно-просветительных и хозяйственных нужд национальных меньшинств»¹⁸⁰.

Таким образом, Селищеву было дано понять, что циклу следует учесть новые веяния, связанные, как уже было сказано, с критикой в адрес Наркомпроса, и вместе со всем отделением переориентироваться на подготовку специалистов низшей квалификации.

Селищев представил на доклад Преображенского письменные возражения. В них отразилась озабоченность тенденцией к изменению «целевой установки» цикла. Особенно настойчиво руководитель цикла южных и западных славян ставил вопрос об изменении учебного плана. В то же время он фактически вынужден был отказаться от идеи об организации отделения славяноведения. «Я утверждаю, что изменение плана славяноведения необходимо. Необходимо предоставить слушателям условия прохождения предметов славяноведения и облегчить им получение возможности применить в жизни полученные знания [...]. Если руководители этнографического отделения находят возможным *полное осуществление* программы славяноведческой группы в составе этого отделения, я не буду настаивать на особом отделении славяноведения», — писал ученый¹⁸¹.

Вопрос о создании отделения славяноведения и его учебном плане был вынесен для окончательного решения на заседание деканата, состоявшееся 13 марта 1928 г. Деканат утвердил (с рядом изменений, важнейшими из которых было сокращение албановедения и румыноведения) учебный план, представленный А. М. Селищевым, но решил нового отделения не открывать. Внутри цикла, в соответствии с докладной запиской Селищева, вводились южнославянская и западнославянская секции, причем на II курсе основное внимание обращалось на языковую подготовку студентов, а на III и IV курсах изучение славянских языков сочеталось с изучением широкого круга славистических дисциплин общественно-политического, исторического и историко-культурного характера¹⁸².

В дальнейшем с предложениями о превращении цикла в отделение выступали представители студенчества. 11 октября 1928 г. в «Первом университете» появилась статья «Пионер советской славистики». Ее автор,

скрывшийся под псевдонимом В. П-ский (возможно, что автором был студент цикла южных и западных славян В. С. Поступальский), писал о необходимости большего внимания к «молодой ячейке советской славистики со стороны партийных, профессиональных и академических организаций», а также со стороны студентов нового приема. Им было приведено несколько дополнительных аргументов в пользу необходимости совершенствования подготовки славистов по сравнению с докладной Селищева. На первый план автор статьи выдвинул необходимость удовлетворения культурных запросов проживающих в СССР поляков, болгар и чехов и изучения их «бытовых, экономических, языковых и культурных особенностей». Далее подчеркивалась важность понимания революционных процессов, проходивших в зарубежных славянских странах. Основной задачей цикла автор считал подготовку научных и практических работников, не только знающих славянские языки и славянскую этнографию, но и разбирающихся в литературе и истории западных и южных славян.

В ноябре—декабре 1928 г. вернуться к созданию отделения славяноведения предложил студент У. А. Шустер. Он ссылаясь на то, что в начавшемся семестре открыт IV курс и, таким образом, условий, при которых Преображенский считал нежелательным преобразование цикла в отделение, больше не существует. На этот раз заявление Шустера было поддержано как этнографическим отделением, так и деканатом этнофака. Однако преобразовать цикл южных и западных славян в отделение все же не удалось. Это было связано как с отмеченными уже новыми веяниями, так и с охлаждением к славистической специализации в МГУ чиновников Народного комиссариата иностранных дел. Очень показателен отказ управления делами НКВД в приеме студентов для прохождения производственной практики. После обсуждения этого острого для цикла вопроса (мест для практики у цикла фактически не было) Наркоминдел принял на практику всего одного человека¹⁸³.

В конце 1928 г. кампания за замену подготовки кадров более высокой квалификации ускоренным выпуском «узких» специалистов набрала ход. В декабре 1928 г. в журнале «Красное студенчество» появилась статья Е. Трощенко «Фабрика лишних людей». Она содержала резкую критику в адрес этнологического факультета, который, по мнению автора, «учит вообще, а не чему-нибудь конкретному»¹⁸⁴, поскольку не выпускает готовых преподавателей, музейных работников, библиотекарей и т. д.

Руководители и представители преподавателей этнофака попытались возразить Трощенко, выступив в подборке откликов на статью. А. З. Иоан-

нисияни доказывал, что широкое образование — «скорее положительная сторона факультета»¹⁸⁵, а В. П. Волгин подчеркивал, что выпускники факультета вполне подготовлены к практической деятельности, так как специализируются в определенных областях на соответствующих отделениях¹⁸⁶, но их доводы, разумеется, не были услышаны.

16 февраля 1929 г. положение на этнологическом факультете было обсуждено на собрании студенческого актива. Как писал студент Я. Зусманович в газетном отчете об этом собрании, «студенчество наметило пути рационализации этнофака». Отметив отсутствие на факультете плана подготовки практических работников, актив постановил добиваться сокращения учебных планов, полной ликвидации лекционной системы, организации приема зачетов в течение всего года¹⁸⁷. Руководство отделения вынуждено было пойти на компромисс, сократив количество сдаваемых зачетов.

Однако критика утихла не надолго. Новая статья, направленная на этот раз не столько против этнофака в целом, сколько против этнографического отделения, появилась 14 мая 1929 г. Ее автор, студентка IV курса цикла южных и западных славян А. И. Пятышина, в чрезвычайно резкой форме вновь поставила вопрос о специализации выпускников отделения. Она возложила вину за отсутствие должного профиля подготовки на профессоров этнографического отделения и деканат этнофака, которые, якобы, плохо организовали обучение и студенческую практику, а также не смогли добиться заявок от организаций и учреждений на будущих специалистов. В заключение Пятышина призывала деканат и Главпрофобр прекратить «неслыханное издевательство» над «живыми людьми» и закрыть этнографическое отделение, чтобы «не отнимать напрасно годы у людей»¹⁸⁸.

В июне 1929 г. в Ленинграде прошла этнологическая конференция московских и ленинградских ученых. В ней приняли участие П. Ф. Преображенский и несколько его учеников, лучших студентов этнографического отделения. Не вдаваясь в существо обсуждавшихся на конференции проблем¹⁸⁹, отметим только, что студенты вместе с Преображенским голосовали против резолюции конференции. При обсуждении итогов форума на заседании этнографического отделения против позиции Преображенского выступили В. К. Никольский и Н. Ф. Яковлев. Яковлев при этом потребовал реорганизации отделения, утверждая, что в противном случае «нами займутся другие, и, пожалуй, от отделения и факультета ничего не останется»¹⁹⁰.

Сторонники Яковлева одержали в отделении верх и, хотя их предложение о создании специальной комиссии по подготовке реорганизации руководство этнофака не поддержало, Преображенский был вынужден отказаться от председательства в отделении¹⁹¹. Началась травля профессора и его учеников, о которой рассказал очевидец событий С. Б. Бернштейн. «...Решили бороться не только с Преображенским, но и с его учениками, — вспоминает Бернштейн. — Уже речь пошла об организованной антимарксистской группе во главе с антимарксистом Преображенским. Весь этот поход возглавил подонок Толстов [...]. В нашей университетской газете от 24 декабря 1929 г. была опубликована заметка под красноречивым названием: “Правая профессура в блоке с чуждыми” [...]. Вся фактическая сторона заметки — ложь от начала до конца»¹⁹². В заметке, которая названа в воспоминаниях, кроме Преображенского упомянуты четыре студента: Алексеев, Худоложкин, Ерзин, Вартапетов. «Свою антимарксистскую сущность они выявили на ленинградской конференции, куда они были посланы делегатами, блокируясь с профессором Преображенским, занимающим антимарксистское крыло в этнографии. Эта четверка голосовала за взгляды Преображенского», — сообщает газета¹⁹³.

Судьба «четверки», как, впрочем, и судьба самого Преображенского, арестованного в 1937 г. и погибшего в сталинских лагерях, по свидетельству Бернштейна, «была печальной»¹⁹⁴. Автор настоящей книги встречался с бывшим студентом кавказского цикла этнографического отделения С. А. Ерзиным в середине 1950 — начале 1970-х годов, когда работал вместе с ним в Библиотеке имени В. И. Ленина, и смог на его примере воочию увидеть последствия университетской травли. Саид Ахмедович был очень больным человеком. Он побывал в заключении и затем долгие годы трудился в библиотеке, каталогизируя книги на языках народов Советского Востока. В условиях брежневской эпохи хода Ерзину не было, да он и не способен был уже к серьезной научной деятельности.

Но вернемся к судьбе цикла южных и западных славян. Отставка Преображенского фактически предрешила вопрос об организационных изменениях на цикле, и они не заставили себя долго ждать. 14 июня 1929 г. деканат постановил ликвидировать языковые циклы. Была введена территориальная структура, в которую цикл А. М. Селищева не вписывался. 21 июля статья с перечислением новых циклов была опубликована в «Первом университете»¹⁹⁵; в ней цикл южных и западных славян уже не упоминается.

Организационно вопрос был решен довольно легко, намного труднее оказалось устроить судьбы студентов бывшего славянского цикла. Деканат вынужден был считаться с реальной специализацией студентов, ее удалось отменить только на втором курсе. Студенты III и IV курсов продолжали занятия по прежним программам, но их постепенно переводили на другие специальности. Надо сказать, что свертыванию цикла во многом способствовали сами студенты. Некоторые из них под воздействием выпадов печати против различных проявлений «славянской идеи», о чем уже говорилось в предыдущем очерке, относились ко всему славянскому неприязненно. Об одном таком «ловком, хищном, изворотливом», но тупом студенческом «активисте» пишет С. Б. Бернштейн. «Он с большой неприязнью относился к славянскому циклу, к славянам, к студентам-славистам, — вспоминает Бернштейн. — Уже на первом курсе он часто уговаривал меня уйти со славянского цикла. Аргументы у него были следующие: славяноведение — это славянофильство, а славянофильство — это черносотенство»¹⁹⁶. Но большая часть студентов, в том числе и многие студенты бывшего цикла А. М. Селищева, были сбиты с толку пропагандой полезности «узких» специалистов. Они рассматривали учебу как подготовку к определенной конкретной профессии и не задумывались о возможности использовать полученные знания в других направлениях. Еще в 1927/28 учебном году с цикла южных и западных славян началось «бегство» студентов, опасавшихся не найти себе применения после окончания университета¹⁹⁷. Опасения подтвердились при распределении первого выпуска цикла в 1929 г. Шесть из семи окончивших не смогли найти работу по своей «узкой» специальности. В итоге пятеро из них обратились в этнографическое отделение с просьбой назначить им новую «узкую» специальность, однако пойти на работу в краеведческие музеи эта «пятерка» отказалась.

Переговоры преподавателей с выпускниками не дали результатов¹⁹⁸. Мало того, к выпускникам цикла южных и западных славян присоединились четыре выпускника тюркского и угро-финского циклов¹⁹⁹. 13 декабря на заседании этнографического отделения было заслушано письмо Наркомпроса, потребовавшего направить выпускников цикла южных и западных славян для переквалификации в другие высшие учебные заведения. В связи с протестом отделения против такого решения²⁰⁰ выпускники Сармацкая, Пятышина, Поступальский и Мазурова опубликовали 24 декабря 1929 г. в «Первом университете» открытое письмо «Зачем мы учились?» «При организации практики мы не могли не увидеть, что в ра-

ботниках нашей “специальности”, в сущности, не заинтересовано ни одно учреждение [...], — писали они. — Результаты существования нашего цикла теперь налицо [...]. Университет и Наркомтруд не знают, что с нами делать, куда нас “приткнуть” [...]. Короче — мы советские институтки, знакомые со всем понемногу и недоработанные ни в одном направлении. Нужны ли подобные циклы?»

В итоге авторы письма получили «право переквалификации в иных вузах»²⁰¹, однако вопрос о судьбе выпускников цикла не был снят окончательно: приближался новый выпуск, девять студентов которого тоже добивались распределения по «узкой» специальности.

Студенты второго выпуска заканчивали обучение в еще более неблагоприятных условиях, чем первый. Концепция подготовки «узких» специалистов окончательно восторжествовала, и в декабре 1929 г. было принято решение о сокращении сроков обучения в МГУ на один год²⁰². Почти одновременно развернулась кампания по реорганизации университетов, в ходе которой в печати высказывалось мнение о необходимости замены университетов отраслевыми вузами²⁰³.

В создавшейся обстановке руководителям этнографического отделения пришлось радикально сокращать учебные планы. «Еще среди осени, на полном ходу занятий, на нашем факультете закрыли “Славянский цикл” [...], — писал в декабре 1929 г. Б. М. Ляпунову о процессе уничтожения славистики в МГУ Г. А. Ильинский, — но все-таки почти все курсы перевели на Восточнославянское отделение, и мы надеялись просуществовать, по крайней мере, до лета. Но теперь, в связи с немедленной перестройкой четырехгодичного курса на трехгодичный производится грандиозное сокращение учебного плана. Одной из первых жертв оказалась славистика: из многих курсов оставлен только польский язык [...]. Так наш “Славянский цикл” отжил, не успевши расцвести...»²⁰⁴.

28 декабря 1929 г. состоялось общее собрание студентов и преподавателей этнографического отделения, посвященное обсуждению новых учебных планов. На собрании было официально заявлено, что «цикл южных и западных славян свертывается». Число изучаемых на цикле славистических дисциплин сократилось до трех-четырёх на каждом курсе. Из славянских языков польскому, о сохранении которого в программе писал Г. А. Ильинский, «повезло» только потому, что он был необходим для подготовки специалистов по работе среди польского национального меньшинства. Предложение студента С. Б. Бернштейна о сохранении преподавания других славянских языков было отвергнуто²⁰⁵.

29 декабря появилось решение об открытии на цикле южных и западных славян музейно-краеведческой, библиотечной, антирелигиозной и педагогической специализаций, что позволило распределить выпускников преимущественно в музеи и научные библиотеки²⁰⁶. Все же на отделении еще оставалось несколько студентов-славистов, выпускников 1931 г.

19 февраля 1930 г. совещание при декане историко-философского факультета (так назывался этнологический факультет после выделения из него в ноябре 1929 г. факультета литературы и искусства), рассмотрело заявление студентов III (выпускного) курса цикла южных и западных славян М. Р. Чесноковой и Р. И. Глатман. Они предложили ликвидировать цикл, «так как имеющихся пять человек не удовлетворяла его установка». Было решено перевести третьекурсников на другие циклы²⁰⁷.

Сведения о цикле южных и западных славян в более поздних документах МГУ отсутствуют. Судя по тому, что бывшие студенты цикла Р. И. Глатман, Г. В. Резникова и С. С. Янчак в 1930/31 учебном году числились на цикле «Запад РСФСР»²⁰⁸, (так с 29 декабря 1929 г. назывался восточнославянский цикл)²⁰⁹, он к этому времени окончательно прекратил существование. Единственным выпускником 1931 г., сохранившим специализацию по бывшему циклу, оказался С. Б. Бернштейн.

С прекращением деятельности цикла южных и западных славян преподавание славистических дисциплин в МГУ было сведено к минимуму. На пенсию вышел Г. А. Ильинский. «С 1 июля я осуществил свое намерение оставить университет, — писал он М. Г. Попруженко 12 ноября 1930 г. — Ведь 6 часов славистики, оставленных в учебной программе, мало для двух штатных профессоров [...]»²¹⁰. На историко-философском факультете еще сохранилась кафедра славянских языков, работавшая в составе исторического отделения, ею заведовал А. М. Селищев. Преподаватели кафедры вели занятия по польскому и болгарскому языкам на музейно-краеведческом цикле. Студенты-археологи слушали курс славянской археологии²¹¹. Окончательно изучение славистических дисциплин в МГУ прекратилось в 1932 г. в связи с ликвидацией в университете факультетов гуманитарного профиля и организацией на его базе Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ). «Последний огонек славянских изучений» погас, по свидетельству Г. А. Ильинского, в первом квартале 1932 г. В письме М. Г. Попруженко 27 марта 1932 г. он сообщал, что «два факультативных часа по славяноведению, которые в этом году имел А. М. Селищев, отменены, и сам он вышел из состава профессоров университета»²¹².

Приказ об увольнении из МГУ А. М. Селищева предусматривал его освобождение от работы с 10 февраля 1932 г.²¹³

Цикл южных и западных славян МГУ за небольшой срок своего существования внес весомый вклад в историю отечественной славистики. Он впервые на практике осуществил подготовку специалистов по славяноведению как комплексной дисциплине, включавшей в свой состав, наряду с филологическими составляющими, историко-политические. Выпускники цикла стали впоследствии специалистами в разных отраслях славяноведения. С. Б. Бернштейн внес значительный вклад в славянское языкознание, У. А. Шустер и В. Н. Кондратьева были историками высокой квалификации, в славянском подотделе научного отдела главной библиотеки страны — «Ленинки» долго работала Е. А. Птицына (Беркова), которая оставила интересные воспоминания о «герое» одного из последующих очерков Г. Бакалове.

В заключение немного статистики. Подсчеты, сделанные по библиографическому словарю советских славистов²¹⁴, показывают, что примерно из 90 включенных в словарь ученых, подготовленных высшими учебными заведениями в 1918—1930 гг., в той или иной степени занимались проблемами славяноведения около 60 выпускников разных университетов. 20 из них — выпускники Московского университета и 15 — Ленинградского. Конечно, далеко не все эти ученые обучались на славянских циклах в ЛГУ и МГУ, но они оканчивали преимущественно те отделения и факультеты, в которые входили эти циклы, где преподавали Селищев, Пичета, Ильинский, Державин и другие славяноведы, взгляды которых сформировались до революции. Именно эти слависты, невзирая на трудности, обусловленные преимущественно негативным отношением властей к славяноведению, продолжали свою работу и смогли подготовить хотя и немногочисленных, но все же сумевших начать возрождение славяноведения ученых. Это возрождение началось лишь в самом конце 1930-х годов и выходит за рамки данного очерка.

Примечания

¹Подробнее см.: Робинсон М. А. Отделение русского языка и словесности в период формирования Академии наук (1920-е годы): взгляд изнутри // Славянский альманах, 2001. М., 2002. С. 234—262; Он же. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 — начало 1930-х годов). М., 2004. С. 313—344.

²См.: Логачев К. И. Отечественная кирилло-мефодиевская текстология в 1916—1920-е гг. // Советское славяноведение. 1977. № 4. С. 66—80.

³ Известия Отделения русского языка и словесности РАН. 1921. Т. 23. Кн. 2. С. 268—288.

⁴ См.: *Логачев К. И.* Советское славяноведение до середины 30-х годов // Советское славяноведение. 1978. № 5. С. 91—103.

⁵ *Лавров П. А.* Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930. 200 с. (Труды Славянской комиссии. Т. 1.); *Никольский Н. К.* Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры: к вопросу о древнейшем русском летописании. Л., 1930. Вып. 1. 107 с. (Сб. по русскому языку и словесности / АН СССР. Т. 2. Вып. 1); *Ляпунов Б. М.* Вацлав Вондрак и его научная деятельность // Известия Отделения русского языка и словесности РАН. 1927. Т. 32. С. 243—275; *Чернобаев В. Г.* Две славистические переработки одного английского оригинала // Язык и литература. Л., 1927. Т. 2. Вып. 2. С. 71—91.

⁶ О деятельности комиссии см.: *Ротштадт Ю.* Отчет Польской комиссии Истпарта ЦК ВКП(б), (23.I.25 по 1.III.27 г.) // Пролетарская революция. 1927. № 8/9. С. 440—446; *Горьянов А. Н.* Советская славистика 1920—1930-х годов // Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981. С. 5—21; *Митина Н. П.* Советское славяноведение 1920—1930-х годов и вклад польских политэмигрантов в его становление и развитие // Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1986. С. 124—139.

⁷ Подробнее о славяноведении в Ленинградском и Московском университетах в 1920-е годы см.: *Горьянов А. Н.* О подготовке славистических кадров в Ленинградском университете (1920-е годы) // Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984. С. 261—283; *Он же.* Славяноведение в Московском университете (1917—1927): из истории преподавания славистических дисциплин и организации цикла южных и западных славян // Советское славяноведение. 1989. № 4. С. 51—61; *Он же.* Цикл южных и западных славян МГУ (1927—1930) // 50 лет исторической славистики в Московском государственном университете. М., 1989. С. 13—33.

⁸ *Митряев А. И.* Изучение в украинской советской историографии средневековой истории зарубежных славян (1917—1967) // Славянская историография и археография: Ст. и м-лы. М., 1969. С. 5.

⁹ «[...] у нас, как Вы знаете, два факультета (историко-филологический и юридический) вовсе уничтожены, и некоторых из нас, профессоров, перевели в т. наз. “ВОПИ” [...]», — писал Е. Ф. Будде А. М. Селищеву 26 января 1923 г. (РГАЛИ. Ф. 2231. Оп. 1. Д. 75. Л. 1—2).

¹⁰ *Досталь М. Ю.* К истории создания кафедры славистики в Киевском университете св. Владимира // Славистика в университетах России: Сб. науч. работ. Тверь, 1993. С. 22.

¹¹ *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты... С. 29—30.

¹² *Досталь М. Ю.* Указ. соч. С. 22—23.

¹³ *Мирошниченко В. А. И. А. Линниченко: страницы биографии* // Проблемы славяноведения: Сб. науч. ст. и м-лов. Брянск, 2000. Вып. 1. С. 89—93.

¹⁴ *Бернштейн С. Б. А. М. Селищев — славист-балканист.* М., 1987. 112 с.

¹⁵ Там же. С. 18—20.

¹⁶ Иркутский государственный университет имени А. А. Жданова: крупнейший учебно-методический и научный центр Восточной Сибири: (Краткий ист. очерк). Иркутск, 1978. С. 156.

- ¹⁷ РГАЛИ. Ф. 2231. Оп. 1. Д. 38. Л. 1—71.
- ¹⁸ Хропика: историко-литературная работа в Сибири (1918—1925) // Атеней. Л., 1926. Кн. 3. С. 162—166; *Булахов М. Г.* Восточнославянские языковеды: Биобиблиогр. словарь. Минск, 1977. Т. 2. С. 61—64.
- ¹⁹ Отчет о состоянии и деятельности историко-филологического факультета во Владивостоке за первый академический год его существования (с 21 сентября 1918 по 1 июля 1919 года) // Учен. зап. историко-филологического факультета Дальневосточного университета. Владивосток, 1920. Т. 2. Полумом 1. С. 81—86; Сибирская советская энциклопедия. М.; Новосибирск, 1929. Т. 1. Стб. 651.
- ²⁰ *Георгиевский А. П.* Старославянский язык: тексты и палеографические таблицы старославянского языка. Владивосток, 1920. 41 с. (Учен. зап. историко-филологического факультета Дальневосточного университета. Прилож. Т. 2. Вып. 1).
- ²¹ Подробнее см.: *Горяинов А. Н.* Из истории университетской славистики в первое десятилетие советской власти // Вопросы истории славян. Воронеж, 1986. [Вып. 9]. С. 132; *Дьяков В. А.* Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М., 1993. С. 9.
- ²² Государственный Дальневосточный университет: Отчет о состоянии на 1 января 1927 г. Владивосток, 1927. С. 113.
- ²³ *Шестаков Д. П.* Старейший памятник польской поэзии. Владивосток, 1927. 26 с. (Труды государственного Дальневосточного университета. Сер. 14. № 3).
- ²⁴ Об их преподавательской деятельности см.: Славяноведение в дореволюционной России: изучение южных и западных славян. М., 1988. С. 215—216; *Михальченко С. И.* Юридический факультет Варшавского университета. 1869—1917 гг.: Краткий ист. очерк. Брянск, 2000. С. 48—49, 74.
- ²⁵ О нем см.: *Лантева Л. П.* Профессор Юрьевского университета Е. В. Петухов как славист // Славянский альманах, 2003. М., 2004. С. 121—147.
- ²⁶ Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиогр. словарь. М., 1979. С. 291.
- ²⁷ *Лантева Л. П.* Указ. соч. С. 143.
- ²⁸ Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиогр. словарь... С. 167.
- ²⁹ Воронежский историко-археологический вестник. 1921. № 1. С. 52; № 2. С. 76.
- ³⁰ Наука и научные работы в СССР. Л., 1928. Ч. 6. С. 475; Томский педагогический институт, 1931—1981. Томск, 1981. С. 4, 6, 8, 65, 66, 73, 173; Славяноведение в СССР: изучение южных и западных славян: Биобиблиогр. словарь. [New York], 1993. С. 477.
- ³¹ *Чуич Г. Т.* Русская литература на сербском языке // Труды Воронежского университета. Воронеж, 1926. Т. 3. С. 116—140.
- ³² *Погодин А. Л.* Руско-српска библиографија. Београд, 1936. Књ. 1. Део 1—2.
- ³³ Цит. по: *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты... С. 210—211.
- ³⁴ *Дербов Л. А.* Историческая наука в Саратовском университете. Саратов, 1983. С. 7, 122.
- ³⁵ Саратовский университет, 1909—1959. Саратов, 1959. С. 124.
- ³⁶ Славянски глас. София, 1926. № 1/2. С. 13.

³⁷ Там же.

³⁸ Саратовский университет... С. 124.

³⁹ Отрывки из письма Н. Н. Дурново цитируются и излагаются по: *Робинсон М. А. Судьбы академической элиты...* С. 41, 107, 211.

⁴⁰ Там же. С. 51.

⁴¹ *Руколь Б. М. В. И. Пичета — педагог и пропагандист идеи общности исторического развития славян: новые архивные м-лы // Историческая славистика в МГУ, 1989—1999: Сб. ст. и м-лов. М., 2000. С. 65.*

⁴² *Каценбоген С. З. Белорусский государственный университет за 1921/1922 акад. г. Минск, 1922. С. 4, 32.*

⁴³ Там же. С. 4, 29, 31—33; *Яжборовская И. С. Юлиан Мархлевский как историк // История и историки: Историогр. ежегодник, 1976. М., 1979. С. 256.*

⁴⁴ Благодарю за сообщение этих сведений Л. И. Уткину.

⁴⁵ ЦГА СПб. Ф. 4331. Оп. 31. Д. 153. Л. 42.

⁴⁶ *Ашнин Ф. Д., Алатов В. М. «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994. С. 21; Робинсон М. А. Судьбы академической элиты... С. 212.*

⁴⁷ Историко-филологический факультет, ФОН и Педфак АГУ: (Краткий отчет за время с 1919 по 1925 г.) // *Известия Азербайджанского университета: общественные науки. Баку, 1925. Т. 2/3. С. 68—83.*

⁴⁸ *Горяинов А. Н. Из новых материалов о ленинградских славистах // Из истории университетского славяноведения в СССР. М., 1983. С. 166.*

⁴⁹ Цит. по: *Иванова Л. В. У истоков советской исторической науки: (подготовка кадров историков-марксистов в 1917—1929 гг.). М., 1968. С. 17.*

⁵⁰ Там же.

⁵¹ Там же. С. 15, 18.

⁵² См.: *Обозрение преподавания наук на историко-филологическом факультете Петроградского университета в осеннем полугодии 1919 года. Пг., 1918. 31 с.*

⁵³ ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 26. Л. 10—15.

⁵⁴ Подробнее о нем см.: *Иванова Л. В. Указ. соч. С. 14—20.*

⁵⁵ *Бернштейн С. Б. Зигзаги памяти: Воспоминания. Дневниковые записи. М., 2002. С. 25.*

⁵⁶ Кафедры были заменены предметными комиссиями на основании Положения о высших учебных заведениях, принятого Совнаркомом РСФСР 3 июля 1922 г. В комиссии должны были входить все преподаватели, а также представители студентов. Однако вскоре кафедры были вновь восстановлены, и в 1925 г. начали упоминаться в официальных правительственных документах (подробнее см.: *Горяинов А. Н. О подготовке славистических кадров... С. 277).*

⁵⁷ ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 132. Л. 52 об.

⁵⁸ Там же. Л. 43, 47 об., 49.

⁵⁹ Там же. Л. 51 об.; *Очерки по истории Ленинградского университета. Л., 1976. Вып. 3. С. 41.*

⁶⁰Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1921. № 19. Ст. 117.

⁶¹ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 156. Л. 34-42.

⁶²Научно-исследовательский институт // Атеней. 1926. Кн. 3. С. 160—161; *Магеровский Д. А.* Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН) // Книга и революция. 1927. Кн. 7. С. 276—284.

⁶³Българо-руски научни връзки. XIX—XX век: Документи / Съст. Л. Костадинова, В. Флорова, Б. Димитрова. София, 1968. С. 108.

⁶⁴ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 156. Л. 22, 29, 34—42.

⁶⁵См.: *Горяинов А. Н.* О подготовке славистических кадров... С. 264.

⁶⁶Н. С. Державин писал о причинах этой вынужденной, по всей вероятности, отставки, Златарскому: «Лавров очень стар и еще больше устарел [...] Его пришлось освободить от преподавания [...]» (Българо-руски научни връзки... С. 108).

⁶⁷ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 156. Л. 5, 12.

⁶⁸На штурм науки: воспоминания бывших студентов факультета общественных наук Ленинградского университета. Л., 1971. С. 26—27.

⁶⁹*Молотов В. М.* Подготовка новых специалистов // Красное студенчество. 1928. № 7. С. 9.

⁷⁰Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1925. Отд. 1. № 40. Ст. 281.

⁷¹РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 239. Л. 11.

⁷²Обзор преподавания на факультете языковедения и материальной культуры (ЯМФАК) Ленинградского государственного университета на 1926/27 уч. год. [Л., 1927]. С. 55—64; Българо-руски научни връзки... С. 108.

⁷³ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 206. Л. 33. См. также: *Горяинов А. Н.* О подготовке славистических кадров... С. 279.

⁷⁴ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 206. Л. 227. См. также: *Горяинов А. Н.* О подготовке славистических кадров... С. 279—280.

⁷⁵Чтение такого курса показывает, между прочим, наличие в Ленинградском университете накануне переломных для советского языковедения 1928—1929 гг., когда «новое учение о языке» было официально признано составной частью марксистской теории, серьезной оппозиции марризму, с которой вынужден был считаться даже такой верный последователь Н. Я. Марра, как глава славяноведения в МГУ Н. С. Державин.

⁷⁶ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 204. Л. 3, 13, 232, 233.

⁷⁷Там же. Д. 206. Л. 291, 292.

⁷⁸Там же. Д. 205. Л. 37.

⁷⁹Там же. Д. 204. Л. 25—26, 29.

⁸⁰Там же. Д. 205. Л. 91, 92.

⁸¹Исключением стала книга: *Карский Е. Ф.* Славянская кирилловская палеография. Л., 1928. XIII. 494 с.

⁸² ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 204. Л. 259, 260.

⁸³ Об ИЛЯЗВ'е см.: ОР и РК РНБ. Ф. 4. Д. 11. Л. 1—10; Краткий отчет о работе Научно-исследовательского института сравнительного изучения языков и литератур Запада и Востока при Ленинградском государственном университете за 1925—1926 гг. // Язык и литература. Л., 1926. Т. 1. Вып. 1/2. С. I—XX; Яковлев Н. В. Ленинградский институт языка и литературы // Научный работник. 1927. № 4. С. 17—27.

⁸⁴ Об этом сообщении С. П. Обнорского Д. К. Зеленин писал А. И. Соболевскому: «Я был на его докладе, который произвел на меня странное впечатление[...] По-видимому, докладчик хотел угодить и “марристам” и индоевропейцам». Подробнее об этом эпизоде, характерном, по всей вероятности, как для позиции Обнорского в спорах между «марристами» и индоевропейцами, так и для контроля «марристов» над работой секции см.: Робинсон М. А. Судьбы академической элиты... С. 169.

⁸⁵ Язык и литература. Т. 1. Вып. 1/2. С. 171—192.

⁸⁶ Там же. Л., 1930. Т. 6. С. 5—47.

⁸⁷ Там же. Л., 1929. Т. 3. С. 1—58.

⁸⁸ *Verkovič S. Lidové povídky Jihomakedonské: Z rukopisi St. Verkovičových / Vyd. P. Lavrov a J. Polívka. Praha, 1932. 599 s.; Лавров П. А. Кирило та Методій в давньослов'янському письменстві. Київ, 1928. 424 с.; Он же. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности.*

⁸⁹ Чернобаев В. Г. Указ. соч.; Пушкиревич К. А. Об одной польской переделке комедии А. Грибоедова «Горе от ума» // Язык и литература. Л., 1930. Т. 5. С. 213—226.

⁹⁰ Димитров Д. Д. Из Бесарабия в Таврия: (принос към историята на българите в СССР) // Язык и литература. Т. 6. С. 69—94.

⁹¹ Лемберг Э. А. К вопросу об отражении праязыковых конечных дифтонгов *oi, ai* на славянской почве // Язык и литература. Л., 1927. Т. 2. Вып. 1. С. 145—197.

⁹² Язык и литература. Л., 1931. Т. 7. С. 1—29.

⁹³ Бернштейн С. Б. Зигзаги памяти... С. 153.

⁹⁴ ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 204. Л. 9—10.

⁹⁵ Там же. Д. 206. Л. 154, 256.

⁹⁶ Текст отчета см.: Горяинов А. Н. О подготовке славистических кадров... С. 281.

⁹⁷ ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 204. Л. 154.

⁹⁸ Там же. Л. 329.

⁹⁹ Там же. Л. 320—322.

¹⁰⁰ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 15. Л. 43—44.

¹⁰¹ Там же. Д. 8. Л. 55.

¹⁰² Там же. Д. 15. Л. 2, 7; Д. 18. Л. 97.

¹⁰³ О выдающемся вкладе Р. Ф. Брандта и В. Н. Щепкина в развитие славяноведения в Московском университете см.: Лантева Л. П. Славяноведение в Московском университете в XIX — начале XX века. М., 1997. С. 161—176.

- ¹⁰⁴ См.: *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты... С. 97.
- ¹⁰⁵ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 18. Л. 97, 103 об. (паг. 2-я).
- ¹⁰⁶ Летопись Московского университета, 1755—1979. М., 1979. С. 187; Московскому университету — 225 лет. М., 1979. С. 69.
- ¹⁰⁷ *Риттер Г.* Этнолого-лингвистическое отделение // Вестник ФОН'а. 1922. № 1. С. 43—44.
- ¹⁰⁸ РГАЛИ. Ф. 2231. Оп. 1. Д. 125. Л. 1.
- ¹⁰⁹ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 19. Л. 23.
- ¹¹⁰ Там же. Д. 24 а. Л. 6.
- ¹¹¹ См.: Экзаменационный минимум для перехода с курса на курс ФОН'а 1-го МГУ // Вестник ФОН'а. 1922. № 1. С. 43—44.
- ¹¹² *Бернштейн С. Б.* Зигзаги памяти... С. 55—56.
- ¹¹³ Там же. С. 72.
- ¹¹⁴ РГАЛИ. Ф. 2231. Оп. 1. Д. 125. Л. 1.
- ¹¹⁵ См.: *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты... С. 42.
- ¹¹⁶ РГАЛИ. Ф. 2231. Оп. 1. Д. 125. Л. 2.
- ¹¹⁷ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 24 а. Л. 25 об.—26.
- ¹¹⁸ РГАЛИ. Ф. 2231. Оп. 1. Д. 87. Л. 1.
- ¹¹⁹ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 24. Л. 10, 17.
- ¹²⁰ Там же. Д. 26. Л. 18 об.
- ¹²¹ См.: *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты... С. 43.
- ¹²² Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 27. Л. 4—7.
- ¹²³ Там же. Л. 8.
- ¹²⁴ Там же. Д. 28. Л. 13, 13 об., 24, 25.
- ¹²⁵ Там же. Д. 37. Л. 2.
- ¹²⁶ *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты... С. 45.
- ¹²⁷ Там же. С. 45, 158, 211.
- ¹²⁸ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 26. Л. 20, 26; Д. 31. Л. 3.
- ¹²⁹ Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. М., 1925. № 28. Ст. 353.
- ¹³⁰ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 95. Л. 12—20; Оп. 1-л. Д. 238. Л. 6.
- ¹³¹ Там же. Д. 43. Л. 4—6; Д. 55. Л. 25, 26, 28—30.
- ¹³² РГАЛИ. Ф. 483. Оп. 1. Д. 480. Л. 13—16.
- ¹³³ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 100. Л. 21—28.
- ¹³⁴ РГАЛИ. Ф. 483. Оп. 1. Д. 130. Л. 20.
- ¹³⁵ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 56. Л. 158; Д. 57. Л. 4, 41.

- ¹³⁶ Там же. Д. 40. Л. 9; Д. 56. Л. 158—159 об.; Д. 57. Л. 4.
- ¹³⁷ Там же. Д. 56. Л. 158.
- ¹³⁸ РГАЛИ. Ф. 483. Оп. 1. Д. 418. Л. 41.
- ¹³⁹ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 56. Л. 156 об.
- ¹⁴⁰ РГАЛИ. Ф. 2231. Оп. 1. Д. 39. Л. 28.
- ¹⁴¹ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 56. Л. 159, 159 об.
- ¹⁴² Там же. Д. 56. Л. 163, 164; Д. 57. Л. 4.
- ¹⁴³ Там же. Д. 56. Л. 192 об.; Д. 57. Л. 4.
- ¹⁴⁴ Там же. Оп. 1-л. Д. 104. Л. 9—10.
- ¹⁴⁵ *Бернштейн С. Б.* Зигзаги памяти... С. 137—138.
- ¹⁴⁶ *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты... С. 212.
- ¹⁴⁷ Там же. С. 211.
- ¹⁴⁸ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 58. Л. 7.
- ¹⁴⁹ РГАЛИ. Ф. 483. Оп. 1. Д. 423. Л. 5.
- ¹⁵⁰ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 58. Л. 7.
- ¹⁵¹ См.: *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты... С. 211.
- ¹⁵² Там же.
- ¹⁵³ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 57. Л. 98, 99.
- ¹⁵⁴ Там же. Оп. 1-л. Д. 104. Л. 9, 10.
- ¹⁵⁵ Там же. Оп. 1. Д. 57. Л. 113.
- ¹⁵⁶ *Българо-руски научни връзки...* С. 134.
- ¹⁵⁷ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1-л. Д. 104. Л. 10.
- ¹⁵⁸ *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты... С. 57.
- ¹⁵⁹ Воспоминания В. Н. Кондратьевой в форме записи ее телефонного разговора с доцентом МГУ А. Е. Москаленко (март 1975 г.) хранятся в архиве автора.
- ¹⁶⁰ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 44. Л. 9—113; Д. 48. Л. 85—86; Д. 81. Л. 37—40; Д. 86. Л. 7—13; Оп. 1-л. Д. 182. Л. 2.
- ¹⁶¹ Там же. Оп. 1-л. Д. 104. Л. 10.
- ¹⁶² Там же. Оп. 1. Д. 57. Л. 83; Д. 100. Л. 1—5, 21—22; Д. 96. Л. 1.
- ¹⁶³ *Македаров.* Наша академическая успеваемость: некоторые итоги за 1926/1927 учебный год // Первый университет. 1928. 23. II.
- ¹⁶⁴ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 95. Л. 105.
- ¹⁶⁵ *Пятышина А. И.* Дефицитная лавочка: кого же наконец из нас готовят? // Первый университет. 1929. 14. V.
- ¹⁶⁶ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 96. Л. 32—33, 35—38, 71; Д. 48. Л. 2.
- ¹⁶⁷ Там же. Д. 96. Л. 18—19.

- ¹⁶⁸ Там же. Д. 90. Л. 13; Д. 96. Л. 35—38.
- ¹⁶⁹ О судьбе библиотеки см.: *Горяинов А. Н., Кишкин Л. С.* Книжное собрание М. П. и Н. М. Петровских // Советское славяноведение. 1986. № 5. С. 80—86.
- ¹⁷⁰ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 90. Л. 25—27; Д. 98. Л. 4, 11.
- ¹⁷¹ Первый университет. 1927. 7.XI.
- ¹⁷² Там же. 1928. 10.III.
- ¹⁷³ *Бернштейн С. Б.* Зигзаги памяти... С. 83.
- ¹⁷⁴ РГАЛИ. Ф. 483. Оп. 1. Д. 426. Л. 71.
- ¹⁷⁵ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 59. Л. 8.
- ¹⁷⁶ Там же. Д. 79. Л. 203—207.
- ¹⁷⁷ *Бернштейн С. Б.* Зигзаги памяти... С. 63.
- ¹⁷⁸ РГАЛИ. Ф. 483. Оп. 1. Д. 418. Л. 4—5, 7—8.
- ¹⁷⁹ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 44. Л. 68, 83.
- ¹⁸⁰ Там же. Л. 92.
- ¹⁸¹ Там же. Л. 88—91.
- ¹⁸² Там же. Д. 14. Л. 109—113; Д. 59. Л. 11.
- ¹⁸³ Там же. Д. 48. Л. 12; Д. 60. Л. 66; Д. 61. Л. 65.
- ¹⁸⁴ Красное студенчество. 1928. № 7. С. 11.
- ¹⁸⁵ Там же. 1929. № 11. С. 14.
- ¹⁸⁶ Там же.
- ¹⁸⁷ *Зусманович Я.* Рационализация фабрики // Красное студенчество. 1928/1929. № 12. С. 12.
- ¹⁸⁸ *Пятышина А. И.* Указ. соч.
- ¹⁸⁹ О П. Ф. Преображенском, его докладе на конференции и возражениях против доклада одного из наиболее активных «мифотворцев» из окружения Н. Я. Марра В. Б. Аптекаря, а также о неприятии Преображенским резолюции конференции см.: *Иванова Ю. В.* Петр Федорович Преображенский: жизненный путь и научное наследие // Репрессированные этнографы. М., 2002. [Вып. 1]. С. 235—264.
- ¹⁹⁰ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 48. Л. 74—75.
- ¹⁹¹ Там же. Д. 61. Л. 71, 79 об., 85.
- ¹⁹² *Бернштейн С. Б.* Зигзаги памяти... С. 67.
- ¹⁹³ *Андреева М. В.* Правая профессура в блоке с чуждыми // Первый университет. 1929. 24.XII.
- ¹⁹⁴ *Бернштейн С. Б.* Зигзаги памяти... С. 67.
- ¹⁹⁵ *Куроптев Т.* Мы готовим культурных работников — марксистов // Первый университет. 1929. 21. VII.
- ¹⁹⁶ *Бернштейн С. Б.* Зигзаги памяти... С. 67.

¹⁹⁷ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 44. Л. 132.

¹⁹⁸ Там же. Д. 49. Л. 39 об.; Д. 63. Л. 14; Д. 98. Л. 9.

¹⁹⁹ Там же. Д. 82. Л. 34.

²⁰⁰ Там же. Д. 63. Л. 40.

²⁰¹ Там же. Д. 98. Л. 9.

²⁰² Там же. Д. 49. Л. 58.

²⁰³ См., например, полосу в газете «Первый университет» за 5 января 1930 г. под «шапкой»: «Университет как форма организации высшей школы отжил свое время. Из механического соединения различных факультетов и отделений создадим несколько самостоятельных институтов».

²⁰⁴ Робинсон М. А. Судьбы академической элиты... С. 56.

²⁰⁵ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1. Д. 82. Л. 36—43.

²⁰⁶ Там же. Д. 63. Л. 52; Д. 79. Л. 45—46.

²⁰⁷ Там же. Д. 63. Л. 7.

²⁰⁸ Там же. Д. 48. Л. 93; Д. 60. Л. 52-53; Д. 63. Л. 62—63; Д. 154. Л. 25.

²⁰⁹ Там же. Д. 63. Л. 42 об.

²¹⁰ Българо-руски научни връзки... С. 163.

²¹¹ Арх. МГУ. Ф. 1. Оп. 10. Д. 1. Л. 8; Д. 18. Л. 203, 205.

²¹² Българо-руски научни връзки... С. 169—170.

²¹³ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1-л. Д. 236. Л. 12.

²¹⁴ Славяноведение в СССР: изучение южных и западных славян: Библиограф. словарь. [New York, 1993]. 528 с.

Д. Н. Егоров: научная деятельность и судьба медиевиста-слависта

Дмитрий Николаевич Егоров — яркий представитель отечественной славистики и медиевистики конца XIX — начала XX в., человек огромной эрудиции и, по отзыву одного из современников, «неукротимой энергии», но с «тяжеловесным, иногда невыносимым характером»¹. Он был блестящим лектором, вдумчивым библиографом, издателем средневековых источников, в 1920-е годы проявил себя как талантливый организатор библиотечного дела. Научную известность принесли Егорову в основном его исследования в области славяно-германских отношений, прежде всего его основной труд «Славяно-германские отношения в средние века: Колонизация Мекленбурга в XIII в.»²

Будущий историк родился в Ельце Орловской губернии 14 (26) октября 1878 г. в учительской семье. В 1896 г., после окончания Петропавловского училища при лютеранской церкви Петра и Павла в Москве, Егоров поступил на историко-филологический факультет Московского университета, где наставником студента стал выдающийся русский медиевист П. Г. Виноградов. Под руководством Виноградова Дмитрий Николаевич работал в кружке его ближайших учеников. Он общался в кружке с М. О. Гершензоном, М. С. Корелиным, П. Н. Милюковым, А. Н. Савиным, М. М. Хвостовым и другими выдающимися в будущем учеными. Разделяя либеральные воззрения профессора и членов кружка, Егоров принял участие в студенческом движении и в 1899 г. был исключен из университета, хотя вскоре его восстановили благодаря заступничеству профессора³.

Взгляды П. Г. Виноградова и его подходы к изучению средневековья оказали заметное влияние на научное творчество Д. Н. Егорова. Уже в университетские годы Дмитрий Николаевич заинтересовался историей славяно-германских отношений в средние века. В семинаре П. Г. Виноградова Егоровым была написана работа «Немецкая колонизация Бранденбурга»⁴, где он объяснял прерывистость колонизации земель полабских славян приходом на эту территорию колонистов из Германии, преимущественно в голодные годы⁵.

Первым увидело свет исследование молодого ученого «Этюды о Карле Великом»⁶. Уже в этой ранней работе Д. Н. Егорова, где автор тщательно анализирует особенности нарративных источников каролингской эпохи, выявилась определяющая черта всего его научного творчества — пристальное внимание к историческим источникам. Позднее, в одном из лекционных курсов, ученый сформулировал этот принцип своего творчества следующим образом: «Рассмотрение источников (особенно повествовательных) равняется изучению истории средних веков»⁷.

Наряду с интересом к источниковедческим проблемам (причем зачастую связанным с поиском нетрадиционных путей анализа памятников), для творчества Егорова характерна критическая, подчас резко негативная оценка всей предшествующей традиции изучения славяно-германских отношений, которая, по его мнению, должна быть пересмотрена. «Странная судьба, — писал он, — постигла разработку истории прибалтийского славянства; судьба особая: она застыла, не приобщилась к тому громадному пересмотру, который совершился в исторической науке [...] под влиянием новых материалов и новых методов»⁸.

Действительно, в изучении истории полабских славян к рубежу XIX — XX вв. сложилась своеобразная ситуация. История славянских племен, населявших междуречье Эльбы и Одера и почти полностью ассимилированных в процессе немецкой колонизации и так называемого «натиска на восток», традиционно привлекала внимание русских историков-славистов, испытывавших влияние идей славянофильства. Судьба этой ветви славянства хорошо подходила для обоснования романтических взглядов на славян и немцев как субъектов вековой борьбы славянского и германского духа, могла служить неплохим подтверждением концепций об исконной прогивоположности славянского и западного миров. Вместе с тем отечественные историки часто без должного внимания относились к фактам и свидетельствам, показывавшим, что ассимиляция далеко не всегда была насильственной и осуществлялась, по меркам истории, довольно медленно, что славяно-германские отношения совсем не сводились только к взаимному антагонизму и т. д. Тенденции освещения истории полабских славян, характерные для 40—60-х годов XIX в., продолжали сохраняться даже в работах начала XX в. Новые подходы к методологии и методике исследования, связанные с утверждением позитивизма и получившие широкое распространение в русской медиевистике, мало затронули эту область исторической славистики.

Д. Н. Егоров занялся пересмотром устаревших подходов к изучению истории полабских славян. Однако, стремясь преодолеть наследие романтизма в изучении славяно-германских отношений, он часто был не менее эмоционален, чем критикуемые им предшественники. Как полагал Дмитрий Николаевич, большая часть недостатков литературы по истории полабских славян объяснялась узостью источниковой базы и «канон источника» — упрощенным, чрезмерно «доверчивым» отношением исследователей к тем памятникам, прежде всего нарративным, которые были уже прочно вовлечены в научный оборот. Ученый неизменно подчеркивал в научных трудах и лекционных курсах, что современные авторы не должны слепо воспроизводить сведения средневековых памятников, что письменные источники эпохи средневековья требуют особого подхода, применения специфических приемов источниковедческого анализа. Одним из наиболее важных приемов Егоров считал изучение «литературного контекста» памятника, под которым он понимал не столько собственно филологические разыскания, сколько изучение того, что современные историки назвали бы менталитетом средневекового хрониста. Здесь, в первую очередь, Д. Н. Егоров считал необходимым учитывать характер образования будущих авторов исторических сочинений, неизбежно отражавшийся на их манере изложения, принципах отбора фактов и т. д. Поэтому Егоров часто писал о системе обучения в средние века, стержнем которой являлось механическое заучивание различных, главным образом библейских текстов. Он полагал, что когда средневековый автор сталкивался с необходимостью описать некие реальные события, память его, перегруженная некогда заученными и не всегда правильно понятыми выдержками из Писания, кстати и некстати подсказывала ему цитаты из Вульгаты. Иногда подобное цитирование определяло лишь литературные, стилистические особенности создаваемого текста (это явление Егоров называл «библиизмом»). Гораздо труднее, с его точки зрения, приходится историку тогда, когда он сталкивается с «библиократизмом», т. е. ситуацией, при которой библейская цитата приобретает самостоятельное значение в контексте сообщения хрониста и начинает влиять на содержание, искажая реальные факты.

Степень зависимости хрониста от воздействия школьной премудрости определялась, по мнению Д. Н. Егорова, не только его литературным мастерством, но, в конечном счете, и той целью, которую он перед собой ставил. Тенденциозность, как полагал исследователь, была в той или иной мере присуща всем средневековым авторам, поэтому он считал нужным

там, где возможно, корректировать, дополнять или заменять сведения средневековых исторических сочинений данными источников других жанров, прежде всего документов.

Отношение Егорова к предшествующей историографии и его подход к работе с источниками определяют особенности исследований историка о славяно-германских отношениях. Сложные по композиции и стилистике, отличающиеся обилием затрагиваемых сюжетов, все эти работы (если не считать переиздания в Германии «Славяно-германских отношений...») вышли в свет до 1917 г. — в период, когда жизнь Д. Н. Егорова была наполнена многими важными событиями⁹.

В 1901 г., после окончания университета, Егоров был оставлен для подготовки к профессорскому званию. В 1906 г. он стал приват-доцентом, но уже в 1911 г. покинул университет в знак протеста против политики министра народного просвещения Л. А. Кассо. Затем Егоров преподавал на Высших женских курсах и читал лекции в Коммерческом институте, совмещая напряженную педагогическую работу не только с исследовательской деятельностью, но и с активным рецензированием научных трудов.

Следует отметить рецензию ученого на книгу Л. П. Карсавина «Основы средневековой религиозности в XII—XIII вв. преимущественно в Италии» (1915), опубликованную журналом «Исторические известия»¹⁰ (в этом журнале Егорову, по его словам, «принадлежит редакторство, секретарство, даже корректорство»¹¹). Проанализировав книгу, Егоров пришел к выводу о произвольном толковании Карсавиным исторических источников, что вызвало резкие возражения автора книги и отклики ряда крупных историков, например Н. И. Кареева¹².

Значительный материал для исследований был собран Д. Н. Егоровым во время двух научных командировок в Германию (1905 г. и 1908—1909 гг.). Егоров сумел установить прочные контакты с немецкими учеными: он участвовал в съездах германских историков, выступал с лекциями, крупнейший медиевист либерального направления Карл Лампрехт пригласил его периодически приезжать в Германию для преподавания в Лейпцигском университете (этот план не был осуществлен ввиду неблагонадежности Егорова в глазах российских властей)¹³.

На основе собранных в Германии материалов написана статья Д. Н. Егорова «Крестовое воззвание против славян 1108 г.» в сборнике в честь М. К. Любавского. Источник, получивший в литературе XIX в. это название, рассматривался учеными прошлого как подлинный документ, свидетельствующий о зверствах славян-язычников на славяно-германском

пограничье и послуживший определенным идеологическим обоснованием крестового похода 1147 г. в Северное Полабье. Проведя всесторонний палеографический и содержательный анализ конволюта, в котором находится единственный имевшийся в распоряжении ученых список «Воззвания», и самого списка, сопоставив список с библейскими текстами и другими средневековыми сочинениями, Егоров принимает датировку рукописи своих предшественников, но, в отличие от них, отрицает значение воззвания как политического документа. Он приходит к выводу, что «Крестовое воззвание» было всего лишь пробой пера, ученическим опусом на заданную тему, автор которого отнюдь не преследовал цели описать реальную ситуацию на славяно-германском пограничье и привлечь внимание германских феодалов к происходящим событиям. «Ныне “Воззвание” нужно опять вернуть в прежнюю сонную тишь для вполне заслуженного покоя», — заключает свои рассуждения исследователь¹⁴.

В Германии Д. Н. Егоров начал серьезно разрабатывать тему об истории славянского населения Северного Полабья периода немецкой колонизации. В 1909 г. он опубликовал статью «Новый источник по истории прибалтийского славянства». Ее основные положения были впоследствии развиты в упомянутом уже выше двухтомном исследовании «Славяно-германские отношения в средние века...», которое Егоров, перегруженный преподавательской работой, смог издать лишь в 1915 г. Первый том — «Материал и метод» — стал его магистерской диссертацией, второй — «Процесс колонизации» — докторской.

Главным, что пытался сделать в указанных работах Д. Н. Егоров, было установление связи между немецкой колонизацией Мекленбурга и исчезновением там прежнего славянского населения. Большая часть исследователей, писавших на эту тему до Егорова, исходя из свидетельств «Хроники славян» Гельмольда, полагала, что славяне были ассимилированы (главным образом, насильственно) уже в течение XIII столетия, в процессе массовой немецкой колонизации. Стремясь опровергнуть тезис Гельмольда и выводы основанной на нем литературы, Егоров обратился к разбору «Хроники» с точки зрения достоверности ее известий. В результате сопоставления текстов Гельмольда и одного из его источников — «Деяний гамбургских епископов» Адама Бременского, ученый пришел к выводу, что с точки зрения точности и информативности языка вариант Гельмольда уступает первоисточнику. Проверив далее утверждение Гельмольда, что он знакомился с грамотами, относящимися к сюжетам своего повествования, Егоров изучил сохранившиеся грамоты, но не на-

шел в них соответствующих фрагментов и убедился, что этим источником Гельмольд либо пользовался небрежно, либо не пользовался вовсе. Наконец, частые ссылки хрониста на «рассказы надежных людей» исследователь отменил как литературный прием. Пренебрежение Гельмольда к фактам, обилие в его сочинении вымыслов свидетельствуют, как полагал Д. Н. Егоров, что истинной целью хрониста было не точное изображение действительных событий, а стремление показать торжество христианской церкви на землях славян-язычников. Обратившись к анализу литературных особенностей «Хроники славян», ученый выяснил, что Гельмольд был подвержен «библиократизму» даже в большей степени, нежели это было характерно для большинства других средневековых авторов.

Все приведенные выше наблюдения позволили Егорову сделать заключение, что Гельмольд являлся всего лишь удачливым памфлетистом, и для изучения процесса колонизации славянских земель его хроника непригодна. Несмотря на то что наблюдения историка во многом справедливы, а предложенная им методика определения репрезентативности средневекового нарративного памятника, безусловно, заслуживает внимания, его вывод о невозможности считать «Хронику славян» полноценным историческим источником представляется слишком категоричным.

Источником, который мог бы заменить недостоверное, с точки зрения Егорова, сочинение Гельмольда, ученый считал так называемый «Десятичный список Ратцебургской епархии», составленный около 1250 г. в Мекленбурге. Он досконально изучил рукопись этого памятника, хранящуюся в городе Новый Стрелитц, и не вполне безупречные его публикации. Памятник считался в XIX в. описью десятин, получаемых Ратцебургским епископом, однако, как показал Егоров, в действительности он представлял собой краткое описание владений, отданных в бенефиций, т. е. таких земель, десятина с которых, напротив, епископу не поступала. «Десятичный список» — это чисто хозяйственный документ, составленный по единой форме и содержащий, в первую очередь, сведения об имущественном положении держателей, а также о структуре землевладения на достаточно компактной территории владений епископства. Чтобы изучать по такому источнику интересовавшие ученого проблемы этнической принадлежности перечисленных в нем жителей Мекленбурга, Егорову пришлось прибегнуть к так называемому «комбинированному методу». Ученый попытался собрать и максимально использовать все сведения письменных источников, а также дипломатики, геральдики, ономастики и других вспомогательных исторических дисциплин о каж-

дом упомянутом в «Десятинном списке» держателе или о его роде, проследить родственные связи между держателями, маршруты их миграции (если речь идет о колонистах-переселенцах), их этническое происхождение. Второй том «Славяно-германских отношений...» целиком посвящен решению этой задачи.

Егоров тщательно анализирует каждую запись «Десятинного списка», сопоставляя его известия с теми сведениями, которые он сумел почерпнуть из других источников. Проделав эту весьма кропотливую работу, исследователь пришел к неожиданным выводам. Он счел, что применительно к Мекленбургу XIII в. практически нельзя говорить о сколько-нибудь масштабной германской колонизации. Колонизационные процессы действительно имели место, но, по мнению Егорова, речь идет, в первую очередь, о колонизации внутренней — освоении пустующих земель силами, главным образом, местного славянского населения и славянской же знати. Отвергнув господствовавшее в науке мнение о полном исчезновении славянского населения в течение первого столетия колонизации, Егоров пришел к не менее спорному, чем у его оппонентов, утверждению о «славянском» характере колонизации XIII в. Исчезновение славянского населения он отнес к XVII в., связав его с трагическими для Северной Германии событиями Тридцатилетней войны.

Книга Д. Н. Егорова вызвала много откликов в России, а также во Франции (в Германии ввиду Первой мировой войны «Славяно-германские отношения...» стали известны позднее). Рецензенты оценивали труд в целом положительно, хотя некоторые выводы вызывали у них сомнения. В этом смысле показательна рецензия А. Н. Савина¹⁵, который отметил, во-первых, что автор несколько преувеличил возможности «Десятинного списка» как источника по истории колонизации, поскольку в поле зрения его составителей находилось рыцарство, а не масса крестьян-колонистов. Во-вторых, Савин высказал сомнение относительно главного вывода Егорова, полагая, что волны немецкой средневековой колонизации вряд ли могли обходить стороной Мекленбург.

Работа Д. Н. Егорова стала заметным событием как в отечественной, так и в европейской медиевистике начала XX в. Она появилась в тот момент, когда в повестку дня встали вопросы об отказе от характерных для романтической историографии трактовок славяно-германских отношений в средние века и о поиске новых путей изучения этих важнейших сюжетов. Решительно противопоставляя свое исследование всей предшествующей и современной ему литературе, Егоров достиг двух противополож-

ных результатов: с одной стороны — высказал ряд явно преувеличенных и неприемлемых оценок, с другой, разрабатывая оригинальную методику критики нарративного источника, обосновывая свой «комбинированный метод», внес заметный вклад в развитие теоретических проблем источниковедения.

Особое место в творчестве Д. Н. Егорова принадлежит публикациям источников. Некоторые подготовленные им издания, например, перевод «Салической правды»¹⁶, до самого последнего времени использовались в университетском преподавании. Среди публикаций, увидевших свет до 1917 г., наибольший интерес представляет хрестоматия «Средневековье в его памятниках» (М., 1913).

В предназначенной для высшей и средней школы хрестоматии Егоров (ее составитель, редактор и переводчик большей части эксцерптов) решил, не показывая особенностей развития различных регионов Европы в разные периоды средневековья, сосредоточиться на «освещении хотя бы некоторых сторон средневековой культуры»¹⁷. Культуру средневековья ученый трактовал очень широко: в хрестоматию были включены материалы о догосударственном быте, раннем государстве, натуральном хозяйстве, монастырской и церковной жизни, торговле и индустрии, просвещении и т. д. Видимо, Егоров стремился создать у читателя целостное представление о мире средневекового человека, о разных сферах развития общества в ту эпоху.

Наконец, характеризуя научное творчество Д. Н. Егорова, нельзя обойти вниманием его лекции. Известны семнадцать литографированных курсов Егорова, опубликованных в 1908—1918 гг. Знакомство с ними не только раскрывает незаурядные педагогические способности ученого, но и позволяет выявить его взгляды на исторический процесс, задачи историка, методику исследовательской работы. Значительное влияние на Егорова оказали труды К. Лампрехта, вслед за которым русский ученый рассматривает историю как эволюционный процесс, наиболее важной составляющей которого является прогресс культуры. Егоров считает главными пружинами исторического развития взаимодействие народов и их обмен культурными ценностями, видит его суть во взаимодействии между эпохами. «Соединенность человечества, а не разъединенность — вот исконный факт», — заявляет ученый¹⁸. Он считает, что «история охватывает все жизненные проявления всех народов»¹⁹. Развитие же истории, рассматриваемой как нечто единое, существующее вне территориальных и хронологических рамок, осуществляется путем эволюции, при которой «явле-

ния одной эпохи должны мало-помалу переходить в явления другой эпохи; факты у одной расы должны переноситься с сравнительной легкостью [...] на факты другой расы»²⁰. Рассматривая историю во всемирном масштабе, Д. Н. Егоров стремится поставить своих слушателей в «историческую перспективу»²¹, а его эволюционизм неразрывно связан с прогрессом, который ученый понимает не как простое движение вперед, а как «наслоение [...] состояний одно на другое», при котором «старое постоянно живет в новом, иногда в буквальном смысле слова»²². В основе такой концепции лежит обостренное чувство историзма: по мнению Егорова, «старина необычайно живуча и цепка и всегда существует наряду с новыми явлениями», она в этом смысле «двуликий Янус, и нам нужно учесть в нем и новое, и старое»²³.

Для Егорова характерна некоторая переоценка культурных факторов, он недооценивает роль национальных различий и революционных взрывов. Однако в целом ученый придерживается прогрессивных взглядов: не делит народы на «исторические» и «неисторические», признает роль народных масс в истории, пишет о наличии в человеческих обществах не только борьбы за существование, но и коллективной солидарности. В курсах по историографии и источниковедению средних веков Дмитрий Николаевич со свойственным ему красноречием и эмоциональностью сумел дать яркие, хотя зачастую и субъективные характеристики многим средневековым авторам и ученым-медиевистам XVIII—XIX вв., в курсе «Империализм культурный, экономический и политический» им были изложены основы оригинальной теории империализма.

События 1917 г. в России самым непосредственным образом сказались на научной деятельности Д. Н. Егорова. Февральская революция вновь открыла для него возможность преподавания в Московском университете. После Октября он развернул активную научно-организационную деятельность по созданию высших учебных заведений в провинции. Зимой 1920 г., читая лекции в только что открывшемся в Екатеринбурге Уральском университете, Егоров занимал различные посты в органах университетского управления: был членом и председателем Учебного бюро, членом Организационного комитета университета. В те же годы Дмитрий Николаевич уделял значительное внимание разработке теории и обобщению практики архивного дела. В мае 1918 г. он принимал участие в совещании, созванном для выработки проекта постановления Совнаркома РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела»²⁴, в начале 1920-х годов был членом коллегии одного из отделов Главного архивного

управления; в лекциях и печатных изданиях знакомил советских архивистов с опытом организации архивного дела за рубежом²⁵. Как знаток архивных документов, Егоров работал в группе экспертов советской делегации на переговорах по заключению Рижского мирного договора 1921 г. между РСФСР и Польшей²⁶.

Приобщению широких масс трудящихся к достижениям мировой культуры способствовали написанные Д. Н. Егоровым популярные брошюры «Что такое история культуры?»²⁷ и «Генрих Шлиман»²⁸.

Первая из этих работ посвящена теме, которую Д. Н. Егоров разрабатывал еще в лекционных курсах начала XX в. и которой он посвятил не дошедший до нас очерк «История культуры» (в 1920—1922 гг. книга была подготовлена к печати, но ее сначала приостановили набором, а затем, видимо, уже готовый набор был рассыпан). Брошюра показывает, что Егоров к концу Гражданской войны мало изменил свои прежние воззрения на историю.

Книжка о Генрихе Шлимане стала первым в России очерком, затрагивающим все важнейшие стороны жизни и деятельности знаменитого немецкого археолога. Она оказалась настолько удачной, что спустя 75 лет после выхода в свет, в 1998 г., была переведена в Германии, составив вместе со статьей А. Йене о Егорове отдельный номер журнала «Das Althertum»²⁹. Заслуживает быть отмеченной также работа ученого в первых советских энциклопедиях. Но особенно значительного времени и сил требовала от Егорова работа в Румянцевском музее (с 1924 г. — Библиотека имени В. И. Ленина), куда ученый пришел в 1919 г. и где с 1921 г. был заместителем директора³⁰.

Д. Н. Егоров решил связать свою судьбу с крупнейшей в Москве библиотекой вместе со многими другими профессорами Московского университета, привлеченными к работе в соответствии с решением правительства о расширении ее штатов для коренного улучшения деятельности. Вероятно, не последнюю роль в этом шаге сыграли материальные соображения — после прихода в библиотеку ученый, обремененный большой семьей, вынужден был, например, продать туда свою личную коллекцию из 400 книг, более трети которой составляли «редкие и редчайшие (по заграничной классификации) издания»³¹. Вместе с тем Егоров, несомненно, считал для себя работу в библиотеке интересной и перспективной. В заявлении с просьбой о зачислении в библиотеку Румянцевского музея на должность заведующего отделом всеобщей истории он подчеркивал свою приверженность к библиофильству и библиографии, а также отмечал, что

придает «образованию данного отдела огромное принципиальное значение как для библиотеки, так и для данной отрасли знаний» и считает несомненными «преимущества соединения ученых специалистов с библиотечным делом»³².

Егоров был зачислен в Румянцевский музей 13 мая 1919 г. Музей и его библиотека в это время кардинально перестраивались. Вскоре после прихода Егорова в недрах Музея возник проект о передаче в другие учреждения собственно музейных коллекций и создании в Москве на базе музейной библиотеки Всероссийской публичной библиотеки (соответствующее постановление было принято Наркомпросом в 1921 г., а вывод из новой библиотеки музейных коллекций завершился в 1927 г.). Важнейшей задачей создаваемых в библиотеке Музея научных отделов стало составление отсутствовавшего ранее систематического каталога. В их функции входили также комплектование отечественной и иностранной литературой за прошедшие годы, каталогизация новых поступлений, выдача библиографических справок³³.

Однако в первые годы существования всем библиотечным отделам пришлось сосредоточить основное внимание не на текущей работе, а на выполнении чрезвычайных заданий по введению в фонды национализированных в массовом порядке частных книжных собраний. Егорову вместе с другими сотрудниками отдела всеобщей истории приходилось паковать книги, участвовать в их перемещении, сопровождать подводы во время переезда³⁴.

Несмотря на трудные условия, отдел Д. Н. Егорова справлялся с работой успешно. Вскоре стало ясно, что в лице нового сотрудника Румянцевский музей приобрел не только творчески мыслящего работника, но и хорошего организатора. Диапазон деятельности Егорова значительно расширился: в 1920—1921 гг. он участвовал в определении научной ценности ряда национализированных частных книжных собраний, был членом библиотечной закупочной комиссии, вел переговоры с различными организациями по вопросам комплектования, состоял секретарем профсоюзного органа Музея — Комитета служащих.

В феврале 1921 г. Д. Н. Егоров был назначен одним из трех членов Главной администрации Румянцевского музея³⁵, и вскоре стал заместителем директора, сохранив заведование отделом всеобщей истории. Он отвечал за такой сложнейший в условиях 1920-х годов участок, как хозяйство Румянцевского музея, занимался вопросами строительства и оборудования новых книгохранилищ, различными научно-организационными вопро-

сами, представлял Музей на нескольких съездах и конференциях. Егоров решительно поддерживал усилия директора, известного писателя А. К. Виноградова, добивавшегося скорейшего завершения реорганизации Румянцевского музея в библиотеку.

В апреле 1924 г. после переименования Румянцевского музея в Библиотеку имени В. И. Ленина и утверждения новых штатов Д. Н. Егоров по материальным соображениям попросил освободить его от должности заместителя директора и сосредоточился на работе в отделе всеобщей истории. Однако уже в конце сентября в связи с болезнью А. К. Виноградова и его отставкой с поста директора, Наркомпрос возложил на Егорова временное руководство библиотекой³⁶.

В феврале 1925 г. директором Библиотеки имени В. И. Ленина стал крупный партийный и советский работник, историк партии В. И. Невский³⁷. Д. Н. Егоров был утвержден заместителем директора и членом Правления. Вскоре Невский смог в полной мере оценить эрудицию, организаторские способности и почувствовать поддержку своего заместителя. В конце 1925 г. он поручил Егорову составить проект пятилетнего плана работы библиотеки, а затем и смету расходов на 1926/27 финансовый год. Непонятное многим интеллектуалам, совершенно непривычное и зачастую встречавшее резко негативное отношение планирование Д. Н. Егоров осуществил успешно, чем очень «порадовал» Невского³⁸. Егоров оказался также единственным членом Правления, солидаризировавшимся с новым директором в отрицательном отношении к рекомендациям комиссии Наркомпроса, работавшей в библиотеке. Комиссия требовала изменить функции научных отделов и заменить специалистов-отраслевиков библиотечными работниками «широкого» профиля. 17 ноября 1925 г. состоялось заседание Ученого совета библиотеки, на котором в ходе бурных дебатов Егоров убедительно обосновал свою позицию и смог получить поддержку Совета. Это дало возможность В. И. Невскому добиться отмены рекомендаций комиссии. Направляя «наверх» свою докладную записку, директор счел нужным открыто выступить в защиту Д. Н. Егорова, терявшего, видимо, доверие «инстанций»³⁹.

Взаимная поддержка Егорова и Невского не могла не способствовать их сближению. Между «советским» директором, принадлежавшим к руководящим партийным кругам, и беспартийным профессором установились доверительные и дружеские отношения. Сохранившиеся фрагменты переписки⁴⁰ свидетельствуют о полном доверии директора к своему заместителю. Егоров отвечал В. И. Невскому искренней симпатией, высоко це-

нил его «уважение перед наукой вообще и европейской в частности»⁴¹. «Трудно сказать даже, как обрадовало меня Ваше большое, истинно дружеское письмо, — писал он 4 августа 1927 г. из Елатьмы Рязанской губернии, где проводил отпуск. — Тут и Вы во весь свой моральный рост, тут и вся наша с Вами работа, раскинувшаяся на 7 верстах, да на 7 мостах, да на 7 плетнях со всей ее несущей и клубком противоречий, но все же милая, всегда близкая [...]».

Д. Н. Егоров был главным разработчиком принципов функционирования библиотеки в новых зданиях, он сформулировал так называемую «теорию трех уровней» обслуживания читателей, вызвавшую большой интерес зарубежных библиотековедов⁴².

В письме, обсуждая служебные дела, Егоров выражает удовлетворение по поводу сообщения Невского об успешном решении практических вопросов, связанных со строительством комплекса новых зданий Ленинской библиотеки. «Участие самого Углонова в жюри, обещание полной поддержки Моссовета и Моск[овского] ком[итета] — это номер! — продолжает письмо ученый, откликаясь на приглашение Невским в состав жюри конкурса на лучший проект Библиотеки секретаря Московского комитета ВКП(б) Н. А. Углонова. — Отлично подходит сюда и приглашение писать в "Правде", — с иронией замечает он. — Конечно, приглашавший ждет, прежде всего, других статей, назидательных, глубоко-дидактических. Они — своим чередом, а пока — статья изобразительная»⁴³. Последнее замечание Егорова связано, видимо, с подготовкой статьи Невского «Библиотека имени В. И. Ленина», опубликованной в «Правде» за 6/7 ноября 1927 г., где вместо юбилейных славословий в адрес партии и правительства содержались конкретные цифры и факты о развитии библиотеки за десять лет советской власти и подчеркивалась необходимость строительства новых библиотечных зданий.

Отношения, сложившиеся между Невским и Егоровым, оказались весьма полезными для создания творческой атмосферы в библиотеке. Эта атмосфера, в свою очередь, вызывала у Егорова желание размышлять над проблемами библиотечного дела, вести библиографическую работу. В 1920-е годы Дмитрий Николаевич опубликовал ряд статей о состоянии библиотечного дела в СССР. Он справедливо связывал коренную «ломку» библиотек, осуществленную в Советском Союзе, со сложившейся в стране социальной, экономической и политической обстановкой, а крупные мероприятия в области советского библиотечного дела объяснял такими особенностями развития советских библиотек, как государственный ха-

рактир их деятельности, общедоступность, неуклонный рост количества читателей и т. д.⁴⁴

Особенно характерно для Егорова в этот период внимание к потребностям массового читателя. «Работники книгоиздательского дела дают книге прицел, книгоснабженцы мчат ее к этой цели, но лишь библиотеки могут учесть процесс *подлинных попаданий*. Отсюда и основное пожелание: постоянная и действенная связь и совместная работа книгоиздания, книгораспространения и библиотечного книгопотребления», — писал ученый в пожеланиях Первому всесоюзному книготорговому совещанию⁴⁵.

Важной частью библиотечной деятельности Д. Н. Егорова стала библиографическая работа. Библиографией ученый начал заниматься еще в 1912 г.: тогда под его редакцией стал выходить указатель новой отечественной литературы по всеобщей истории⁴⁶, а в рецензии на указатель молодого немецкого ученого П. Херре «Источники всемирной истории»⁴⁷ Егоров попытался сформулировать свою точку зрения на некоторые принципиальные вопросы библиографической деятельности.

В 1920 г. отдел всеобщей истории под руководством Дмитрия Николаевича начал работу над библиографическим указателем отечественной литературы по всеобщей истории с 1850 г.⁴⁸ Неблагоприятные условия не позволили завершить работу. Собранные материалы послужили, однако, базой, на которой Егоров и возглавляемый им коллектив подготовили список советской исторической литературы за 1926 год для библиографического ежегодника Международного комитета исторических наук⁴⁹, а также капитальную «Библиографию Востока»⁵⁰. В дальнейшем ученый был отстранен от составления международных ежегодников, оно было передано совершенно не сведущему в библиографии академику Н. М. Лукину. Что же до «Библиографии Востока», то при всех своих недостатках она стала ценным вкладом в советское востоковедение. Отказавшись от многих тематических и других ограничений, характерных для редактировавшихся им дореволюционных библиографий, Егоров сохранил в новом библиографическом труде некоторые методические приемы, характерные для своих ранних указателей, в частности снабдил большинство библиографических описаний краткими аннотациями или рефератами. В 1923 г. ученый разработал и представил в Совет по изучению производительных сил при Госплане СССР проект библиографирования всей новой научной литературы, согласно которому составление библиографии по разным отраслям знания должно было осуществляться на базе фондов

и справочного аппарата Библиотеки имени В. И. Ленина при организационном руководстве Госплана, однако проект Егорова принят не был⁵¹.

Середина 1920-х годов — время расцвета деятельности Д. Н. Егорова. Он — член Государственного ученого совета Наркомпроса РСФСР, Ученого совета Ассоциации востоковедения при ЦИК РСФСР, Археологической комиссии, руководитель московской секции Российской академии истории материальной культуры. 14 января 1928 г. ученый был избран членом-корреспондентом АН СССР⁵².

До предела загруженный текущей работой, Д. Н. Егоров мог уделить медиевистике лишь минимальное внимание. «Я сейчас совершенно исключительно обременен (стройка [нового здания Ленинской библиотеки — А. Г.] началась фактически!) и бывают многие дни, когда я ни минуты не имею отдыха, не говоря уже о "выходных" днях. Ergo — ничего нового, притом обширного и необычного я взять на себя не могу», — писал, например, ученый члену-корреспонденту АН СССР О. А. Добиаш-Рождественской 20 апреля 1930 г., отказываясь от каких-то предложений о сотрудничестве с немецким медиевистом П. Леманном⁵³.

Все же Егорову удалось опубликовать в 1920-е годы несколько работ, относящихся к истории средневековья. Он выступил с рецензией на труд А. Допша о хозяйственных и социальных основах культурного развития Европы⁵⁴, напечатал статью о средневековом университете в Падуе⁵⁵, участвовал в подготовке русского перевода записок Г. Штадена о Москве в царствование Ивана Грозного⁵⁶.

Особо следует отметить статью ученого «Как писал Эйнгард», где автор, возвращаясь к сюжетам «Этюд о Карле Великом», сопоставил текст «Жития Карла Великого», вышедший из-под пера Эйнгарда, не только с жизнеописанием Гая Светония Транквилла, что было сделано предшественниками историка, но и с некоторыми другими источниками. В результате Егоров пришел к выводу о наличии в «Житии» фрагментов, частично восходящих к недошедшим до нас сочинениям⁵⁷.

Единственным капитальным трудом, работе над которым Д. Н. Егоров сумел уделить необходимое время, стало немецкое издание «Славяно-германских отношений в средние века...». История его в той или иной степени связана со многими событиями в жизни Егорова последнего периода деятельности. Выше мы уже писали об откликах на «Славяно-германские отношения...» в России и Франции. В 1924 г. из обзора Х. Шмида⁵⁸ информацию об этом труде впервые получили немецкие историки. Обзор Шмида вызвал многочисленные отклики в научной периодике

Германии, книгу стали запрашивать по книгообмену из Ленинской библиотеки, просили ее у автора⁵⁹, она оживленно обсуждалась на общегерманских съездах историков в Нейсе и Бреслау⁶⁰. Осенью 1926 г. съезд немецких историков в Бреслау принял решение о публикации «Славяно-германских отношений...» на немецком языке. Подготовка нового издания была поручена Институту по изучению Восточной Европы⁶¹. Началась переписка Института с Д. Н. Егоровым, в ходе которой обсуждались технические вопросы подготовки рукописи. Ученый вынужден был провести большую работу по переводу русского оригинала и чтению корректур⁶². В сложившейся ситуации Егоров был, видимо, очень заинтересован в получении командировки в Германию⁶³.

Официально командировка испрашивалась сначала «для изучения библиотек Центральной Европы» в связи со строительством новых зданий Библиотеки имени Ленина⁶⁴. Позже к Д. Н. Егорову обратился М. Н. Покровский с предложением принять участие в «Русской исторической неделе» — «чтении выдающимися русскими историками докладов на темы их специальности»⁶⁵.

Таким образом, в Германии Д. Н. Егорову пришлось заниматься целым комплексом научных, библиотечных и издательских вопросов.

«Русская историческая неделя» в Берлине (1928 г.) стала в свое время значительным событием в советско-германских научных связях. Советская делегация на этой встрече, возглавленная М. Н. Покровским, состояла из двух групп исследователей: сформировавшихся до революции крупных ученых; научных работников новой формации, представлявших Общество историков-марксистов. Последние выступали слабо (вряд ли немецкие специалисты могли, например, серьезно отнестись к сообщению участника «Недели» Е. Б. Пашуканиса «Советы солдатских депутатов в армии Кромвеля»). В письме из Берлина В. И. Невскому, который тоже был в составе делегации, но не смог своевременно приехать в Берлин по семейным обстоятельствам, Егоров отмечал, что состав советских докладчиков «очень и очень не силен; нужно будет брать качеством хотя бы некоторых выступлений»⁶⁶.

Одним из тех, кто поддержал престиж советской науки, был Д. Н. Егоров. Об участии в «Неделе» и других аспектах своей командировки он подробно пишет в отчете о пребывании в Германии, Дании и Норвегии с 4 июля по 28 августа 1928 г.⁶⁷ Егоров сообщает, что выступал в рамках «Недели» с двумя докладами. Первый из них в сборнике докладов «Недели», изданном в Германии, по неизвестным нам причинам напечатан не

был, его название известно только по статье о «Неделе» Е. Б. Пашуканиса⁶⁸. Доклад, как свидетельствует Пашуканис, имел довольно необычное название «К критике средневековой историографии: цитатное сумасшествие и умножение фактов». Как свидетельствует Пашуканис, в нем доказывался тезис о малой степени достоверности источников по средневековой истории, причем автор показывал хорошее знакомство со средневековыми хрониками и их критикой. Другой доклад поручил сделать Егорову руководитель советской делегации на «Неделе» М. Н. Покровский, предложивший ученому рассказать о советском библиотечном строительстве. Именно этот доклад был напечатан в материалах «Недели»⁶⁹. В нем освещались вопросы советского библиотековедения, сведения о котором, как отметил Егоров в отчете, «дотоле проникали в Германию лишь урывками».

Доклады историков «старой школы» получили высокую оценку в научных кругах Германии и привлекли внимание прессы, «очень ярко и полно передававшей отдельные перипетии “Недели”», по словам Д. Н. Егорова, В отчете он пишет о положительной реакции в Германии на свой доклад «Библиотечное дело в Союзе Советских Социалистических Республик», Пашуканис сообщает об успехе и другого доклада ученого, который, по его мнению, «восхитил немцев»⁷⁰ и был затем дважды повторен во время поездки Егорова по стране.

Поездка по Германии была предпринята Д. Н. Егоровым и присоединившимся к нему В. И. Невским с целью изучения опыта строительства библиотечных зданий и постановки работы в крупных научных библиотеках. Ученый встретился также с директором Института по изучению Восточной Европы Х. Рейнке-Блохом, с которым, видимо, вел переговоры об издании «Славяно-германских отношений...» В отчете Егоров перечисляет даты своего пребывания в различных городах Германии, отмечает, что встретился почти с сотней историков, филологов, библиотековедов (среди них с такими крупными учеными, как Х. Дельбрюк, Г. Кунов, М. Фасмер и др.), кратко рассказывает о содержании и результатах некоторых встреч. С 16 июля по 14 августа Д. Н. Егоров сумел посетить библиотеки и архивы Берлина, Бреслау, Лейпцига, Гамбурга, Франкфурта-на-Майне, Тюбингена, Мюнхена, Любека. В Бреслау он собрал интересные сведения о работе русского и славянского отделений университетской библиотеки; в Лейпциге внимательно осмотрел оборудование для транспортировки книг, посетил предприятия по его производству, ознакомился с крупнейшими книготорговыми фирмами; во Франкфурте-на-Майне встречался с книготорговцем Й. Бэром, снабжавшим Библиотеку имени

В. И. Ленина иностранными изданиями; в Мюнхене беседовал с руководителем строительства библиотеки Немецкого музея Бестмайером. Особенно интересными оказались для Егорова встречи с директором университетской библиотеки в Тюбингене Г. Леем, который, как отмечено в отчете, «сумел сконцентрировать у себя снимки со всего чертежного материала всех библиотечных строек».

15—20 августа Д. Н. Егоров побывал в Дании и Норвегии, где знакомился с Королевской библиотекой в Копенгагене и Университетской библиотекой в Осло, встречался с послом СССР в Норвегии А. М. Коллонтай, присутствовал на заключительных заседаниях проходившего в норвежской столице VI Международного конгресса историков.

Командировка Егорова имела не только ознакомительное значение, она принесла вполне ощутимые практические результаты. В ходе переговоров, проведенных Егоровым в Берлине, была подготовлена почва для установления между библиотеками СССР и Германии обмена изданиями по межбиблиотечному абонементу (соответствующую договоренность стороны оформили в сентябре 1928 г. во время визита в Москву президента Общества содействия немецкой науке и Немецкого общества по изучению Восточной Европы Х. Шмидт-Отта). В Библиотеку имени В. И. Ленина поступили некоторые ценные коллекции немецких изданий, оживился книгообмен между ней и научными библиотеками Берлина, Бреслау, Лейпцига.

В своем отчете Д. Н. Егоров отметил как ряд преимуществ организации библиотечного дела в Германии, так и превосходство по некоторым параметрам советских библиотек. Он подчеркнул, что командировка позволила сделать выводы, важные «не только для самой постройки Ленинской библиотеки, но и для сравнительного освещения и оценки нашего советского библиотечного строительства [...]». Надо сказать, что с этими выводами были ознакомлены как «руководящие инстанции», так и широкий круг библиотечных работников. Д. Н. Егоров выступил со своими зарубежными впечатлениями перед библиотекарями Москвы и Ленинграда, на двух его лекциях «Библиотечное строительство в Средней Европе» присутствовало 600 человек. Отмечая напряженнейший ритм своей работы в командировке, Д. Н. Егоров подчеркивал, вместе с тем, в отчете, что результаты поездки вызвали у него «огромное удовлетворение».

Однако совсем без удовлетворения встретили итоги командировок в Германию крупнейших отечественных историков руководители советской исторической науки. Еще в ходе «Недели» журналисты с подачи

М. Н. Покровского стали изображать ученых «старой школы» как типичных представителей «буржуазной науки». Последний тезис отчетливо прозвучал и в официальном выступлении на открытии «Недели» М. Н. Покровского, который указывал на присутствие в Берлине историков-«немарксистов» в качестве примера того, что в СССР научная работа разрешена не только марксистам. Положительная оценка научными кругами Германии докладов беспартийных историков усилила раздражение «инстанций». Оно отчетливо проявилось в статье Покровского в газете «Правда»⁷¹. Не называя конкретных фамилий, Покровский заявил, что «никакой объективной исторической науки у буржуазии нет и быть не может» и что отсюда будто бы следует: «во-первых, в нашей науке специалисту-немарксисту грош цена», а, во-вторых, достаточно противопоставить немарксистам «твердый сомкнутый фронт» и любой «немарксист», перестроившись, «сейчас же вспомнит, что еще его дедушка в 1800 г. был марксистом».

Статья Покровского стала одним из эпизодов травли членов Академии наук, других «буржуазных специалистов», завершившейся «Академическим делом», о котором уже рассказано в очерке о трактовке в 1920—1930-е годы идеи «славянской взаимности». Эта травля скоро непосредственно коснулась и Д. Н. Егорова. В середине 1920-х годов наладилось сотрудничество ученого с известным еще в дореволюционной России частным издательством «Брокгауз—Ефрон», которое после Октября начало выпускать серию книг для юношества «Открытия. Завоевания. Приключения». В ее создании Д. Н. Егоров принимал активное участие, выступая как редактор, переводчик, автор предисловий к описаниям путешествий. Одной из первых в серии под фамилией Егорова вышла книга «Записки солдата Берналя Диаса», представляющая собой отчасти перевод, а отчасти переложение «Правдивой истории завоевания Новой Испании» Берналя Диаса дель Кастиль⁷². Первоначально книга вызвала положительную оценку критики, отмечавшей интересный сюжет «Записок...», простоту и живость изложения материала, успех издания среди старших школьников. При этом никто из рецензентов не рассматривал талантливую популяризацию Д. Н. Егорова как научную публикацию (к слову сказать, труд Егорова не только выдержал испытание временем, но через десятилетия он действительно приобрел научное значение, став основой изданного в 2000 г. полного русского издания «Правдивой истории...»)⁷³.

Через три года после выпуска книги в адрес Егорова неожиданно был, однако, брошен упрек в ненаучности издания. Пушкинист Н. О. Лернер,

не имевший никакого отношения ни к Испании, ни к Великим географическим открытиям, выступил с рецензией на вышедшую в 1928 г. повторно первую часть «Записок...»⁷⁴ Он выразил несогласие с принципами изложения Д. Н. Егоровым сочинения «честного Диаса» и подверг чрезмерно резкой критике ученого за такие второстепенные недостатки, как неправильное транскрибирование имени конкистадора и неправомерное именование его солдатом, а также обвинил в «редакторской малограмотности». Отклик Лернера можно было бы считать выражением его личного мнения, если бы он не совпал с нападками Покровского. Рецензия открыла кампанию травли ученого, обозначив одновременно недовольство властей научными кадрами Академии наук и результатами академических выборов.

С усилением давления на Академию усиливалась и критика в адрес Д. Н. Егорова. В 1929 г. для нападков на ученого была использована «Хрестоматия по социально-экономической истории Западной Европы в новое и новейшее время»⁷⁵, где Егоров составил разделы об эпохе Великих географических открытий и о Крестьянской войне 1524—1525 гг. в Германии. В составлении хрестоматии, содержащей документы по истории XV—XVIII вв., приняли вместе с Д. Н. Егоровым участие другие крупные медиевисты — Н. П. Грацианский, Е. А. Косминский, В. М. Лавровский, С. Д. Сказкин. Ответственным редактором книги был авторитетный в кругах марксистов В. П. Волгин. Однако даже авторитет Волгина не помешал Ц. Фридлянду написать на «Хрестоматию...» целые две «разгромные» рецензии; в них разбираются главным образом разделы Д. Н. Егорова. Автор рецензий обвиняет ученого в тенденциозном подборе документов с целью опровергнуть марксову теорию первоначального накопления, упрекает в верности «традициям своего академического прошлого». «Главы Д. Н. Егорова, — по мнению Ц. Фридлянда, — поражают не только своим методологическим атавизмом, но и своей неряшливостью».

Рецензент обвиняет Дмитрия Николаевича в нежелании применять терминологию, принятую Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса, в пользовании «такими ничего не говорящими» определениями, как «городские слои», «мелкое чиновничество» и т. д.⁷⁶ При характеристике Крестьянской войны в Германии Д. Н. Егоров, по мнению Ц. Фридлянда, «игнорирует все проблемы классовой борьбы...», а подобранные им документы уже публиковались до революции А. Н. Савиным, причем в отличие от перевода Савина, они «искажены»⁷⁷.

Некоторые упреки Ц. Фридлянда могут быть отнесены к издержкам и веяниям своего времени, но большинство их имеет намеренно необъективный и даже клеветнический характер. В частности, полностью противоречит истине обвинение в неряшливости: именно разделы Д. Н. Егорова намного лучше других частей хрестоматии оснащены вводными замечаниями, комментариями и библиографией. Обе рецензии написаны в чрезмерно резком, неуважительном тоне, характерном, впрочем, и для ряда последующих статей об ученом.

Сотрудничество в «Хрестоматии по социально-экономической истории Европы в новое и новейшее время» было, в сущности, последней работой Д. Н. Егорова в области медиевистики. К моменту ее выхода положение ученого стало чрезвычайно сложным. Это обуславливалось все более обострившимся конфликтом партийных и государственных органов с Академией наук, выдвижением в сложившихся условиях академиками кандидатуры Д. Н. Егорова в действительные члены Академии на выборах 1929 и 1930 гг., а также, не в последнюю очередь, его деятельностью во время поездки в Германию. Заключительным аккордом кампании против Д. Н. Егорова стала статья в газете «Ленинградская правда» от 24 января 1930 г., принадлежащая медиевисту П. П. Щеголеву. В этом опусе не только крайне негативно оценивалось все дореволюционное творчество ученого, но и полностью отрицалась его научная деятельность в советский период. Щеголев счел даже возможным заявить, что «за последние 10—15 лет профессор Егоров вообще не проявил себя в научной области» и что он «игнорирует» «современную марксистскую постановку самых основных проблем исторической науки». Подводя итог своим рассуждениям, Щеголев без всяких обиняков характеризует Д. Н. Егорова как «типичного представителя враждебной марксизму буржуазной исторической науки», называет его «дюжинным профессором» и заявляет, что «профессору Егорову не должно быть места в Академии наук Советского Союза»⁷⁸.

В условиях все более неблагоприятной для Д. Н. Егорова атмосферы в июне 1930 г. вышло немецкое издание «Славяно-германских отношений в средние века...»⁷⁹, и к клевете на него на родине добавились раздраженные отзывы немецких рецензентов. С одной стороны, они были обусловлены ситуацией в самой Германии, характеризовавшейся усилением фашизма и связанных с ним националистических тенденций. С другой, — негативная реакция на работу Егорова была отчасти вызвана особенностями самой книги, которая, как уже упоминалось, в значительной части представляла собой исследование, нацеленное на полемику. Спустя по-

чти три десятилетия после выхода в свет русского издания труда пафос его не был понятен и не мог быть принят немецкими исследователями. Крупный специалист по средневековой истории Мекленбурга Ханс Витте посвятил книге Д. Н. Егорова весьма обширный разбор, опубликованный в качестве третьего тома ее немецкого издания⁸⁰.

Признав работу Егорова затрагивающей столь широкий круг проблем, что высказать суждения о каждой из них невозможно даже в рамках большой по объему рецензии, Витте все же подверг основные выводы Егорова резкой, подчас деструктивной критике.

Следует отметить, что и в последующие десятилетия в Германии работа Д. Н. Егорова в отличие от Советского Союза, где она либо замалчивалась, либо, как в «Очерках истории исторической науки в СССР», подвергалась резкой и во многом несправедливой критике⁸¹, постоянно находилась в поле зрения специалистов по средневековой истории. В последнее время оценки «Колонизации Мекленбурга» стали гораздо менее резкими нежели те, которые высказал в 1930-е годы Х. Витте. Было признано, что колонизация Мекленбурга в XIII в. действительно сопоставима с теми процессами освоения пустующих и занятых лесом земель, которые были обусловлены численным ростом населения и наблюдались в этот период почти во всей Западной Европе. Специфика Мекленбурга заключалась в том, что здесь колонизация осуществлялась как силами местного славянского населения, о чем писал Д. Н. Егоров, так и крестьянами-переселенцами, поток которых устремился сюда из соседних германских земель. При этом ассимиляция славянского населения, как показал Егоров, действительно не носила насильственного характера и растянулась на несколько столетий⁸².

Д. Н. Егоров не имел возможности ответить оппонентам. 10 августа 1930 г. он вместе с большой группой ученых был арестован по сфабрикованному органами ОГПУ «Академическому делу». Вместе с академиками С. Ф. Платоновым, Е. В. Тарле, Н. П. Лихачевым, М. К. Любавским и другими работниками академической науки он был объявлен членом «основного ядра» группы, которой следователи ОГПУ отводили «руководящую роль в создании и практической деятельности» выдуманной ими контрреволюционной организации «Всенародный союз за возрождение свободной России». Помимо организационной деятельности ученый обвинялся по статьям Уголовного кодекса, предусматривавшим наказание за «сношения в контрреволюционных целях» с иностранцами и шпионаж⁸³.

После годовичного заключения ученый был выслан в Ташкент, где 24 ноября 1931 г. скончался от сердечного приступа.

Д. Н. Егоров был крупным историком и видным организатором науки. Важнейший труд, с которым, по сути, связана вся его научная жизнь, несмотря на ряд спорных положений, навсегда останется значительным явлением в мировой медиевистике и славистике. Долгое время научное творчество Егорова замалчивалось или искажалось, а его культурная деятельность оставалась неизвестной. Такой подход должен быть преодолен, сделанное ученым заслуживает пристального внимания исследователей как важный вклад в науку и культуру.

Примечания

¹ Арх. РГБ. Оп. 17. Д. 272. 1930. Л. 2—3.

² *Егоров Д. Н.* Славяно-германские отношения в средние века: колонизация Мекленбурга в XIII в. М., 1915. Т. 1—2. Отд. прилож. К т. 1: *Registrum Racheburgense a. 1229/30*. Часто по причине нечеткого оформления титульных листов двух томов и приложения библиотечари при описании книги допускают ошибку: после сведений об авторе они указывают подзаголовок издания «Колонизация Мекленбурга...», а затем в качестве подзаголовка помещают заглавие. В действительности, под названием «Колонизация Мекленбурга в XIII в.» книга Егорова вышла только в немецком переводе (см. примеч. 79).

³ Арх. РГБ. Оп. 22. Д. 239. Л. 209—210, 216—220. Имя существительное в данном документе («*Curticulum vitae*» Д. Н. Егорова) биографические сведения об ученом приводятся далее без ссылок на источник. Подробнее о студенческих годах Егорова см.: *Лантвева Л. П.* Славяноведение в Московском университете в XIX — начале XX века. М., 1997. С. 225—226.

⁴ См.: *Бузескул В. П.* Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века: (М-лы). Л., 1931. Ч. 2. С. 108.

⁵ См.: Журнал Министерства народного просвещения (далее — ЖМНП). 1903. Ч. 345. № 2. С. 333 (паг. 2-я).

⁶ *Егоров Д. Н.* Этюды о Карле Великом // ЖМНП. 1902. Ч. 344. № 11. С. 102—130; № 12. С. 362—401; 1903. Ч. 345. № 2. С. 329—348; Ч. 347. № 5. С. 63—93; Ч. 348. № 7. С. 67—112 (всюду — Отд. наук).

⁷ *Егоров Д. Н.* Введение в изучение истории средних веков (историография и источниковедение): Зап. слушательниц [московских Высших женских курсов...], курс 1915/16 уч. г. М., 1916. Ч. 1. С. 12.

⁸ *Егоров Д. Н.* Новый источник по истории прибалтийского славянства // Сб. ст., посвященных Василию Осиповичу Ключевскому его учениками, друзьями и почитателями... М., 1909. С. 332.

⁹ Подробнее о работах Д. Н. Егорова по славяно-германским отношениям см.: *Горянов А. Н., Ратобильская А. В.* Д. Н. Егоров: научная деятельность и славистические исследования // Исследования по историографии стран Центральной и Юго-Восточной Евро-

пы. М., 1991. С. 80—111; *Они же*. Д. Н. Егоров: научное наследие и судьба медиевиста // Средние века. М., 1994. Вып. 57. С. 223—234; *Они же*. Дмитрий Николаевич Егоров (1878—1931) // Портреты историков: время и судьбы. М., 2004. Т. 3. С. 387—406. В указанных статьях тексты о разработке Д. Н. Егоровым вопросов славяно-германских отношений в средние века написаны А. В. Ратобыльской, автор настоящей книги излагает соответствующий материал по этим текстам.

¹⁰ *Егоров Д. Н.* Средневековая религиозность и труд Л. П. Карсавина // Исторические известия. 1916. № 2. С. 85—106.

¹¹ МИБ РГБ. Оп. 278. Д. 8494 об. Л. 7 (список трудов, составленный Д. Н. Егоровым).

¹² *Карсавин Л. П.* Ответ Д. Н. Егорову // Исторические известия. 1916. № 3/4. С. 139—146; *Егоров Д. Н.* Ответ Л. П. Карсавину // Там же. С. 147—157; *Кареев Н. И.* Общий «религиозный фонд» и индивидуализация религии // Русские зап. 1916. № 9. С. 195—225.

¹³ *Jähne A.* «Schlimanns Biographie kann man zu Recht als eine kollektive Biographie bezeichnen»: D. N. Egorow über Heinrich Schliemann (Petersburg, 1923) // Das Alterthum. Berlin, 1998. Bd. 44. № 3. С. 233—242.

¹⁴ *Егоров Д. Н.* «Крестовое воззвание» против славян 1108 г. // Сб. ст. в честь Матвея Кузьмича Любавского. Пг., 1917. С. 317.

¹⁵ Исторические известия. 1916. № 1. С. 85—94.

¹⁶ *Lex Salica.* Киев, 1905. 338 с.

¹⁷ Средневековье в его памятниках. М., 1913. С. 3.

¹⁸ *Егоров Д. Н.* Империализм культурный, экономический и политический: курс, читанный в Московском коммерческом институте в 1910/11 acad. г. М., 1911. Ч. 1. С. 30.

¹⁹ Там же. С. 29.

²⁰ Там же. С. 16.

²¹ Там же. С. 4—5.

²² *Егоров Д. Н.* Всеобщая история: курс, читанный в Московском коммерческом институте в 1911/12 acad. г. М., 1912. [Ч. 1]. С. 25.

²³ Там же. С. 28.

²⁴ 50 лет советской исторической науки: Хроника научной жизни, 1917—1967. М., 1971. С. 14—15.

²⁵ См.: Архивное дело. 1923. Вып. 1. С. 13—25, 109, 126—127.

²⁶ Арх. РГБ. Оп. 22. Д. 239. Л. 13.

²⁷ *Егоров Д. Н.* Что такое история культуры? М., 1920. 44 с.

²⁸ *Егоров Д. Н.* Геприх Шлиман. Пг., 1923. 111 с.

²⁹ Das Alterthum. Berlin, 1998. Bd. 44. № 3.

³⁰ Подробнее о библиотечно-библиографической деятельности Д. Н. Егорова см.: *Горяинов А. Н.* Человек неукротимой энергии // Советская библиография. 1991. № 2. С. 49—59.

³¹ Арх. РГБ. Оп. 1. Д. 827. Л. 28.

³² Там же. Оп. 22. Д. 239. Л. 2.

- ³³ История Государственной ордена Ленина библиотеки СССР имени В. И. Ленина за сто лет, 1862—1962. М., 1962. С. 68, 79, 103.
- ³⁴ Арх. РГБ. Оп. 17. Д. 221. Л. 31—32.
- ³⁵ Там же. Оп. 1. Д. 848. Л. 5.
- ³⁶ Там же. Оп. 14. Д. 85. Л. 100—101, 320.
- ³⁷ История Государственной ордена Ленина библиотеки СССР... С. 84.
- ³⁸ Арх. РГБ. Оп. 14. Д. 2/16. 1926. Л. 15.
- ³⁹ Там же. Оп. 17. Д. 272. Л. 31—36.
- ⁴⁰ «Тут и вся наша с Вами работа...»: Д. Н. Егоров и В. И. Невский в их переписке / Вступ. заметка, публ., сост. б-фии и коммент. А. Н. Горяинова // Библиография. 2004. № 2. С. 84—93.
- ⁴¹ Там же. С. 90.
- ⁴² См.: *Шунов А., Малый И.* Публичная библиотека СССР им. Ленина (Москва) // Красный библиотекарь. 1930. № 10. С. 48—52.
- ⁴³ «Тут и вся наша с Вами работа...»... С. 87.
- ⁴⁴ *Egorov D.* Russian libraries since the Revolution // *Library Review*. London, 1930. № 14. P. 229—232. Русский оригинал см.: Арх. РГБ. Оп. 22. Д. 239. Л. 179—191.
- ⁴⁵ На книжном фронте. 1929. № 21/22. С. 63.
- ⁴⁶ Русская литература по всеобщей истории. М.; СПб., 1913—1915. Вып. 1—3. Продолжение публиковалось в журнале «Исторические известия» за 1916—1917 гг.
- ⁴⁷ *Егоров Д. Н.* Опыт библиографии всеобщей истории // *Русская мысль*. 1912. Кн. 1. С. 45—48 (паг. 3-я).
- ⁴⁸ Арх. РГБ. Оп. 17. Д. 142. Л. 70; Д. 167. Л. 6; Д. 203. Л. 401 и др.
- ⁴⁹ *International bibliography of historical sciences*, 1926. Washington, 1926. 366 p.
- ⁵⁰ Библиография Востока. М., 1928. Вып. 1. 300 с. Фотомех. воспроизведение: Leipzig, 1972.
- ⁵¹ *Веревкина А. Н.* Государственная библиография СССР в годы первых двух (сталинских) пятилеток (1928—1937): Дис. ... канд. пед. наук. М., 1951. Л. 61—69.
- ⁵² Арх. РГБ. Оп. 22. Д. 239. Л. 224.
- ⁵³ ОР и РК ГПБ. Ф. 254. Д. 297. Л. 5.
- ⁵⁴ *Егоров Д. Н.* Новый взгляд на социально-экономическое развитие Запада в средние века: (новый труд Алфонса Допша) // *Анналы*. 1922. № 2. С. 115—128.
- ⁵⁵ *Егоров Д. Н.* Палуанскі універсітет у XV—XVI століттях // Четырехсотлетие беларускага друку. 1425—1925. Мінск, 1926. С. 22—38.
- ⁵⁶ *Штаден Г.* О Москве Ивана Грозного: Зап. немца-опричника. Л., 1925. 183 с.
- ⁵⁷ *Егоров Д. Н.* Как писал Эйнгард? // Из далекого и близкого прошлого: Сб. этюдов по всеобщей истории в честь 50-летия научной жизни Н. И. Кареева... Пг.; М., 1923. С. 90—102.
- ⁵⁸ *Schmid H. F.* Die slavische Alterthumskunde und die Erforschung der Germanisation der deutschen Nordostens // *Zeitschrift für slavische Philologie*. Berlin, 1925. Bd. 2. H. 3/4. S. 134—180.

- ⁵⁹ Арх. РГБ. Оп. 14. Д. 2/15. 1929. Л. 18; Д. 2/16. 1926. Л. 6, 24. 1927. Л. 4.
- ⁶⁰ МИБ РГБ. Оп. 278. Д. 8494. Л. 6—7.
- ⁶¹ Там же. Л. 2.
- ⁶² Арх. РГБ. Оп. 14. Д. 2/15. 1930. Л. 2, 4—7; Оп. 22. Д. 239. Л. 192.
- ⁶³ Подробнее о заграничной поездке Д. Н. Егорова см.: *Горяинов А. Н.* Русский медиевист Д. Н. Егоров и советско-немецкие научные связи 1920-х годов // Вопросы истории славян. Воронеж, 1996. Вып. 11. С. 29—40.
- ⁶⁴ Арх. РГБ. Оп. 22. Д. 239. Л. 152—153.
- ⁶⁵ Там же. Оп. 14. Д. 2/16. 1928. Л. 18.
- ⁶⁶ «Тут и вся наша с Вами работа...»... С. 90.
- ⁶⁷ Арх. РГБ. Оп. 22. Д. 239. Л. 152—177.
- ⁶⁸ *Пашуканис Е. Б.* Неделя советских историков в Берлине // Вестник Коммунистической академии. 1929. Кн. 30. С. 238—246.
- ⁶⁹ *Egorow D.* Das Bibliothekswesen in der Union der Sozialistischen Sovet-Republiken // Aus der historischen Wissenschaft der Sovet-Union: Vorträge ihrer Vertreter während der «Russischen Historienwoche», veranstaltet in Berlin 1928 von der Deutschen Gesellschaft zum Studium Osteuropas. Berlin, 1929. S. 79—87.
- ⁷⁰ *Пашуканис Е. Б.* Указ, соч. С. 240.
- ⁷¹ *Покровский М. Н.* Классовая борьба и идеологический фронт // Правда. 1928. 7.XI.
- ⁷² *Егоров Д. Н.* Записки солдата Берналя Диаза. Л., 1924—1925. Ч. 1—2.
- ⁷³ *Берналь Диас дель Кастильо.* Правдивая история завоевания Новой Испании / [Доп. и испр. пер. Д. Н. Егорова]. М., 2000. 400 с.
- ⁷⁴ Красная новь. 1928. Кн. 4. С. 248.
- ⁷⁵ Хрестоматия по социально-экономической истории Европы в новое и новейшее время. М.; Л., 1929. 551 с.
- ⁷⁶ Историк-марксист. 1929. Т. 11. С. 184—187.
- ⁷⁷ Книга и революция. 1929. № 5. С. 44—45.
- ⁷⁸ *Щеголев П. П.* Проф. Д. Н. Егоров // Ленинградская правда. 1930. 24.I.
- ⁷⁹ *Egorow D.* Die Kolonisation Mecklenburgs im 13 Jahrhundert. Breslau, 1930. Bd. 1—2.
- ⁸⁰ *Witte H.* Jegorows Kolonisation Mecklenburgs im 13. Jahrhundert: Ein kritisches Nachwort. Breslau, 1932. 233 S.
- ⁸¹ См.: *Апатов М. А.* Русская медиевистика // Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963. Т. 3. С. 425—430, 440. Более взвешенные оценки творчества ученого впервые появились в России во второй половине 1960-х годов.
- ⁸² См. например: *Hamann M.* Mecklenburgische Geschichte. Köln; Graz, 1968. S. 118—122.
- ⁸³ Академическое дело. 1929—1931 гг. СПб., 1993. Вып. 1. С. V—VI.

В. И. Пичета, его убеждения и его трагедия

Жизнь и деятельность лидера исторической части отечественного славяноведения 1930—1940-х годов академика Владимира Ивановича Пичеты обычно рассматривалась в историографии с точки зрения его вклада в развитие науки. Ввиду этого в литературе об ученом еще существует несколько «белых пятен». До последнего времени очень мало, в частности, обращалось внимания на выяснение общественно-политических взглядов В. И. Пичеты и на его отношение к проблемам «славянской солидарности». Почти ничего не было известно и о причинах гонений, которым подвергся Владимир Иванович в конце 1920 — первой половине 1930-х годов. Ниже суммированы те сведения по этим вопросам, которые были опубликованы автором в статьях и публикациях последних лет¹.

1878 год, когда родился В. И. Пичета, прошел под знаком русско-турецкой войны, в ходе которой Россия помогала болгарам освободиться от османского ига. Сочувствие русского общества к южным славянам проявилось тогда в оживлении идей «славянской взаимности». Эти идеи не могли остаться без внимания и поддержки в сербско-украинской семье отца ученого, уроженца герцеговинского города Мостар, протоиерея Йована Пичеты (женатого на украинке Марии Григорьевне Григоренко). Йован попал в Россию в 14-летнем возрасте. Еще в годы учебы в Одессе он испытывал, как свидетельствуют источники, изученные В. Г. Карасевым², постоянный интерес к судьбам Герцеговины, а затем, начав преподавать в Полтавской духовной семинарии, отдал дань великосербской идее и вплоть до 1879 г. мечтал о возвращении в родные места и об участии в просвещении своего народа. Перед Русско-турецкой войной 1878—1879 гг., а также во время войны Йован Пичета публиковал статьи о тяжелейшем гнете османских поработителей, который испытывало православное славянское население, о положении в Турецкой империи православной церкви и ее связях с Россией.

Не остался Йован в стороне от судеб славянства и в годы Первой мировой войны. В 1915 г. он опубликовал патриотическую брошюру «История южных славян», представлявшую собой текст публичной лекции в пользу сербов и черногорцев³.

Знаменательно также, что родоначальник русской ветви рода Пичет приютил в своей многолетней семье и воспитал в духе славянских традиций дальнего родственника из Мостара Душана Семиза (1884—1955), сотрудничавшего со студенческими организациями «Черная рука» и «Млада Босна». Изгнанный из мостарской гимназии за участие в сербском национально-освободительном движении, Семиз вынужден был покинуть Герцеговину. Он завершил образование в России, обосновался в Петербурге и стал российским правоведом, но, как и его воспитатель, остался сербским патриотом и в начале XX в. нередко выступал в печати с популярными работами о южнославянских народах, был избран членом Сербской Матицы⁴.

Еще в детстве, проведенном в Полтаве, гимназист Владимир Пичета встречал сосланных туда поляков — участников восстания 1863 г. и имел возможность сравнить их участь с судьбой отца. Эти встречи он запомнил на всю жизнь и написал о них в своих воспоминаниях, посвященных детским годам⁵. Позже, когда Йован Пичета помогал своему мостарскому родственнику, Владимир был далеко от семьи. В 1897—1901 гг. он учился на историко-филологическом факультете Московского университета, где испытал сильное влияние В. О. Ключевского, под руководством которого писал свое кандидатское сочинение. Тема этой, как теперь бы мы сказали, дипломной работы, выбиралась, несомненно, с учетом южнославянского происхождения и интересов студента Пичеты. Сочинение называлось «Юрий Крижанич о Московском государстве» и было посвящено взглядам на Россию оказавшегося там во второй половине XVII в. хорвата Юрия Крижанича, который видел в Московии потенциальный центр сплочения славян. Маститый профессор высоко оценил работу В. И. Пичеты. По свидетельству ученика Владимира Ивановича В. Д. Королюка, учитель любил вспоминать об этом, прибавляя, что «Ключевский один, других историков много»⁶.

Библиографию печатных работ В. И. Пичеты открывают публикации его докладов о Крижаниче, прочитанных на заседаниях Научного общества в Екатеринославе и Екатеринославской ученой архивной комиссии⁷ (в этом городе в 1902—1905 гг. Владимир Иванович преподавал в средних учебных заведениях). В кратком изложении первого⁸ и текстах последующих

докладов, основанных, по всей вероятности, на кандидатском сочинении Пичеты, Ю. Крижанич характеризуется как «первый выразитель и провозвестник» идей панславизма⁹ (под термином «панславизм» Пичета в екатеринославский период понимал, как видно из его работ, все проявления «славянской идеи»).

По мнению В. И. Пичеты, Крижанич задолго до пребывания в Московском государстве осознал тяжесть положения славянских народов в неславянском окружении, «составляющие которого стремятся положить конец существованию славян»¹⁰.

Главную причину поездок хорвата-миссионера и представителя папского престола в Московию автор видит в намерении указать России — «наиболее сильному и независимому славянскому государству» «ее всемирно-историческую роль: быть объединительницей и освободительницей всего славянства, как западного, так и южного»¹¹. Выполнение же поручения содействовать заключению католическо-православной религиозной унии он ставит лишь на второе место.

Крижанича Пичета рассматривал как прямого предшественника славянофилов, сторонников, по его мнению, объединения славянства вокруг России «не путем оружия и насилия, а посредством духовного сближения и взаимного понимания, кладя общественные интересы в основу этого сближения»¹².

Идею единства славян под духовным патронатом России как крупнейшей славянской страны В. И. Пичета называет «великой идеей, к сожалению мало понятой как в XVII, так и в XIX в.»; он был убежден, что «остается только ждать, когда идея панславизма станет реальным фактом»¹³.

Таким образом, на начальном этапе научной деятельности молодой историк отчетливо выразил свой взгляд на славянство как единое целое и Россию как центр славянского мира, причем высоко оценил деятельность славянофилов, подчеркнув либеральную направленность их учения и публично высказав свое убеждение в жизненности славянофильских идей. В его оценке присутствует и романтическое увлечение «славянской взаимностью», и преувеличение значения славянофильства для судеб России, и сочувствие либеральным взглядам.

Впрочем, и во время учебы в Москве, и в Коростышевской учительской семинарии, где он преподавал в 1901—1903 гг., и в Екатеринославе общественно-политические взгляды Владимира Ивановича еще только формировались. Б. М. Руколь, изучавшая переписку В. И. Пичеты, считает, правда, возможным говорить не только о формировании, но и об «укреп-

лении» во время пребывания в Екатеринославе мировоззрения Пичеты, которое она, к тому же, однозначно считает марксистским. «Единомышленниками Пичеты были философ И. М. Соловьев, литературовед Н. Л. Бродский, В. В. Якунин [...] — пишет она. — В дружбе с марксистом-литературоведом Н. Л. Бродским, в общении с ученицами, участницами подпольных марксистских кружков, укреплялось его марксистское мировоззрение»¹⁴. Однако высказывание Б. М. Руколь не подкрепляется ссылками на конкретные источники. В то же время даже из немногочисленной литературы о Бродском¹⁵ становится ясным, что он до Октябрьской революции марксистом еще не был, а в литературоведческих исследованиях придерживался методов «культурно-исторической школы».

В 1905 г. В. И. Пичета перебрался в Москву. В первые годы XX в. он уделяет основное внимание подготовке исследований и научно-популярных работ по истории России, в 1910 г. становится приват-доцентом Московского университета по русской истории. В работах Пичеты 1905—1914 гг. вопросы единства славян не звучат. Почти не интересовали его и славянофилы — исключение составляет лишь статья о Ключевском, которой Владимир Иванович откликнулся на кончину своего учителя.

Высоко оценив научное творчество ученого, он подчеркивал связь его взглядов в области истории с концепциями славянофилов, в ряде трудов которых, как считал Пичета, «бился пульс настоящей исторической жизни народа», и которые «высказывали более правильные суждения относительно ближайших задач и целей исторического значения». В то же время Пичета уже в начале 1910-х годов понимал ограниченность славянофильской идеологии. По его мнению, славянофилы были склонны, главным образом, к разработке «метафизических вопросов, не имеющих ничего общего с задачами и предметом исторического знания», а «славянофильская школа ценна своими отдельными историческими замечаниями, ей не удалось дать полную историю русского народа...» В заслугу Ключевскому Пичета ставит, в частности, преодоление взгляда славянофилов на Земские соборы, значение которых ими, как он считает, переоценивалось¹⁶.

Статья о В. О. Ключевском свидетельствует о значительной эволюции взгляда В. И. Пичеты на доктрины славянофилов. На смену романтическому восхищению их идеями пришли трезвые оценки достоинств, недостатков и исторического значения славянофильского учения. Примечательно, что публикация статьи стала не только одним из проявлений научных взглядов Владимира Ивановича, но и следствием его идейно-общественной деятельности. Она была опубликована в «Известиях Общества славян-

ской культуры» — издании организации, созданной накануне Пражского славянского съезда 1908 г. представителями неославизма. Как уже показано в исследованиях российских ученых¹⁷, русский неославизм представлял собой идейное течение, объединявшее ряд октябристов, кадетов и лиц более левых взглядов. Общество славянской культуры последовательно придерживалось либеральных ценностей, и в идейной борьбе внутри неославистского движения стояло на его левом фланге. Оно активно сотрудничало с польскими общественными и культурными деятелями, с представителями украинского национального движения, неоднократно критиковало позицию русского правительства в польском вопросе. Общество считало, что «Россия тогда лишь станет во главе славянского движения [...], когда отношение России к населяющим ее славянам изменится, когда не будет граждан первого и второго разряда, когда интересы России будут всем одинаково дороги, потому что она явится защитницей свобод и прав всякой отдельной национальности и каждой отдельной личности»¹⁸.

Пичета активно работал в Обществе, одно время был кандидатом в члены его правления. Он встречался там с видными учеными, известными писателями, передовыми общественными деятелями — С. Н. Булгаковым, В. И. Вернадским, В. А. Гиляровским, Н. И. Кареевым, М. М. Ковалевским, В. Г. Короленко, Ф. Е. Коршем, П. Н. Милюковым, А. Л. Погодиным, С. В. Петлюрой, А. А. Шахматовым¹⁹.

Общественная деятельность Владимира Ивановича не ограничивалась работой в Обществе славянской культуры. В 1911 г. он вместе с С. П. Мельгуновым, А. К. Дживелеговым, К. В. Сивковым и некоторыми другими учеными и педагогами основал кооперативное товарищество издательского и печатного дела «Задруга». Инициаторы создания «Задруги» принадлежали, в основном, к Народно-социалистической партии, выделившейся в 1906 г. из правого крыла партии эсеров и стоявшей на политических позициях, промежуточных между ними и трудовиками. Примечательно, что «народные социалисты» поддерживали контакты с Плехановым и его социал-демократической группой «Единство», что выразилось после Февраля 1917 г. в выступлении обеих организаций в едином блоке в ряде избирательных кампаний, а также в некоторых совместных изданиях этих групп²⁰.

Первая мировая война обострила внимание общества к судьбам славянства. Последователь Г. В. Плеханова С. В. Вознесенский хорошо уловил эти настроения, издав библиографический указатель «Русская литература о славянстве». В предисловии он свидетельствовал, что вследствие «мировой борьбы с германизмом, в которой едва ли не самую крупную

роль играют славяне, и результат которой едва ли не больше всего отразится на их будущем, русское общество, без сомнения, заинтересовалось славянской стихией»²¹.

Удовлетворить этот интерес должны были как научные, так и, прежде всего, научно-популярные работы. Видимо, отвечая на «злобу дня», В. И. Пичета впервые после долгого перерыва вновь обратился к славянской проблематике. В 1914—1917 гг. он опубликовал еще две работы о Ю. Крижаниче²², напечатал со своим предисловием несколько писем из архива И. С. Аксакова²³, выступил с рядом популярных очерков и рецензий о Сербии, Болгарии, Польше и Украине.

В канун, и в годы Первой мировой войны убеждениям и идеалам Владимира Ивановича продолжали быть наиболее созвучными взгляды на «славянский вопрос» самых прогрессивных представителей русского общества. Это видно из его предисловия к публикации писем М. Г. Черняева и П. А. Кулаковского И. С. Аксакову. Публикуемые письма относятся к 1880—1882 гг., к периоду кризиса и вырождения дореформенного, «классического» славянофильства. Рассказывая в них о жизни Сербского княжества, Черняев и Кулаковский подчеркивали свое неприятие демократизма сербской интеллигенции, ее ориентации на Западную Европу, трепетного отношения к своему национальному самоопределению. Резко выступив против суждений «эпигонов раннего славянофильства — националистов», В. И. Пичета ставит им в вину враждебное отношение к европейской культуре, вычеркивание из славянской семьи поляков, использование национально-освободительной борьбы южных славян в целях агрессии на Востоке. Он высмеивает утверждения Черняева и Кулаковского, что «славяне — это маленькие дети, которые мыслят и действуют по указке и под руководством матери славянства — России»²⁴, а также отмечает, что в их письмах «чувствуется не столько боль и сострадание из-за славянства, сколько ненависть, раздражение и озлобление из-за неудовлетворенного самолюбия»²⁵.

Это, однако, вовсе не означало одобрения ученым «австрофильской», по его выражению, политики Сербии. В брошюре, изданной в 1917 г. «Задругой», он пишет, что политика руководства страны в 80-х годах XIX в. вела ее «к национальной гибели». В той же работе характеризуется как «антинациональный поступок» согласие России на аннексию Австро-Венгрии Боснии и Герцеговины²⁶.

О том, как радикально изменились взгляды В. И. Пичеты на славянофилов и их предшественников сравнительно с екатеринославским перио-

дом, можно судить по его статье кануна Первой мировой войны «Юрий Крижанич», предпосланной публикации избранных глав из «Политики» Крижанича. Как следует из предыдущего, на начальном этапе своей научной работы Пичета видел главные положительные итоги деятельности хорватского мыслителя в обосновании и пропаганде идеи общности славян; теперь он утверждает, что «Крижанич все время увлечен только миссионерскими мечтаниями», а «искренность его панславизма, во всяком случае, может быть заподозрена» и его панславистские стремления «приходится считать только политическим шагом», предпринятым с определенной целью — снискать расположение царя и выбраться из Сибири, где Крижанич находился в ссылке²⁷.

Веря в жизненность «славянской солидарности», основанной на принципах свободы и праве самоопределения народов, В. И. Пичета не мог в то же время согласиться с русофобскими тенденциями в общественных настроениях и политике некоторых славянских государств. В начале войны он опубликовал брошюру «Драма болгарского народа: борьба за национальное объединение Болгарии», в значительной своей части посвященную предвоенной политике страны. Упрекая болгар в том, что после Балканских войн «в глазах Болгарии Россия оказалась предательницей», а болгарская интеллигенция «прониклась русофобством», он приводит высказывание поэта Кирила Христова, называвшего себя «татаро-болгаринном, а не славянином». В. И. Пичета характеризует слова Христова как «уродливый отказ от славянства». «Будем верить, — заключает он, — что Болгария примкнет к славянству и даст отпор германизму [...]»²⁸.

Таким образом, идеалом Пичеты в годы Первой мировой войны продолжало оставаться славянское единство. Это подтверждает и Ю. В. Готье: он характеризует Владимира Ивановича как «порохом начиненного панслависта и члена Плехановского “Единства”»²⁹.

Готье хорошо знал В. И. Пичету по университету, и его слова заслуживают доверия. О справедливости первой части приведенного высказывания можно судить по сказанному выше. Однако совершенно неожиданной является вторая часть. Она определенно указывает на то, что во время войны Владимир Иванович придерживался марксистских взглядов, причем Готье соединяет последние с увлеченностью Пичеты идеями «славянского единства».

Прежде всего попытаемся выяснить основательность утверждения Ю. В. Готье о принадлежности ученого к сторонникам Г. В. Плеханова. Прямых указаний на сотрудничество Плеханова и Пичеты найти пока не

удалось, но на какие-то связи между ними все же указывает один косвенный признак: в газете московской группы плехановского «Единства» за 1918 г. Пичета назван среди нескольких десятков жертвователей, которые внесли те или иные суммы «в фонд по увековечению памяти Г. В. Плеханова»³⁰.

Вполне правдоподобной, однако, выглядит сама возможность сторонников взглядов Плеханова быть адептами «славянской идеи». В советские времена, когда марксистскими объявлялись только положения, исповедовавшиеся большевиками, считалось аксиомой, что социал-демократ — это интернационалист, и что в его мировоззрении уже в силу его интернационалистских взглядов не должно быть какого бы то ни было интереса к «славянскому вопросу». Между тем, даже при беглом просмотре изданий сторонников Г. В. Плеханова, выясняется, что возглавляемая им группа «Единство» совсем не безразлично относилась к «славянской идее». Выше мы уже приводили высказывание 1915 г. по «славянскому вопросу» видного члена плехановской группы С. В. Вознесенского. В бурном 1917 г. в газете группы, которая тоже называлась «Единство», но выходила в Петрограде, наряду с материалами о России было напечатано довольно много статей о положении в славянских провинциях Австро-Венгрии, о политике Временного правительства в Польше, о необходимости создания единого государства югославян. Авторами этих статей являлись ведущий публицист «Единства» социал-демократ Ф. И. Цедербаум, специализировавшийся по «польской» проблематике корреспондент газеты Г. Курнатовский и видный хорватский социалист М. Радошевич. С несколькими статьями в газете «Единство» выступил также будущий президент Чехословацкой республики Т. Г. Масарик. Таким образом, газета социал-демократов плехановского толка, в отличие от большевиков, против политики которых она резко выступала, интересовалась славянами и размышляла об их будущем, что выявляет точки соприкосновения взглядов сторонников Плеханова с взглядами Пичеты на славянство. Следует отметить, что «плехановцы» считали необходимым всеми средствами добиваться победы антигерманской коалиции. Они полагали, что в результате возникнут благоприятные условия для развертывания социалистического движения. В. И. Пичета тоже был сторонником войны до победного конца. Однако он связывал победу, в первую очередь, с возможностью для славянских народов освободиться от немецкого господства. В предисловии к одной из своих популярных работ Пичета писал, что от итогов войны «зависит гибель или возрождение славянства»³¹.

Если для рассмотрения вопроса о марксизме во взглядах В. И. Пичеты в годы Первой мировой войны у нас нет сколько-нибудь надежных источников, то не подлежит сомнению упоминание в этот период его связей с народными социалистами. Примечательны в данном контексте некоторые подробности издания в 1914 г. популярного «Исторического очерка славянства» Пичеты, объединенного под одной обложкой с работой Ч. М. Иоксимовича «Состав современного славянства». Исследователи научного творчества Владимира Ивановича до сих пор даже не пытались решить вопросы, возникающие в связи с соавторством Пичеты и Иоксимовича. Они не интересовались ни личностью Иоксимовича, ни причинами, по которым ученый, получивший уже некоторую известность, согласился сотрудничать с человеком, не принадлежавшим к действующим историкам или филологам. Их не заинтересовало и то обстоятельство, что книга Пичеты и Иоксимовича была выпущена никак не связанным со славянской проблематикой «Книжным магазином мануфактурной промышленности» (само название этого издательства свидетельствует о его текстильной специализации). Между тем Чедомир Иоксимович (гражданин Сербии, в России он добавлял к своему имени отчество «Милетович») был своеобразной и весьма интересной фигурой. Краткие сведения о себе были им сообщены в письме В. И. Ленину от 27 сентября 1920 г., сохранившемся в фонде Совнаркома РСФСР³². Обращаясь к Председателю Совета народных комиссаров с просьбой принять его «для сообщения [...] быть может интересной идеи относительно безболезненного прекращения войны с Польшей», Иоксимович указал в постскрипуме, что ему 47 лет, 23 из которых он живет в России, что по специальности он текстильный техник, что при Временном правительстве был комиссаром Первой сербской добровольческой дивизии, а сейчас преподает на прядильно-ткацких курсах при текстильных предприятиях в Высоковске и Дедовске. В письме Иоксимович называет себя автором 12 печатных трудов, и, наконец, указывает, что состоял редактором-издателем журнала «Вестник мануфактурной промышленности» (при этом журнале, существовавшем в 1912—1915 гг., был открыт в 1912 г. книжный магазин). Иоксимович сообщает также В. И. Ленину, что решил изложить ему свои предложения о мире с Польшей, ознакомившись через последнего секретаря Л. Н. Толстого В. Ф. Булгакова, с которым он встретился 26 сентября 1920 г., с содержанием беседы В. И. Ленина с толстовцем В. Г. Чертковым 8 сентября. Таким образом, Иоксимович был, видимо, хорошо знаком с видными последователями Л. Н. Толстого и пользовался их доверием.

Для нас особенно интересна характеристика Иоксимовичем своих политических взглядов. «По своему политическому убеждению, — пишет он Ленину, — я народный социалист и славянофил-федералист». Надо сказать, что такая автохарактеристика подтверждена статьей Иоксимовича в совместной с Пичетой книге. Там отмечается, что немцы вместе со своими неславянскими соседями «не так страшны для славян, если только последние объединятся, что в свою очередь, возможно только на федеративных началах»³³.

Иоксимович должен был знать Пичету по крайней мере с мая 1909 г., когда вместе с Владимиром Ивановичем присутствовал на торжественном заседании Общества славянской культуры в честь гостей из славянских стран, прибывших на открытие памятника Н. В. Гоголю, и даже пытался полемизировать там с К. Крамаржем³⁴. Вместе с Пичетой Иоксимович числится и в списке членов Общества по состоянию на 1 января 1912 г.³⁵

Таким образом, сотрудничество Пичеты и Иоксимовича было далеко не случайным. Оно стало продолжением связей Владимира Ивановича с «народными социалистами» и было обусловлено как сходными политическими убеждениями авторов, которых роднило даже общее национальное происхождение, так и близостью их взглядов на славянский вопрос и славянство. Становится понятной и причина, по которой книга В. И. Пичеты и Ч. М. Иоксимовича была подготовлена в «текстильном» издательстве.

Выше были приведены различные факты, свидетельствующие о близости Владимира Ивановича Пичеты к деятелям Народно-социалистической партии и о возможных его связях с социал-демократами — последователями Г. В. Плеханова. Характеристика, данная Ю. В. Готье В. И. Пичете, хотя и нуждается в дополнительной проверке, не кажется невероятной. Более отчетливо выявляются связи Пичеты с «народными социалистами». Видимо, партийные пристрастия ученого до Октября 1917 г. не были устойчивыми. Это подтверждает и сам Пичета, который писал в одной из своих автобиографий, что «не принимал активного участия в революционных организациях эпохи до Октябрьской революции»³⁶. В то же время вполне определенно можно говорить об усвоении Пичетой после его переезда в Москву из Екатеринослава социалистических убеждений.

Особенно отчетливо социалистическая ориентация Владимира Ивановича проявилась в брошюре «Первые русские социалисты». В ней автор пишет о противоречиях труда и капитала, характеризует деятелей социалистического движения как людей, «чутких сердцем и душой, охваченных любовью к человечеству и ненавистью к несправедливости». По его

словам, эти люди «начинают задумываться над переустройством общества на началах социальной справедливости»³⁷. Пичета присоединяется также к А. И. Герцену, увидевшему в России «страну, где социальные преобразования могут быть выполнены раньше всех и быстрее всех»³⁸.

Социалистические взгляды В. И. Пичеты помогли ему раньше многих других ученых принять события Октября 1917 г. и приспособить свои взгляды к насаждавшемуся большевиками мировоззрению. Хотя и он сам, и его коллеги — университетские профессора и преподаватели, отмечавшие 3 апреля 1918 г. дома у Владимира Ивановича успешную защиту им докторской диссертации, были единодушны во мнении, что «до такого ужаса мы еще не доживали»³⁹, Пичета очень скоро начал активно сотрудничать с новыми властями. Он не только читал лекции в разных московских и провинциальных университетах, но и преподавал в созданных советским военным ведомством высших учебных заведениях, с 1918 по 1922 г. занимал должность главного инспектора и члена коллегии Главного архивного управления.

В 1920-е годы большевистское руководство приложило, как уже было отмечено в очерке об идее славянской взаимности в 1920—1930-х годах, большие усилия, чтобы покончить с любыми проявлениями «славянской идеи». Естественно, что в этих условиях Пичета не имел возможности открыто выражать свои взгляды на общность славян и славянское единство, несовместимые с новой идеологией. Он избрал другой путь — научного исследования разных ветвей славянства. До Октября 1917 г. интересы Владимира Ивановича лежали преимущественно в плоскости изучения русской, украинской и белорусской истории. Не выходили за эти рамки и обе диссертации ученого, посвященные аграрной реформе в Великом княжестве Литовском⁴⁰. Зарубежному славянству он посвящал главным образом популярные работы, в которых пропагандировал идеи о необходимости «славянской взаимности».

После установления советской власти акценты в научном творчестве ученого смещаются. Продолжая активно разрабатывать проблемы истории Украины и Белоруссии, Пичета уделяет все большее внимание исследованию исторических событий, происходивших на территории вновь обретших независимость славянских государств. Наиболее раннее свидетельство тому — «Прошение» В. И. Пичеты от 23 марта 1921 г. в Коллегию управления Румянцевского музея и приложенный к нему краткий «*Cupiculum vitae*» ученого⁴¹. В документах, поданных Пичетой, содержалась просьба о зачислении на должность заведующего отделом славянской этногра-

фии Музея. Они интересны в нескольких отношениях. В «Curriculum vitae» ученый сообщает, что работает над книгой «История Сербии». На «Прошении» же имеются две резолюции — председателя Коллегии управления Румянцевского музея, профессора одного с Владимиром Ивановичем факультета Д. Н. Егорова и известного слависта и белорусоведа Н. А. Янчука. Егоров, о котором речь шла в предыдущем очерке, направлял документы на рассмотрение Ученого совета Музея. Янчук, заведовавший этнографической частью собственно музейного собрания, кратко характеризовал научную деятельность Пичеты. «Профессор Влад[имир] Ив[анович] Пичета, — писал он, — славянин (серб) по происхождению, посвятивший себя изучению истории и экономической жизни славянства, является вполне добротным и весьма желательным кандидатом на должность заведующего отделением славянской этнографии. Работая вместе со мною в течение 1920 г. в разграничительной комиссии в качестве ее секретаря, а затем эксперта на мирных переговорах в Риге, проф[ессор] Пичета выказал себя достаточно осведомленным в этнографических вопросах Польши, Литвы, Белоруссии и Украины. Назначение его на вышеозначенную свободную вакансию будет целесообразным».

И заявление, и резолюции на нем свидетельствуют не только о положительном отношении руководителей Музея, хорошо знакомых с В. И. Пичетой, к его кандидатуре, но и о серьезных занятиях ученого в период Гражданской войны прошлым и настоящим зарубежных славянских народов. После выхода в свет в 1917 г. книги об аграрной реформе в Великом княжестве Литовском, Пичета не публиковался около трех лет. В 1920 г. была издана всего одна работа ученого — лекции по истории Белоруссии, прочитанные летом 1918 г. и, видимо, тогда же подготовленные к печати⁴². По-настоящему Владимир Иванович возобновил сотрудничество в научных изданиях в 1921 г. В начале года в журнале «Книга и революция» появилась серия рецензий Пичеты об истории и современном положении в Польше. Она явно была непосредственно связана с переориентацией научных интересов Владимира Ивановича на зарубежное славянство. Рецензии свидетельствовали о внимательном изучении Пичетой новой славистической научной литературы. Тематика рецензий ученого, отозвавшегося, наряду с книгами по польской истории, на работу польского экономиста Х. Радзишевского «Польская экономическая идея»⁴³, дала, по-видимому, возможность Н. А. Янчуку отметить занятия В. И. Пичеты экономикой Польши.

Характеристика Янчука интересна еще в одном отношении. Широко известно, что В. И. Пичете довелось участвовать в переговорах о прекращении советско-польской войны 1920 г., закончившихся 18 марта 1921 г. подписанием Рижского мирного договора. При этом бытовало мнение, что Владимир Иванович принимал в переговорах участие в качестве эксперта, но никогда не упоминалось о его деятельности в качестве секретаря такого важного рабочего органа переговорного процесса, как разграничительная (официально она называлась Территориальной) комиссия. Вопрос о дипломатической деятельности В. И. Пичеты требует специального исследования.

Сотрудником Румянцевского музея Владимир Иванович Пичета не стал. Вероятно, это было связано с решением Наркомпроса от 7 апреля 1921 г. о реорганизации Музея в публичную библиотеку, по которому собственноручно музейные отделы должны были быть упразднены⁴⁴. 10 июля 1921 г. В. И. Пичета был назначен ректором вновь созданного в Минске Белорусского государственного университета⁴⁵.

На посту ректора первого в Белоруссии высшего учебного заведения Владимир Иванович работал успешно. Он внес значительный вклад в создание материальной базы, формирование преподавательского коллектива, налаживание учебной и научной работы БГУ. Ректор был одним из лучших лекторов среди университетских преподавателей, опубликовал много научных работ по актуальной для Белоруссии тематике. Вместе с тем, занимаясь историей Белоруссии, В. И. Пичета не оставлял занятий историей зарубежных славян. Он много писал об истории западнобелорусских земель в составе Польши, опубликовал несколько заметок по истории Польши и Сербии в «Энциклопедическом словаре братьев Гранат», выступал в журнале «Архивное дело» со статьями о состоянии архивного дела в Польше и Чехословакии, иногда печатал рецензии на польскую историческую литературу⁴⁶.

Как уже было сказано в очерке об университетском славяноведении, Владимир Иванович успешно преподавал в БГУ славистические дисциплины.

И в 1920-е годы В. И. Пичета не изменил приверженности к «славянской солидарности» и вере в будущее «славянской идеи». Об этом свидетельствует его популярная брошюра «Белорусский язык как фактор национально-культурный», впервые опубликованная в 1924 г. и сравнительно недавно переизданная в Белоруссии⁴⁷.

И. Конон, который подробно писал об этой работе⁴⁸, обратил внимание на ее социолингвистические, культурологические аспекты. Он совер-

шенно справедливо подчеркнул, что «проблему возрождения белорусского языка Вл. Пичета рассматривает в общеевропейском и общеславянском контексте»⁴⁹. Вместе с тем автор статьи не заметил, что, защищая тезис о наличии самостоятельного белорусского языка, Пичета использовал для подтверждения его факты, которые подводили читателя к мысли о единстве славянских народов и их вековым противостоянии германизму. При обосновании закономерности существования разных славянских языков ученый ссылался на ошибочные, по его собственному мнению, взгляды немецкого лингвиста К. Пейскара. Он утверждал, что Пейскар «путем наблюдений над характером заимствований в славянских языках стремится доказать несамостоятельность и зависимость славянской культуры от германцев и тюрко-татар», и что он выводит отсюда такие отрицательные черты славянского национального характера, как отсутствие патриотизма, приниженность личности, зависть. Хотя далее Пичета отмечал, что М. С. Грушевский и Л. Нидерле «наглядно показали скороспелость выводов Пейскара»⁵⁰, он все же подробно излагал взгляды немецкого ученого, делая это таким образом, чтобы дать представление читателю о «славянстве». В разделе брошюры, посвященном языковой ситуации 1920-х годов, не только приведены сведения о положении различных славянских языков в Югославии, Чехословакии, Польше и России, но и в неославиистском духе критикуется правительство Чехословакии. В. И. Пичета пишет, что оно, якобы, проводит в отношении некоренного для страны славянского населения такую же языковую политику, какую ранее проводили немцы по отношению к чехам, и что это содействует славянскому «национально-культурному сепаратизму»⁵¹.

Понятно, что «прославянские» взгляды Пичеты были несовместимы со схемой М. Н. Покровского, насаждавшей в 1920-е годы в советской исторической науке. Видимо, был прав В. Д. Королюк, когда отрицал воздействие на ученого этой схемы⁵². В то же время вполне возможно, что в некоторых статьях Пичете приходилось приспособлять свои взгляды к исторической схеме Покровского. По всей вероятности, такой работой как раз и является статья «Две культуры на Белоруссии»⁵³, которую М. В. Дмитриев рассматривает как свидетельство ориентированности Владимира Ивановича на концепцию главы советской исторической науки⁵⁴.

Не афишируя своих идеологических расхождений с новыми властями, ректор БГУ хорошо вписался в белорусскую партийную и советскую правящую элиту. Достаточно сказать, что профессором возглавлявшегося им университета был первый секретарь ЦК КП(б)Б В. Г. Кнорин и что он еже-

недельно встречался для обсуждения университетских дел с Председателем ЦИК и Совнаркома БССР А. Г. Червяковым. Доверие в 1920-е годы руководства республики к Пичете проявилось в том, что ученый постоянно избирался в состав Центрального исполнительного комитета БССР, в Минский городской совет, и даже возглавлял такую идеологически важную в условиях 1920-х годов организацию, как Общество безбожников БССР. В конце 1926 г. в Белоруссии было торжественно отмечено 25-летие научно-педагогической деятельности В. И. Пичеты, причем правительство республики специально учредило накануне юбилейных торжеств почетное звание «Заслуженный профессор БССР», вскоре присвоенное ученому⁵⁵.

Однако ректорство В. И. Пичеты завершилось драматическими для него событиями. Начало их правильнее всего отнести к апрелю 1928 г., когда в Москве собралась первая всесоюзная конференция новой общественно-научной организации, получившей не слишком благозвучное название «Всесоюзная ассоциация работников науки и техники в помощь социалистическому строительству СССР» (она впоследствии чаще всего обозначалась аббревиатурой ВАРНИТСО)⁵⁶.

Ассоциация, по мысли ее организаторов, должна была, не брезгуя даже самыми грязными методами, заняться подавлением интеллигенции, все отчетливее осознававшей свою ведущую роль в хозяйственном строительстве. Основным объектом, против которого предполагалось направить деятельность ВАРНИТСО, стала Академия наук СССР, еще сохранявшая остатки независимости в решении научных вопросов. По существу, создание новой организации было начальным шагом в развернувшемся вскоре процессе «подчинения» Академии наук (его завершающей стадией стало неоднократно уже упоминавшееся в предыдущих очерках «Академическое дело» 1929—1931 гг.).

Как справедливо отмечал исследователь деятельности ВАРНИТСО И. А. Тугаринов, «аппарату нужны были люди, которые занялись бы поиском врагов и их уничтожением. Эту задачу должна была выполнить ВАРНИТСО»⁵⁷. Сравнительно немногочисленные члены Ассоциации (в нее предложено было принимать с жесточайшим отбором) должны были стать некоей кастой избранных, неким воинствующим Орденом, действующим экстремистскими методами. По-видимому, организаторы ВАРНИТСО отводили Пичете во вновь создаваемой Ассоциации одну из видных ролей: он пользовался у руководства Белоруссии авторитетом, принадлежал к советской научной бюрократии. Для осуществления целей, ради которых создавалась ВАРНИТСО, немаловажной была и при-

надлежность Владимира Ивановича к провинциальной науке, поскольку ее центры не без основания считались настроенными против столичных научных учреждений. Однако те, кто организовывал Ассоциацию, в расчетах на Пичету допустили промах. Это и стало истинной причиной наступивших вскоре трагических событий в его жизни.

Учредительная конференция ВАРНИТСО проходила со 2 по 26 апреля 1928 г. в Москве. Ее стенограмма была опубликована в виде «Бюллетеня ВАРНИТСО» № 2 (в первом номере издания публиковались подготовительные материалы к конференции). В. И. Пичета участвовал в конференции и как ректор БГУ, и как организатор Белорусского общества работников науки и техники в помощь социалистическому строительству (БОРНИТСО). Вместе с инициаторами из Ташкента и Харькова, создавшими аналогичные организации, он был одним из тех, кому предписывалось задавать на ней тон.

Первое заседание конференции открылось вступительной речью руководителя инициативной группы биохимика А. Н. Баха. С докладом о деятельности инициаторов выступил ученик и ближайший сотрудник Баха Б. И. Збарский, известный своим участием в бальзамировании тела Ленина. Широко используя для сокрытия истинного смысла своих высказываний от непосвященных словесную шелуху «теоретического» характера, он достаточно ясно показал истинные цели организаторов. В докладе интеллигенция СССР была поделена на три группы, только одна из которых трудилась бездумно и беззаветно, или, как докладчик завуалировано сказал о ее работе — «с полной верой и с воодушевлением». Оставив эту группу в стороне, Збарский сосредоточил свое внимание на двух других — «врагах» и «колеблющихся». В докладе были подвергнуты резкой критике широко процитированные высказывания так называемых «врагов», из которых видны их старания обратить внимание властей на недостатки системы. Призвав к решительной борьбе с «врагами», Збарский одновременно требовал ужесточить отношение к «колеблющимся», т. е. не проявлявшим безусловной политической преданности режиму ученым, и «вытеснять» их из науки (по существу, отлучать от научной деятельности)⁵⁸.

При обсуждении доклада В. И. Пичета получил слово одним из первых, но выступил совсем не по сценарию. Передав привет участникам от белорусской делегации, которая представляет «научных работников, разбросанных по всей территории Белоруссии», он далее дал понять, что для БССР мало актуальна основная направленность доклада Збарского, поскольку там «совсем нет тех препятствий и тех недоразумений, какие, мо-

жет быть, есть в центре и на других окраинах». «Наши научные работники, — продолжал Пичета, — как местные, так и приезжие, всегда прекрасно помнили и понимали, что только единство науки с трудом может создать новую жизнь и способствовать социалистическому строительству [...]. В этом отношении мы представляем из себя одну семью, и организация общества “ВАРНИТСО” даст нам возможность еще теснее сплотиться, даст возможность еще энергичнее повести ту работу, которая здесь ставится [...]».

Не отрицая, что «в Белоруссии есть несколько острых вопросов, в частности, вопрос национальный», ректор БГУ подчеркнул: «среди научных работников у нас нет противников национальной политики» и «правого лагеря, о котором здесь говорилось». Видимо, из тактических соображений он все же сказал, что, «может быть, в этом отношении наша Белорусская организация представляет из себя исключение».

В связи с заявлением представителя ташкентских ученых А. Л. Бродского о необходимости завоевания Ассоциацией авторитета среди интеллигенции, Пичета сообщил собравшимся, что в Белоруссии «научные работники сами укрепили свой авторитет, как в глазах студенческой массы, так и в глазах советской общественности, ибо каждый из нас работает не за страх, а за совесть, и своей работой поддерживает и укрепляет свой авторитет».

В заключение в выступлении было подчеркнуто, что научные работники Белоруссии с самого начала революции отдают «свои силы на то, чтобы приобщить трудящиеся массы к культурным заданиям, к социалистическому строительству»⁵⁹.

К речи представителя Белоруссии некоторые делегаты отнеслись с осторожным и хорошо замаскированным сочувствием. Инженер из Новосибирска Г. И. Черемных начал, например, свое выступление с поддержки слов В. И. Пичеты о возрождении белорусского региона после установления советской власти. «Сибирь в хозяйственном отношении также возродилась с момента советской власти...», — заявил он⁶⁰. Пермский профессор М. И. Альтшуллер хотя и назвал утверждение Пичеты о единстве научных работников Белоруссии «ошибочным», поскольку в этом случае белорусская организация Ассоциации вопреки «такому разумному предостережению» «организаторов ВАРНИТСО в Москве» должна была бы стать массовой, призывал вместе с тем «объективно отнестись ко всем научным группировкам» и предостерег от того, чтобы «считать, что только ВАРНИТСО имеет право на научное признание». «Задача заключается

в том, — подчеркнул он, — чтобы эту дифференциацию использовать лучшим образом в целях социалистического строительства»⁶¹.

Однако большая часть участников прений из числа делегатов, заранее подбирившихся организаторами при подготовке конференции, или промолчала, или выступила против Пичеты. Харьковский профессор М. И. Яворский заявил, что на Украине дело обстоит совсем не так, как говорил ректор БГУ о положении в Белоруссии⁶². Яворского поддержал профессор из Киева С. Ф. Пастернак. Он начал свое выступление с того, что представители Украины не стоят «на точке зрения официального радужного благополучия в отношении научных и технических работников, как это делает профессор Пичета»⁶³.

Наиболее резкой критике выступление В. И. Пичеты подверглось в речи ректора Ленинградского университета М. В. Серебрякова, посвященной, в основном, нападкам на деятельность Академии наук. Под одобрительные аплодисменты Серебряков заявил, что сторонников капитализма среди интеллигенции, считающих коммунизм утопией, «мы должны не объединять, а вытеснять. Мы должны устранить ее из всех учреждений, из высших учебных заведений, из всех научно-исследовательских институтов [...]». Со временем мы должны лишить эту публику [...] огня и воды [...]». Назвав выступление В. И. Пичеты «единственным диссонансом» среди всех выступлений в прениях, Серебряков сказал, что никогда не был в Белоруссии, не знает тамошних условий, но думает, «что следует предостеречь против подобного благодушия и ничем не оправданного оптимизма»⁶⁴.

Завершил выступления в прениях по докладу Збарского член белорусской делегации профессор А. А. Смолич. Он фактически дезавуировал выступление своего коллеги, сославшись на то, что «тот процесс борьбы, который в РСФСР только начинается, у нас продолжается уже в течение целого ряда лет» и что Пичета «говорил главным образом о современном положении [...]», которое в результате этой борьбы «более или менее благоприятно»⁶⁵.

Случилось так, что В. И. Пичете пришлось не только открывать прения на конференции, но и завершать их при работе одной из секций. 25 апреля 1928 г. он выступил по докладу О. Ю. Шмидта о роли высшей школы в социалистическом строительстве. Видимо, новых нападков Пичета избежал лишь потому, что прения заканчивались. На этот раз ученый резко критиковал органы Наркомата финансов, «которые только считаются с цифрами, а больше ничего не хотят знать». Он жаловался, что финансо-

вые органы урезают средства на лабораторные занятия и что Наркомфин «начинает ставить препятствия и не дает средств» для изучения аспирантами иностранных языков⁶⁶. В конце выступления был поставлен вопрос о том, чтобы перестали перегружать общественной работой членов партии — студентов и аспирантов. «Для нас, конечно, очень интересно, чтобы лица партийные или лица пролетарского и крестьянского происхождения, — говорил В. И. Пичета, — занимали первые места [...]. Но иногда аспиранты-партийцы так заняты общественной работой, что не могут заниматься наукой и, таким образом, они занимают аспирантуру, а толку от них никакого нет [...]»⁶⁷.

О. Ю. Шмидт в заключительном слове вынужден был ответить на критику Пичеты. Он назвал утверждения о задержке средств иллюзиями, но не опроверг их по существу, лишь призвав в общей форме к исправлению имеющихся недостатков путем установления более тесных контактов между вузовской и партийной общественностью.

Особая позиция В. И. Пичеты не могла остаться безнаказанной. Деятельность ВАРНИТСО поддерживалась и направлялась самыми высокими инстанциями, декларация о ее создании была одобрена секретарем ЦК ВКП(б) В. М. Молотовым, о предстоящей деятельности Ассоциации один из ее организаторов А. Н. Бах беседовал с членом Политбюро Н. И. Бухариным⁶⁸. Кара была жестокой и изощренной: представителя провинциальной науки, формально не имевшего с центральным научным учреждением СССР — Всесоюзной Академией наук — никаких связей, возвели в ранг одного из руководителей якобы действовавшей в Академии анти-советской организации.

Впрочем, это случилось два года спустя, после соответствующей подготовки, которая, видимо, началась сразу после конференции ВАРНИТСО. В точном соответствии с тактикой, разработанной руководителями Ассоциации, уже в конце 1928 г. были предприняты усилия, чтобы изолировать В. И. Пичету от общественности и подорвать его авторитет. Сначала выдвинули ряд политических обвинений против БГУ, затем стали расправляться с ближайшими сотрудниками ректора. Тщательно срежиссированная кампания велась под флагом борьбы с буржуазным национализмом⁶⁹ (его наличие в Белоруссии В. И. Пичета, как мы помним, на конференции ВАРНИТСО решительно отрицал). Надо отметить, что в конце 1920-х годов подобные акции по запугиванию интеллигенции проходили и в других регионах страны, обычно принимая в национальных образованиях форму борьбы с «буржуазным национализмом».

В. Конон считает, что травили В. И. Пичету местные «сталинисты, враги белорусской культуры, разного рода карьеристы, наконец, просто демагоги по призванию»⁷⁰. Однако в свете стенограммы учредительной конференции ВАРНИТСО становится очевидным, что травля, хотя и велась местными силами, но была развернута по требованию из Москвы. «Загонщиками» стали университетские доценты Славин и Гольман, лица с темным политическим прошлым, что легко позволяло ими манипулировать⁷¹. Славин пришел в БГУ незадолго до начала травли. «Надо полагать, что он не только преподавал свой предмет, — пишет Пичета, — но внимательно, с помощью разных лиц, собирал разнообразные материалы, слухи и сплетни [...]»⁷².

9 февраля 1929 г. Славин опубликовал в газете «Рабочий» статью, направленную на дискредитацию ряда преподавателей БГУ, прежде всего ректора. Он обвинил Пичету в «национал-демократизме». Еще дальше пошел Гольман. Выступив на съезде научных работников Белоруссии, он не только упрекал ректора БГУ в «белорусском национализме», но и прямо заявил о его «антимосковской ориентации»⁷³.

Пичета пытался сопротивляться. Видимо, вначале его поддержало руководство республики, во всяком случае, ученому предоставили возможность ответить обвинителям на страницах республиканской газеты «Советская Белоруссия». 7 марта 1929 г. В. И. Пичета выступил в газете со статьей «Атака с непристойными средствами». Он тоже обвинял оппонентов в различных политических грехах — Славина в сионизме, «бундизме», даже в борьбе против национальной политики партии; Гольмана — в троцкизме и выступлениях против белорусской культуры. Нападки ректор объяснял попытками Славина и Гольмана противодействовать усилиям по проведению в жизнь решений советской власти о белорусизации, которая предусматривала перевод делопроизводства и обучения на белорусский язык⁷⁴.

Одновременно В. И. Пичета попытался защитить своих сотрудников. Э. Г. Иоффе в статье, основанной на устных воспоминаниях родственников и знакомых Владимира Ивановича, передает красочный рассказ академика АН БССР В. А. Сербенты, работавшего в 1920-е годы директором Института истории партии при ЦК Коммунистической партии Белоруссии, о посещении Пичетой по своей инициативе Минского ОГПУ и беседе с заместителем его председателя. Хотя некоторые детали рассказа наводят на мысль, что Сербента излагал не точные факты, а связанные с ними слухи, само посещение, по-видимому, действительно имело место.

Заместитель председателя ОГПУ, по словам Сербенты, отвечал на просьбы ректора БГУ в грубой форме и дал ему понять, что прошедшие аресты университетских преподавателей — «это только начало»⁷⁵.

«Продолжение» последовало осенью 1930 г.: 14 сентября В. И. Пичета был арестован⁷⁶ и вскоре отправлен в Ленинград, где содержался в Доме предварительного заключения⁷⁷. Сведения о последних месяцах жизни ученого перед арестом отрывочны и противоречивы. Д. Б. Мельцер в предисловии 1978 года к биобиблиографическому указателю «Владимир Иванович Пичета» без каких-либо комментариев пишет о пребывании Пичеты в Минске до 1929 г. в качестве ректора БГУ, а затем до 1930 г. — в качестве его профессора⁷⁸.

В. Конон, также без комментариев, сообщает об «изгнании» бывшего ректора БГУ из республики⁷⁹; это как будто бы подтверждается следующей записью из «Дат жизни и деятельности В. И. Пичеты» в сборнике статей о нем, изданном БГУ в 1981 г.: «1930 г. Научный сотрудник Института истории АН СССР»⁸⁰.

С другой стороны, К. В. Пичета вспоминает, что она приехала из Москвы к отцу в Минск на следующий день после его ареста⁸¹, и, следовательно, он из Белоруссии не изгонялся. Наконец, о некоторых фактах, казавшихся Э. Г. Иоффе причиной ареста В. И. Пичеты, он сообщил в своей статье 1996 г. без ссылки на конкретный источник.

Белорусский исследователь пишет, будто бы в начале 1930 г. В. И. Пичета получил научную командировку в Москву и Ленинград. Встретившись в Москве с М. К. Любавским, он, по просьбе последнего, взял с собой некое письмо для передачи С. Ф. Платонову, за которым уже следили агенты ОГПУ. Письмо, о содержании которого В. И. Пичета ничего не знал, было передано, но вскоре Платонова арестовали, и письмо оказалось в руках ОГПУ. «Работники ОГПУ узнали, что передал его Пичета, — пишет Иоффе, — тогда за ним тоже начали следить»⁸².

Версия Э. Г. Иоффе кажется мало убедительной по ряду причин. Во-первых, ее не подтверждает сам Пичета.

12 ноября 1931 г. Владимир Иванович писал М. Н. Покровскому, что «был два раза у Платонова по просьбе Егорова и Любавского», но однажды передал академику от Егорова только «научную рукопись для отсылки в Германию [...]», а 8 января 1930 г. «по просьбе Любавского сообщил Платонову, чтобы он не ездил в Москву в связи с архивами и не останавливался у Егорова, ибо Егорова звали в ГПУ [...]»⁸³. Следовательно, Любавский дал Пичете не письменное, а устное поручение.

Видимо, В. И. Пичета не лукавит, ибо сообщает весьма характерные подробности своего разговора с С. Ф. Платоновым (например, об архивных материалах, наличие которых в учреждениях Академии наук стало предлогом для развертывания «Академического дела», обычно такие подробности старались не доверять бумаге, и смысла в изложении их в письменном виде не было). Кроме того, в свете стенограммы 1928 г. понятно, что взять всю деятельность В. И. Пичеты под пристальное наблюдение «органы» должны были значительно раньше, чем началась слежка за Платоновым. Наконец, сам факт передачи письма, даже если он и имел место, — причина слишком мелкая и для привлечения к ответственности деятеля ранга Пичеты, и особенно, для причисления его к руководящему ядру созданной усилиями ОГПУ мифической организации.

Если в 1928 г. Владимиру Ивановичу отводилась одна из видных ролей в организации, призванной громить Академию наук, то в 1930 г. его включили в так называемое «Академическое дело», по которому обвинялись ленинградские и московские ученые, а также технические работники, связанные с АН СССР. Из числа более чем 100 арестованных была выделена группа, осуществлявшая, якобы, «руководящую роль в создании и практической деятельности организации» (эту фантастическую организацию следователи именовали «Всенародным союзом борьбы за возрождение свободной России»)⁸⁴.

Вместе с академиками С. Ф. Платоновым, М. К. Любавским, Ю. В. Готье и др., к руководителям Всенародного союза был отнесен и В. И. Пичета. Все они обвинялись в связях с белоэмигрантами и в прозападной ориентации, а также в саботаже перестройки деятельности возглавлявшихся ими учреждений на социалистических началах. В одном из пунктов обвинения В. И. Пичеты значился также «белорусский буржуазный национализм». Для весомости, не заботясь о логике, был добавлен и противоположный пункт — «великорусский шовинизм»⁸⁵.

В цитированном уже письме М. Н. Покровскому от 12 ноября 1931 г. В. И. Пичета раскрыл методы следствия, проводившегося ОГПУ по «Академическому делу». «[...] Мне возвращали мои показания для замены одних слов другими, не в мою пользу. Меня заставляли изменять мои выводы из моих показаний. Мне указывали, в каком стиле и тоне я должен был давать свои показания, ибо отказ, говорили мне, не в мою пользу [...]. Меня заставляли признать себя участником организации, о которой я не имел никакого понятия, — я подписал все, что было написано следователем», — писал ученый⁸⁶.

Измученный Пичета, как видно из письма, в тюрьме серьезно болел и дошел до высшей степени отчаяния. Он даже решил повеситься, но в последний момент оборвалась веревка. Видимо, как раз в это время сделана запись Владимира Ивановича на книге Л. П. Гроссмана «Записки д'Аршиака», которую подследственный читал в тюрьме. Запись датирована 28 февраля 1931 г. Впервые в отрывках и со значительными искажениями она была опубликована Э. Г. Иоффе. Привожу ее целиком по оригиналу, любезно предоставленному мне родственницей ученого О. А. Слободчиковой. Пичета писал:

28. II.

Я с каждым днем все более и более устаю душевно. Я измучился, ожидая каждый день вызова к следователю для выслушивания приговора. Я не мечтаю о свободе, о семье. Я раньше надеялся, но теперь нет надежды. Впрочем, все равно. Я измучился и исстрадался. Измучились и мои, Ася и дети. Пусть будет решение против меня, хотя это было бы преступлением, я спокойно приму это известие и со скорбью в душе, с страданием в сердце окончу свое трагическое существование! Разве, действительно, не трагизм быть всю жизнь борцом против монархии и признать и честно отдать все свои силы Сов[етской] власти, и вдруг очутиться вместе с такими махровыми черносотенцами, как Любавский и Платонов. Это ли не ирония судьбы.

Болезнь моя прогрессирует, я в этом не сомневаюсь. Желудок совершенно перестал действовать. Врач мало мною интересуется, я не рабочий. Если вышлют меня, то тогда, когда я буду уже не в силах переносить свои страдания, я сумею окончить свое существование.

Запись показывает, что Владимир Иванович допускал более тяжелый исход своей трагедии, чем ссылка. Но она свидетельствует и о твердости характера ученого, мужественно заявлявшего о преступном характере ожидавшегося приговора и о своей невиновности, настаивавшего на своем честном сотрудничестве с советской властью. По всей вероятности, следователям удалось убедить В. И. Пичету в виновности С. Ф. Платонова и М. К. Любавского, следствием чего и является оценка их в записи как черносотенцев. До своего ареста ученый, неоднократно общаясь с обоими академиками, хорошо знал об их монархических настроениях, но всегда относился к ним уважительно, а М. К. Любавского (с которым состоял даже в родственных отношениях) справедливо считал своим учителем.

Ученому смогла помочь только работа. В письме Покровскому Владимиру Ивановичу сообщает, что еще может творчески трудиться, что написанные им в тюрьме научные работы спасли его «от духовного маразма»⁸⁷.

По постановлению Коллегии ОГПУ от 16 августа 1931 г. В. И. Пичета был административно сослан в Вятку на 5 лет с зачетом времени следствия. Здесь на него обрушились новые несчастья: Пичета смог получить только унижительную при его квалификации работу в кооперативе общественного питания, жил в голоде и холоде, много и серьезно болел⁸⁸, пережил арест и осуждение своего единственного сына...⁸⁹ В 1934 г. ученый писал, что в Вятке осмотр врачей констатировал «общее истощение организма»⁹⁰. Из Вятки Пичета и отправил письмо М. Н. Покровскому. Примечательно, что оно написано рукой жены Владимира Ивановича, сам он не мог держать перо в руках. Не находя выхода, Пичета отчаянно взывал к наиболее решительному противнику академической науки. Он настаивал: «Помогите мне! Высылка неправильна. Я верный и честный сын советской власти»⁹¹.

М. Н. Покровский оставил отчаянный вопль без ответа. Мало того, 29 сентября 1932 г. он написал послание в ОГПУ (впрочем, неотправленное), при котором хотел переслать в это учреждение «письма историков, интернированных в различных областях Союза», среди которых упомянуто и письмо Пичеты. «Эти письма могут представить интерес для ОГПУ, мне же они совершенно не нужны», — цинично заявлял Покровский⁹².

Действуя через прокуратуру, В. И. Пичете удалось весной 1934 г. добиться перевода в Воронеж. Из опубликованного Ю. Ф. Ивановым «Прощения» ученого в «Комиссию по делам частной амнистии» при Президиуме ЦИК СССР от 25 ноября 1934 г. видно, что 11 апреля было принято соответствующее постановление ОГПУ.

Однако В. И. Пичета был поставлен в известность Вятским ОГПУ о разрешении перебраться из Вятки только в июле. 24 числа он уехал в Воронеж. С 1 сентября В. И. Пичета «начал работать в Воронежском педагогическом институте в качестве профессора по истории народов СССР»⁹³. Но положение ученого продолжало, оставаться тяжелым. Для его характеристики важен рассказ одного из учеников Владимира Ивановича по БГУ Е. Г. Шуляковского, о котором мне любезно сообщила воронежский историк, ныне покойная С. П. Боброва. «Вы, наверное, помните Е. Г. Шуляковского [...], — писала она 2 мая 2001 г. — Он окончил Бел[орусский] гос[ударственный] ун[иверсите]т во время ректорства В. И. Пичеты, слушал его лекции и т. д. и т. п. И сохранил с ним контакты

уже в [19]46—[19]47 гг. Он приглашал В[ладимира] И[вановича] в Воронеж, на что тот отвечал, что в Воронеж он ни за что никогда не поедет, что хуже воронежской тюрьмы он не видел ничего. Это я слышала от Е[фима] Г[ерцовича] сама».

С. П. Боброва далее пишет, что в рассказе Шуляковского непонятно хорошо запомнившееся ей слово «тюрьма» — ведь В. И. Пичета был уже ссыльным, а не заключенным. Противоречит его пребыванию в Воронеже в заключении и упоминание в его «Прошении» о «переезде» в Воронеж. Остается предположить, что худшей «тюрьмой» для Владимира Ивановича оказался сам город его нового пребывания. Некоторые сведения, подтверждающие это предположение, имеются в «Прошении» В. И. Пичеты. Он жалуется на тяжелый для него моральный климат воронежской ссылки. «Как могу я покойно читать лекции студенчеству, — пишет он, — когда мое имя появляется в списке лишенных избирательных прав, а жилищные органы требуют “выбросить меня из квартиры на улицу” как “лишенца”». «За четыре года я устал от своего бесправного положения, при котором любое безответственное лицо может травить меня, как “врага рабочего класса”, которым я никогда не был и быть не могу», — заключает эту часть «Прошения» ученый⁹⁴.

В конце «Прошения» содержится просьба о сокращении срока ссылки на оставшиеся месяцы. Подействовала ли эта просьба (на нее Пичета долго не получал ответа и просил освобожденного раньше своего сопроцессника А. И. Яковлева узнать в ОГПУ о судьбе «Прошения»⁹⁵) или вмешались другие обстоятельства, неизвестно, но В. И. Пичета был освобожден досрочно. Однако, в свете сказанного, кажется совершенно неправдоподобным сообщение Э. Г. Иоффе со ссылкой на рассказ жены ученого, о внезапном освобождении Владимира Ивановича после беседы И. В. Сталина с министром иностранных дел Чехословакии Э. Бенешем⁹⁶.

Как убедительно показал Ю. Ф. Иванов, Э. Бенеш встречался с советским руководителем лишь в июне 1935 г., т. е. после освобождения Пичеты и прибытия его в Москву⁹⁷. Поэтому на положение ученого встреча Бенеша со Сталиным повлиять не могла. Возможно, впрочем, что на судьбу Пичеты могли оказать влияние предварительные контакты между дипломатическими представителями СССР и Чехословакии в ходе переговоров об установлении дипломатических отношений между двумя странами, которые проходили в 1934 г., и ожидание в связи с ними визита в Москву Э. Бенеша.

В. И. Пичета был освобожден 26 апреля 1935 г., т. е. менее чем за полгода до окончания срока⁹⁸. Трагические обстоятельства ареста, ссылки, освобождения В. И. Пичеты были не просто фактами его биографии. Они повлияли и на характер, и на всю последующую деятельность ученого. «Те, кто выжил и сумел вернуться в науку, заплатились не только здоровьем, не только тем, что до конца жизни оказались в положении преследуемых в той или иной форме властями, но и моральной травмой, которая не позволила им в полной мере использовать свой профессиональный потенциал», — пишут авторы предисловия к сборнику материалов «Академического дела»⁹⁹.

Эти слова целиком относятся и к В. И. Пичете. После освобождения у него, как видно из позднейших фактов биографии ученого, появилось чувство какой-то неуверенности, выразившейся в том, что, занимаясь в архивах и создавая на основе отысканных документов новаторские труды, Владимир Иванович не всегда доводил их до публикации. Взвываясь за некоторые сюжеты, он неожиданно прекращал их разработку. Наконец, в архиве В. И. Пичеты сохранилось очень мало писем, что, по всей вероятности, свидетельствует о постоянной настороженности ученого и нежелании подвергать опасности знакомых в случае новых преследований. Видимо, такие опасения имели основания, во всяком случае, во время учебы в 1947—1952 г. в МГУ до автора неоднократно доходили глухие намеки на то, что от новых «неприятностей» ученого спасла лишь преждевременная кончина.

Освободившись, В. И. Пичета уже не вернулся в Минск. Он обосновался в Москве и в 1938 г., после трехлетних мытарств, стал профессором Московского университета, одновременно заняв должность старшего научного сотрудника в Институте истории АН СССР¹⁰⁰.

Через год Пичета был избран членом-корреспондентом Академии наук и возглавил вновь созданные славистические подразделения в Московском университете и в Институте истории. Его столь стремительно продолжившаяся научная карьера была обусловлена как востребованностью славистики в связи со сложившейся внешнеполитической обстановкой начала Второй мировой войны, так и почти полным отсутствием кадров славистов, способных разрабатывать выдвигавшуюся на первый план общественно-политическую проблематику.

Впрочем, в соответствии с настойчиво внедрявшимися партийными органами в науку и общественную мысль штампами «марксистско-ленинской» идеологии, вынужденно реабилитированное славяноведение полу-

чило право на существование лишь в качестве области научного знания, не имеющей никаких точек соприкосновения со славянофильскими учениями, которые продолжали трактоваться как реакционные и оценивались крайне негативно. Естественно, что политически скомпрометированный в глазах «органов» ученый не имел никакой возможности выражать свои взгляды на вопросы «славянской взаимности». Накануне войны, когда пропаганда «славянской идеи» становилась особенно актуальной, он вынужден был в одной из статей даже отдать дань официальной трактовке славянофильства¹⁰¹.

Положение изменилось после нападения Германии на Советский Союз. «Славянская солидарность» стала одним из лозунгов антифашистской пропаганды. В то же время власти вынуждены были несколько ослабить бюрократические тиски и идейно-политический гнет, в котором находились советская наука и культура. Возникли возможности для более свободного выражения представителями творческой интеллигенции собственных, зачастую не совпадавших с официальной точкой зрения, мнений. В ЦК ВКП(б) стала поступать информация об отступлении ряда историков от канонов официальной методологии и предписанных свыше трактовок исторических событий. Заместитель директора Института истории А. М. Панкратова писала, в частности, в Центральный комитет партии, что требования пересмотра сложившихся историографических штампов идут от представителей «школы Ключевского», которые еще сохранились и «теперь открыто гордятся своей принадлежностью к школе»¹⁰² (по-видимому, именно с такими настроениями Пичеты и связано приведенное в начале настоящего очерка его высказывание о В. О. Ключевском).

В этих условиях в статьях и выступлениях Владимира Ивановича, хотя и в несколько завуалированной форме, вновь зазвучали идеи «славянского единства». Пичета подчеркивал значение славян в борьбе с немецкой агрессией на Востоке и необходимость в связи с этим объединения славянских народов для борьбы с фашистскими захватчиками, писал о заслугах русского, других восточнославянских народов в защите независимости южных и западных славян, отмечал существование у зарубежных славян симпатий к Советскому Союзу, несущему им освобождение¹⁰³.

Проявившиеся настроения творческой интеллигенции не могли не вызвать беспокойства советского руководства. В одной из статей М. Ю. Досталь правильно отметила, что идеологи партии понимали: подъем массового патриотизма — залог грядущей победы и по этой причине не препятствовали «выходу работ, где был ослаблен классовый под-

ход в интерпретации исторических явлений в пользу их национальной составляющей»¹⁰⁴.

Однако следует постоянно иметь в виду, что это «идеологическое отступление» было только временным тактическим маневром и не означало изменения принципиальных подходов аппаратчиков ЦК ВКП(б) к национальным проблемам.

Нежелание всерьез и на сколько-нибудь длительное время смириться с тем, что, как отмечено в одном из партийных документов, отраженные в некоторых литературных и научных сочинениях чувства государственного патриотизма не были связаны с революционными традициями, классовой борьбой, интернационализмом, т. е. уходили корнями в русскую историю¹⁰⁵, проявилось уже в ходе Отечественной войны.

Весной 1944 г., когда был достигнут перелом в ходе войны и широко развернулись наступательные операции на советско-германском фронте, из недр ЦК ВКП(б) вышло негласное постановление от 1 мая «О недостатках в научной работе в области философии», которое призвано было ликвидировать признаки «вольномыслия» в философских науках¹⁰⁶.

В июне и начале июля 1944 г. ЦК партии, воспользовавшись в качестве повода письмами в высшие партийные инстанции видного советского историка А. М. Панкратовой¹⁰⁷, провел с той же целью специальное совещание историков. Панкратова, не учитывавшая политических требований момента, не понимала, по каким причинам не получил Сталинской премии коллектив авторов обобщающего труда по истории Казахстана, который она возглавляла. Она считала, что эта работа, где обличалась колониальная политика русского царизма, положительно характеризовалась национально-освободительная борьба казахов против России, высоко оценивались их антирусски настроенные лидеры, написана по канонам «марксизма-ленинизма» и заслуживает награды. В то же время Панкратова оценивала как антимарксистскую и подвергала резкой критике позицию Е. В. Тарле и других историков, делавших акценты в интерпретации событий прошлого на их национально-патриотические аспекты.

На совещание, проходившее под председательством секретаря ЦК А. С. Щербакова, получили приглашения все наиболее видные, в том числе и беспартийные, специалисты в области исторических наук. Принял участие в совещании и В. И. Пичета. Партийные аппаратчики тщательно готовили эту встречу, о чем свидетельствует специально составленная в Отделе пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) записка от 18 мая

1944 г. «О серьезных недостатках и антиленинских ошибках в работе некоторых советских историков»¹⁰⁸. В записке осуждались как ошибки Панкратовой, так и работы, написанные учеными, выступавшими с противоположных позиций. Однако в центре внимания авторов записки оказалась как раз критика тех историков, которые не были согласны с оценкой России как «жандарма Европы», не считали классовую борьбу важнейшей движущей силой истории, пытались объективно оценить результаты и следствия колониальной политики царизма. В записке были заранее определены и объекты для критики.

Вопреки планам составителей записки (она подписана заведующим Отделом пропаганды и агитации Г. Ф. Александровым, его заместителем П. Н. Федосеевым, главным редактором «Правды» П. Н. Поспеловым — все они впоследствии стали академиками), совещание пошло не по намеченному для него пути. Противники Панкратовой сумели развернуть с ней и ее сторонниками научную дискуссию, в ходе которой убедительно обосновывали и защищали свои взгляды. Попытки одернуть и поставить на место носителей «антиленинских ошибок» встречали отпор. Например, Б. Д. Греков, которого работавший в то время в ЦК Е. Н. Городецкий критиковал за отказ от классовой оценки феодального и буржуазного государств, проявившейся, якобы, в высказываниях ученого о нераздельности интересов народа и государства¹⁰⁹, прямо заявил, что Городецкий его не убедил. «Государство являлось организацией господствующего класса, осуществляющей интересы, нередко совпадающие с интересами народа», — подчеркнул Греков¹¹⁰.

А. М. Панкратова подготовила после совещания для своих единомышленников «Записку о моих впечатлениях и выводах по поводу совещания историков в ЦК ВКП(б)» с изложением восприятия ею прошедших обсуждений¹¹¹. В ней Панкратова, между прочим, с неудовольствием отмечала, что «совещание ведется в крайне академических тонах», упрекала своих союзников — Е. Н. Городецкого за отсутствие остроты в критике¹¹², И. И. Минца — за непоследовательность и двойственность позиции¹¹³, М. В. Нечкину — за то, что та ставила вопросы, но не давала на них ответы¹¹⁴.

В. И. Пичета выступил на совещании с целью попытаться убедить партийных идеологов в необходимости отказа в новых условиях, «когда славянский вопрос в жизни России и русского народа имеет громадное значение»¹¹⁵, от узкоклассовой трактовки взглядов славянофилов и объявления их однозначно реакционными. Отметив, что в советской науке «славянофилы были названы реакционерами с разными оговорками, а западни-

ки — прогрессистами», он назвал эту точку зрения «совершенно неправильной».

Пичета охарактеризовал славянофилов как выразителей «известного чувства народного самосознания формирующейся русской нации», заявил о законности их возмущения высказываниями Гегеля о славянах как некоей промежуточной ступени между европейцами и азиатами, а также вновь, как и в своей давней статье о В. О. Ключевском, высказал мысль о плодотворности славянофильских взглядов на исторический процесс. «У славянофилов субъектом истории был народ», — говорил Пичета, и поэтому они «стояли на более здоровой и правильной точке зрения», чем западники, придерживавшиеся гегельянского понимания истории. «Разве в этом сущность исторического процесса? Разве это не есть полное отрицание известного чувства национального самосознания?» — риторически вопрошал зал ученый, имея в виду гегелевское понимание истории, разделявшееся западниками. В заключение этой части выступления В. И. Пичета подчеркнул, что, по его мнению, «нельзя весь вопрос о славянофилах и западниках рассматривать по трафарету — как реакционеров и прогрессистов [...]. Этот вопрос надо пересмотреть»¹¹⁶.

Владимир Иванович остановился также на трактовке ряда конкретных вопросов истории славян. Он высказал мнение, что захватническая политика царской России на Востоке «объективно [...] содействовала развитию национальной культуры и политическому возрождению славянских народов». Пичета заявил о выдающейся роли Российского государства в защите интересов сербского и болгарского народов во время русско-турецких войн XIX в. и призвал об этом «говорить более объективно и не замалчивать то, что раньше замалчивали»¹¹⁷.

Ученый говорил далее о польском вопросе в XIX в. и о характере польских восстаний 1830 и 1864 гг. Он отметил, в частности, наличие сходства и указал на различия программ консервативной и революционной группировок польских повстанцев.

Им были затронуты также темы о роли Киевского государства как общей колыбели русского, белорусского и украинского народов, о взаимоотношениях славянских народов и Запада, о необходимости отпора пангерманизму.

Выступление В. И. Пичеты было проникнуто любовью к Родине, в нем явственно звучали патриотические мотивы. Может быть, именно поэтому высказанные ученым взгляды были несовместимы с установками, разработанными перед совещанием. Эти взгляды не понравились и А. М. Пан-

кратовой. Она отметила в записке, что выступление Пичеты «было несколько сумбурно и внутренне противоречиво, а, главное, в нем не было четкой классовой марксистской позиции»¹¹⁸.

Отсутствие у Владимира Ивановича марксистского подхода Панкратова усмотрела в том, что он говорит «о славянстве вообще, без малейшей попытки конкретно показать это движение и в классовом, а не только в национальном разрезе», что он вместе с «фактическими реставраторами “основ” дворянско-буржуазной историографии (Тарле и др.)» по сути оправдывает царизм и не признает его «жандармом Европы»¹¹⁹. Вместе с тем Панкратова хорошо уловила патриотический подтекст выступления Пичеты и, как и Б. Д. Грекова, отнесла его к «заслуженным, честным и искренним историкам, которые еще не вполне овладели марксизмом в истории» и ошибки которых «скорее проистекают из “чувства” (они хорошие патриоты) и недостатка знаний в области теории»¹²⁰.

Выступление В. И. Пичеты было подвергнуто на совещании критике старой большевичкой, автором работ о В. И. Ленине и Октябрьской революции Э. Б. Генкиной. Отметив правильность выделения В. И. Пичетой прогрессивных черт славянофильства, она вместе с тем обвинила ученого в том, что он «поставил так вопрос: западники — гегельянцы, а славянофилы — шеллингианцы», что «смысл его выступления сводился к тому, что раз западники — гегельянцы, значит, реакционеры». На реплику В. И. Пичеты, возмущенного беззастенчивым передергиванием своих высказываний, «я так не говорил», Генкина безапелляционно заявила, что «так можно было понять». «Это неправильный вывод из постановления ЦК по философии, — продолжала Генкина, — все, что от Гегеля, все реакционно». Далее она выразила несогласие с характеристикой ученым славянофилов как выразителей национального самосознания русского народа. Эта роль была однозначно отведена Герцену, Белинскому и в целом левому крылу западников. Завершила Генкина свою отповедь Пичете утверждением, что «славянофильство — это все же реакция на революционное движение на Западе, это попытка запереть все двери и окна от революционного сквозняка, который дул с Запада»¹²¹.

Совещание не достигло целей, которые ставили перед собой организаторы. По его итогам не было даже принято обещанного историкам постановления ЦК партии¹²². Однако позиции партийных идеологов проявились на совещании достаточно отчетливо. Вряд ли В. И. Пичета мог питать после него надежды, что ему и другим ученым будет позволено непредвзято исследовать идеологию славянофилов, выяснять их истинную роль в общественной жизни и взгляды по «славянскому вопросу».

Не изменились в этом отношении партийные установки и после окончания войны. В первые послевоенные годы Владимир Иванович популяризировал многовековые политические и культурные межславянские контакты, вновь возвращаясь в этой связи и к взглядам Ю. Крижанича на особую миссию России в деле пробуждения национального самосознания славян, и к идеям федерации славянских народов. В брошюре «Роль русского народа в исторических судьбах славянских народов» (М., 1946) он, наряду с приведенными выше темами, рассматривает также вопрос об интересе к славянству в чешской исторической науке XVII в.

Осуждая «политику великодержавного панславизма», которую проводило царское правительство, определяя панславизм как «реакционное течение, отрицавшее за славянскими народами право на национально-политическое самоопределение»¹²³, Пичета в то же время утверждал, что чешские ученые выдвигали «среди славян [...] на первое место русский язык. Так крепло в Чехии сознание о единстве славянских народов, среди которых русский народ занимает первое место»¹²⁴.

Таким образом, в одной из последних работ Пичеты наряду с критикой панславизма вновь возникают (правда, в завуалированной форме) романтические представления юности ученого о духовном главенстве России в славянском мире, против которых он в зрелые годы активно выступал. Впрочем, по всей вероятности, это не было искренним возвращением к прежним воззрениям, а вызывалось необходимостью считаться с «новыми веяниями» в политике советского руководства, возрождавшего на новой основе «марксизма-ленинизма» имперские взгляды на славянские народы, обязанные, согласно воле Сталина, следовать в фарватере советской политики.

Владимир Иванович Пичета стал поборником славянского единства еще в юношеские годы. Впоследствии сформировались также его социалистические убеждения. С популяризацией идей «славянской солидарности» Пичета открыто выступал до Октября 1917 г., но вынужден был в Советской России сместить акценты и избрать путь научного изложения истории славян в форме трудов, посвященных независимым славянским странам. В то же время в работах историка до последних дней прослеживается приверженность былым взглядам на славянство. Наиболее плодотворным для В. И. Пичеты оказалось научное исследование славянского мира. Оно позволило ученому, пережившему трагедию лишения свободы и отлучения от науки, вернуться к творческой работе и встать во главе возрождающейся отечественной исторической славистики.

Примечания

¹ Горяинов А. Н. В. И. Пичета как поборник единства славян и сторонник идей социализма // Славянский альманах, 2001. М., 2002. С. 286—303; *Он же*. Трагическая страница биографии В. И. Пичеты в свете одной стенограммы 1928 г. // Славяноведение. 2002. № 1. С. 62—72; *Он же*. Тюремная запись В. И. Пичеты 1931 г. на книге Л. П. Гроссмана «Записки д'Аршиака» // Археографический ежегодник за 2001 год. М., 2002. С. 188—190; *Он же*. Протоиерей Иоанн Пичета и его потомки: (из родственных связей Душана Семиза) // Ученский сб. Мышкин, 2003. Вып. 4/5. С. 86—94; Горяинов А. Н., Иванов Ю. Ф. Новое об академике В. И. Пичете // Вопросы истории славян. Воронеж, 2004. Вып. 16. С. 3—34.

² Карасев В. Г. И. Х. Пичета (1844—1920) // Славяне в эпоху феодализма: к столетию академика В. И. Пичеты. М., 1978. С. 135—149.

³ Соколовский Л. Г. Протоиерей Иоанн Пичета // Московский журнал. 1998. № 1. С. 39—45.

⁴ Рождественская М. В. Душа Иванова Семиза: «Сербская голофа» // Опочининские чтения. Мышкин, 1998. Вып. 6. С. 27—30.

⁵ См.: Руколь Б. М. В. И. Пичета — педагог и пропагандист идеи общности исторического развития славян: Новые архивные материалы // Историческая славистика в МГУ, 1989—1999. Сб. ст. и м-лов. М., 2000. С. 58.

⁶ Королюк В. Д. Владимир Иванович Пичета // Славяне в эпоху феодализма... С. 5.

⁷ Пичета В. И. Юрий Крижанич — первый провозвестник идей панславизма: [Краткое изложение доклада на заседании Екатеринославского научного общества 8 ноября 1903 г.] // Вестник Екатеринославского земства. 1903. № 5. С. 16—17; *Он же*. Записка Юрия Крижанича о Малороссии // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. Екатеринослав, 1904. [Т. 1.] С. 1—17; *Он же*. Экономические и политические взгляды Юрия Крижанича в связи с внутренним состоянием России во второй половине XVII в. // Там же. 1904. Т. 2. С. 47—68 (паг. 2-я).

⁸ Е. П. Наумов в статье «Юрий Крижанич в трудах академика В. И. Пичеты» (Советское славяноведение. 1983. № 5. С. 107—115) и ее хорватском варианте (Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb, 1985. T. 410. Knj. 23. S. 129—141) справедливо отмечает, что замысел молодого Пичеты изучать идеи славянской общности в сочинениях Крижанича и его деятельность в России «в сложном комплексе русской и славянской политической мысли XVII в., во взаимосвязи с положением славянских народов в XVII и XX в.» «был весьма интересен», но, вместе с тем, считает, что это краткое изложение не было авторизовано, там «встречаются и прямые ошибки, поэтому неверно было бы называть ее статьей самого Пичеты». Последние утверждения, однако, никак не обосновываются, причем не указывается, какие ошибки имелись в виду.

⁹ Пичета В. И. Юрий Крижанич — первый провозвестник... С. 16.

¹⁰ Пичета В. И. Записка Юрия Крижанича... С. 2—3.

¹¹ Там же. С. 1.

¹² Пичета В. И. Юрий Крижанич — первый провозвестник... С. 16.

¹³ Там же.

¹⁴ *Руколь Б. М.* Указ. соч. С. 60.

¹⁵ *Белкин А. А.* Бродский // Краткая литературная энциклопедия. М., 1962. Т. 1. Стб. 743—744; *Николай Леонтьевич Бродский, 1881—1951* // Литература в школе. 1951. № 5. С. 79—80; *Гудзий Н. К.* От редактора // *Бродский Н. Л.* Избр. труды. М., 1964. С. 5—8; *Пустовойт П. Г.* Н. Л. Бродский (1881—1951) // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1993. № 6. С. 81—83; *Он же.* Николай Леонтьевич Бродский // А. С. Пушкин и Московский университет. М., 1999. С. 33—36.

¹⁶ *Пичета В. И.* Исторические взгляды и методологические приемы В. О. Ключевского // Известия Общества славянской культуры. М., 1912. Т. 1. Кн. 1. С. 13—29.

¹⁷ *Ненашева З. С.* Идеино-политическая борьба в Чехии и Словакии в начале XX в.: чехи, словаки и неославизм, 1898—1914. М., 1984. 240 с.; *Дьяков В. А.* Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М., 1993. С. 147—187.

¹⁸ Отчет о деятельности Общества за 1908 и 1909 гг. // Известия Общества славянской культуры. М., 1912. Т. 1. Кн. 1. С. 117—123.

¹⁹ Список членов Общества славянской культуры к 1-му января 1912 года // Известия Общества славянской культуры. М., 1912. Т. 1. Кн. 2. С. 96—100.

²⁰ *Кельнер В. К., Колоницкий Б. И.* Книгоиздательская деятельность группы «Единство» в 1917 г. // Книжное дело в России во второй половине XIX — начале XX в. М., 1992. Вып. 6. С. 97—111.

²¹ *Вознесенский С. В.* Русская литература о славянстве: (Опыт библиографического указателя). Пг., 1915. С. 3.

²² *Пичета В. И.* Юрий Крижанич // Юрий Крижанич: экономические и политические его взгляды: [Избр. главы из «Политики» Ю. Крижанича / Публ. В. И. Пичеты]. СПб., 1914. С. 1—16 (как считает в одной из упомянутых выше статей Е. П. Наумов, книга вышла в свет не позже 1913 г.); *Он же.* Юрий Крижанич о политике Москвы по отношению к Украине в XVII веке // Украинская жизнь. М., 1915. № 3/4. С. 169—170.

²³ Письма М. Г. Черняева и П. А. Кулаковского к И. С. Аксакову о Сербии в 1880—1882 гг. // Голос минувшего. 1915. № 9. С. 232—249.

²⁴ Там же. С. 232.

²⁵ Там же. С. 233.

²⁶ *Пичета В. И.* Сербия. М., 1917. С. 7.

²⁷ *Пичета В. И.* Юрий Крижанич... С. 9—10.

²⁸ *Пичета В. И.* Драма болгарского народа: борьба за национальное объединение Болгарии. М., 1914/1915. С. 27—28.

²⁹ *Готье Ю. В.* Мои заметки. М., 1997. С. 39.

³⁰ Единство. М., 1918. 5.VI. № 3. С. 11.

³¹ *Пичета В. И.* Исторический очерк славянства; *Ноксимович Ч. М.* Состав современно-го славянства. М., 1914. С. 1.

³² Публикацию см.: Новый мир. 1969. № 1. С. 127—128.

³³ *Пичета В. И.* Исторический очерк славянства... С. 184.

- ³⁴ Журнал заседания Общества славянской культуры 17-го мая 1909 года // Изв.естия Общества славянской культуры. М., 1912. Т. 1. Кн. 1. С. 150.
- ³⁵ Список членов Общества... С. 96—100.
- ³⁶ Цит. по: *Иоффе Э. Г.* Академик В. И. Пичета (1878—1947) // Новая и новейшая история. 1996. № 5. С. 218.
- ³⁷ *Пичета В. И.* Первые русские социалисты. М., 1917. С. 4—5.
- ³⁸ Там же. С. 31.
- ³⁹ *Готье Ю. В.* Указ. соч. С. 117.
- ⁴⁰ *Пичета В. И.* Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-русском государстве. М., 1917. Ч. 1—2 (первый том защищен в качестве магистерской, второй — докторской диссертаций). Подробнее о монографии В. И. Пичеты см.: *Иоффе Э. Г.* Исследование В. И. Пичетой аграрной реформы 1557 года // Советское славяноведение. 1972. № 3. С. 21—30; *Досталь М. Ю.* Пичета Владимир Иванович (1878—1947) // Историки России: Биографии. М., 2001. С. 572—573.
- ⁴¹ Арх. РГБ. Оп. 1. Д. 869 а. Ч. 6. Л. 6—7.
- ⁴² *Пичета В. И.* История белорусского народа // Курс белорусоведения: Лекции, читанные в Белорусском народном университете в Москве летом 1918 года. М., 1918—1920. С. 1—84.
- ⁴³ *Пичета В. И.* [Рец. на кн.:] Н. Radziszewski. Polska idea ekonomiczna. Warszawa, 1918 // Книга и революция. М., 1921. Кн. 3. С. 195—196.
- ⁴⁴ История Государственной ордена Ленина библиотеки СССР имени В. И. Ленина за 100 лет, 1862—1962. М., 1962. С. 80.
- ⁴⁵ Подробнее о вкладе В. И. Пичеты в изучение истории Белоруссии и о его роли в создании Белорусского государственного университета см.: *Улащик Н. Н.* В. И. Пичета в первые годы существования Белорусского государственного университета // Славяне в эпоху феодализма... С. 68; *Он же.* «История белорусского народа» В. И. Пичеты и ее роль в изучении истории Белоруссии // История и историки, 1980. М., 1984. С. 175—186.
- ⁴⁶ Работы В. И. Пичеты по названной тематике (с некоторыми пропусками) перечислены в библиографии: *Дукор Е. Я.* Владимир Иванович Пичета: Биобиблиогр. указатель. Минск, 1978. С. 37—51.
- ⁴⁷ *Пичета В. И.* Белорусский язык как фактор национально-культурный. Минск, 1991. 31 с.
- ⁴⁸ *Конон В.* Владимир Пичета как деятель белорусской культуры // Неман. 1989. № 4. С. 113—115.
- ⁴⁹ Там же. С. 114.
- ⁵⁰ *Пичета В. И.* Белорусский язык как фактор... С. 10.
- ⁵¹ Там же.
- ⁵² *Королюк В. Д.* Указ. соч. С. 15.
- ⁵³ *Пичета В. И.* Две культуры на Белоруссии: (культура XVI в. и культура социалистическая) // Советское строительство. Минск, 1928. № 3/4. С. 131—146.

⁵⁴ *Дмитриев М. В.* История славянских культур и религиозно-общественных движений в исследованиях В. И. Пичеты // 50 лет славистики в Московском государственном университете. М., 1989. С. 48.

⁵⁵ Академик В. И. Пичета: страницы жизни. Минск, 1981. С. 10—21, 30—37; *Мельцер Д. Б.* Академик Владимир Иванович Пичета // *Дукор Е. Я.* Владимир Иванович Пичета: Биобиблиограф. указатель. Минск, 1978. С. 14—15; *Иофе Э. Г.* Праздусе выпрабаванні // Настаўніцкая газета. Мінск, 1989. 15.III.

⁵⁶ Деятельности ВАРНИТСО посвящены три аналогичные по содержанию статьи: *Тугаринов И. А.* ВАРНИТСО и Академия наук СССР // Вопросы естествознания и техники. 1989. № 4. С. 46—55; *Он же.* История ВАРНИТСО, или Как ломали Академию в год великого перелома // Природа. 1990. № 7. С. 92—101; *Он же.* ВАРНИТСО и идеологизация науки // Философские исследования. 1993. № 3. С. 139—153.

⁵⁷ *Тугаринов И. А.* История ВАРНИТСО... С. 96.

⁵⁸ Бюллетень ВАРНИТСО. М., 1928. № 2. Стенографический отчет I Всесоюзной конференции ВАРНИТСО (23—26 апреля 1928 г.). С. 7—28.

⁵⁹ Там же. С. 40—41.

⁶⁰ Там же. С. 50.

⁶¹ Там же. С. 52.

⁶² Там же. С. 59.

⁶³ Там же. С. 75.

⁶⁴ Там же. С. 61.

⁶⁵ Там же. С. 77—78.

⁶⁶ Там же. С. 167.

⁶⁷ Там же. С. 168.

⁶⁸ *Тугаринов И. А.* ВАРНИТСО и идеологизация науки... С. 138.

⁶⁹ *Конон В.* Указ. соч. С. 113—115.

⁷⁰ Там же. С. 115.

⁷¹ *Пичета У. І.* Атака з нягоднымі сродкамі // Савецкая Беларусь. 1929. 8.III.

⁷² Там же.

⁷³ Цит. по: *Конон В.* Владимир Пичета как деятель... С. 115.

⁷⁴ *Пичета У. І.* Атака з нягоднымі сродкамі...

⁷⁵ *Иоффе Э. Г.* Академик В. И. Пичета... С. 219.

⁷⁶ *Иванов Ю. Ф.* Когда и как был освобожден В. И. Пичета // Вопросы истории. 2000. № 7. С. 174.

⁷⁷ *Иоффе Э. Г.* Академик В. И. Пичета... С. 219.

⁷⁸ *Мельцер Д. Б.* Академик Владимир Иванович Пичета... С. 15.

⁷⁹ *Конон В.* Указ. соч. С. 115.

⁸⁰ Академик В. И. Пичета: Страницы жизни... С. 124.

⁸¹ *Иоффе Э. Г.* Академик В. И. Пичета... С. 219—220. См. также: Академическое дело 1929—1931 гг. СПб., 1993. Вып. 1. С. 6.

⁸² *Иоффе Э. Г.* Академик В. И. Пичета... С. 219.

⁸³ «Мне же они совершенно не нужны»: Семь писем из архива акад. М. Н. Покровского // Вестник РАН. 1992. № 6. С. 109.

⁸⁴ Академическое дело... Вып. 1. С. V.

⁸⁵ *Иофе Э. Г.* Праз усе выпрабаванні...; *Брачев В. С.* «Дело» академика С. Ф. Платонова // Вопросы истории. 1989. № 5. С. 126.

⁸⁶ «Мне же они совершенно не нужны»... С. 110.

⁸⁷ «Я написал в тюрьме 120 печатных листов по истории народного хозяйства и культуре Белоруссии, я написал польскую историографию за 10 л[ет], написал о “Русской правде” как памятнике феодального права. У меня написана половина работы о “Крестьянской реформе 1861 г. в Московской губернии”. Я написал часть исследования “Россия и Западная Европа в 1830 г.” и о “Западном Комитете 1830 г.” и многое другое», — сообщил Покровскому В. И. Пичета. Поражает совершенно невероятный объем написанного Владимиром Ивановичем в тюрьме, остается предположить, что ученый преувеличивал результаты работы в заключении, чтобы доказать Покровскому плодотворность своей научной деятельности.

⁸⁸ *Иванов Ю. Ф.* Указ. соч. С. 174.

⁸⁹ *Соколовский Л. Г.* История одной семьи: Йован Пичета и его потомки // Вопросы истории. 1999. № 9. С. 141.

⁹⁰ *Иванов Ю. Ф.* Указ. соч. С. 174.

⁹¹ «Мне же они совершенно не нужны»... С. 110.

⁹² Там же. С. 111—112.

⁹³ *Иванов Ю. Ф.* Указ. соч. С. 174.

⁹⁴ Там же.

⁹⁵ Там же. С. 174—175.

⁹⁶ *Иоффе Э. Г.* Академик В. И. Пичета... С. 221.

⁹⁷ *Иванов Ю. Ф.* Указ. соч. С. 174—175.

⁹⁸ *Иоффе Э. Г.* Академик В. И. Пичета... С. 221.

⁹⁹ Академическое дело... Вып. 1. С. XLIX.

¹⁰⁰ *Пичета В. И.* Автобиография // Историки-слависты Московского университета, 1939—1979 гг.: К 40-летию кафедры истории южных и западных славян. М-лы и док. М., 1979. С. 69.

¹⁰¹ Подробнее см.: *Досталь М. Ю.* Славянская идея и славяноведение в годы Великой Отечественной войны // Славянский альманах, 2001. М., 2002. С. 305.

¹⁰² Цит. по: *Амиантов Ю. Н.* [Введение к публикации]: Стенограмма совещания по вопросам истории СССР в 1944 году // Вопросы истории. 1996. № 2. С. 48.

¹⁰³ См., например, ряд статей В. И. Пичеты в сборнике: *Вековая борьба западных и южных славян против германской агрессии*. М., 1944. 223 с.

¹⁰⁴ *Досталь М. Ю.* Сектор славяноведения Института истории АН СССР // *Славянский альманах*, 2002. М., 2003. С. 273.

¹⁰⁵ *Амиантов Ю. Н.* Указ. соч. С. 49.

¹⁰⁶ Там же.

¹⁰⁷ *Письма Анны Михайловны Панкратовой* / Публ. Ю. Ф. Иванова // *Вопросы истории*. 1988. № 11. С. 54—89.

¹⁰⁸ Публикацию см.: *Новые документы о совещании историков в ЦК ВКП(б) (1944 г.)* / Публ. И. В. Ильиной // *Вопросы истории*. 1991. № 1. С. 188—205.

¹⁰⁹ *Стенограмма совещания по вопросам истории СССР в 1944 году* // *Вопросы истории*. 1996. № 4. С. 83.

¹¹⁰ Там же. С. 86.

¹¹¹ Публикацию см.: *Письма Анны Михайловны Панкратовой*. С. 56—87.

¹¹² Там же. С. 69.

¹¹³ Там же. С. 62.

¹¹⁴ Там же. С. 60.

¹¹⁵ *Вопросы истории*. 1996. № 4. С. 66.

¹¹⁶ Там же.

¹¹⁷ Там же.

¹¹⁸ *Письма Анны Михайловны Панкратовой*. С. 64.

¹¹⁹ Там же.

¹²⁰ Там же. С. 70.

¹²¹ *Вопросы истории*. 1996. № 5/6. С. 92—94.

¹²² «Тов[арищ] Щербаков заявляет, что будет выработано решение по принципиальным вопросам и своевременно будет доведено до всех историков», — отметила А. М. Панкратова (*Письма Анны Михайловны Панкратовой*. С. 79).

¹²³ *Пичета В. И.* Роль русского народа в исторических судьбах славянских народов. М., 1946. С. 46.

¹²⁴ Там же. С. 40.

Семейные истоки формирования личности и начало научной биографии С. А. Никитина

Автор помнит крупного отечественного историка-слависта Сергея Александровича Никитина как профессора и заведующего кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета МГУ, на которой учился в 1947—1952 гг. В отличие от других профессоров и преподавателей, Сергей Александрович был окружен как бы некоторой загадочностью. Вокруг него на кафедре кипели страсти, о нем ходили разные, порой даже ужасные, на взгляд студентов, слухи, а он, как казалось, совсем не обращал на них внимания. Почему Никитин молчал, когда его обвиняли в таких страшных, по тем временам, грехах, как буржуазный объективизм и политическая индифферентность? Почему не являлся членом партии, что было тогда почти обязательным для профессора истфака? На эти вопросы не находилось ответа ни при жизни мэтра, ни в течение нескольких лет после его кончины. Загадка, быть может, лежала в каких-то давних событиях, но о начале творческой биографии ученого было известно до обидного мало. Обычно научное творчество С. А. Никитина более или менее подробно рассматривалось лишь с момента прихода ученого на кафедру истории южных и западных славян Московского университета. О его предыдущей научной деятельности сообщают лишь сухие перечни работ в библиографиях¹, причем при просмотре списков обращает на себя внимание одна странность: за период 1928—1936 гг. в них фигурирует только одна рецензия С. А. Никитина, да и то подписанная псевдонимом².

В связи с почти полным отсутствием материалов о молодых годах ученого автор настоящей работы поставил своей целью разыскать хотя бы самые минимальные сведения о семье, в которой прошло становление личности С. А. Никитина. На занятия этой темой его однажды натолкнул ученик Сергея Александровича профессор В. Г. Карасев, обмолвившийся, что дядя Никитина был личным врачом Л. Н. Толстого. Захотелось выяснить, есть ли какие-нибудь материалы об этом враче и как они могут помочь в изучении молодости маститого историка. Разыскания привели к интересным и неожиданным находкам, связанным с юностью Сергея

Александровича. А в связи с 90-летием со дня рождения ученого коллеги автора Л. П. Петровскому удалось изучить некоторые неизвестные ранее его биографам архивные материалы о С. А. Никитине и сделать из них подробные выписки. Материалы Петровского легли в основу совместного сообщения на научной конференции «Россия и славяне», опубликованного в 1992 г.³ Таким образом, все более ясно вырисовывалась картина событий, определивших становление С. А. Никитина как человека и ученого. Ниже подводятся итоги проведенным разысканиям.

Для получения сведений о враче Никитине естественно было обратиться в Государственный музей Л. Н. Толстого. Это обращение сразу же дало положительный результат: в музее нашлись ценнейшие материалы о Никитиных. Хотя они преимущественно относятся к дяде Сергея Александровича, в документах рассеяны крупницы различных сведений и о других членах семьи. Имеющиеся материалы интересны, в частности, потому что раскрывают взгляды личного врача Толстого, во многом созвучные убеждениям Сергея Александровича Никитина.

Врач Дмитрий Васильевич Никитин родился 14 сентября 1874 г. в селе Дмитровский Погост Егорьевского уезда Рязанской губернии в многодетной семье. Его отец, дед Сергея Александровича, был сельским священником, а мать — учительницей французского и английского языков. Родители Дмитрия Васильевича принадлежали к сельской интеллигенции. Являясь потомственными сельскими жителями, они получили хорошее образование: о. Василий Никитин окончил сначала духовную семинарию, а затем Московскую духовную академию⁴, его жена, завершив обучение в пансионе князя Волконского в Зарайске⁵, в 1856—1858 гг., до замужества, преподавала в этом пансионе⁶.

В семье и 1-й рязанской мужской классической гимназии, которую Дмитрий окончил в 1897 г. с золотой медалью⁷, он получил отличное воспитание, изучил французский, английский и немецкий языки. Затем Д. Никитин стал студентом медицинского факультета Московского университета, где проявил склонность к научной работе⁸, там сформировались также его демократические убеждения. В 1897 г. молодой Никитин получил университетский диплом, а в следующем году поехал в качестве врача-консультанта на строительство Павелецкой железной дороги, где изучал условия работы, быт и состояние здоровья рабочих (впоследствии впечатления от этой поездки он изложил в журнале В. Г. Короленко «Русское богатство»)⁹.

Недолгая работа земским врачом в Рязанской губернии сразу после окончания университета убедила молодого медика в том, что он еще недостаточно подготовлен к самостоятельной врачебной деятельности. Дмитрий Никитин уехал в Москву и стал ординатором в клинике известного русского терапевта А. А. Остроумова. Весной 1902 г. он успешно завершил ординатуру, поверил в свои силы и, видимо, решил заняться частной практикой¹⁰. Однако как раз тогда Д. В. Никитин получил приглашение стать домашним врачом Л. Н. Толстого, который по настоянию медиков жил в это время в Крыму, в Гаспре, и которого там преследовали различные болезни.

Никитин хорошо понимал ответственность, ложившуюся на него в случае принятия предложения. Он знал также от своих коллег, лечивших ранее Л. Н. Толстого, что тот недоверчиво и во многом негативно относится к медицине. В то же время Дмитрий Васильевич дважды видел Льва Николаевича, и тот произвел на него неизгладимое впечатление. По свидетельству близкого знакомого семьи Толстых В. А. Дунаева, Никитин «был очень рад поехать, так как любит Льва Николаевича и очень ценит его»¹¹. Ответ на лестное для него предложение Никитин дал не сразу. Предварительно он советовался с матерью, приехавшей в Москву, и с другими родственниками¹², а также, видимо, с пользовавшимися доверием Л. Н. Толстого врачами и другими коллегами.

30 марта 1902 г. Дмитрий Васильевич прибыл в Гаспру, и, как пишет Г. А. Кулижников, «довольно-таки быстро обрел авторитет у своего знаменитого, но не очень-то послушного пациента»¹³. Впрочем, С. А. Толстая признала его за своего человека не сразу. В первые дни пребывания у Толстых Дмитрия Васильевича она характеризовала его в своем дневнике как «довольно легкомысленного» человека¹⁴, а затем между ней и Никитиным, в связи с настоятельным желанием Софьи Андреевны немедленно перевезти мужа в Ясную Поляну, возник конфликт: врач Толстого считал «такую поспешность ненужной и даже опасной...» В результате Никитин заявил, что проводит Толстых в их имение, а спустя 3—4 дня «уедет совсем», однако отказался от этого намерения, приняв извинения Софьи Андреевны. «Меня очень тронула прямота С. А. и то, что она не постеснялась признаться в своей неправоте, мы помирились, и я остался...», — пишет Д. В. Никитин в своих неопубликованных воспоминаниях¹⁵.

Д. В. Никитин сравнительно быстро стал своим в семье Толстых. Он познакомился и подружился также со многими людьми, окружавшими великого писателя или бывавшими у него, в том числе с М. Горьким (ко-

того же лечил в Крыму), А. П. Чеховым, В. Г. Короленко, Л. Н. Андреевым, Ф. И. Шаляпиным, В. В. Стасовым, А. Ф. Кони, А. Б. Гольденвейзером. Писатель С. Г. Петров (Скиталец) набросал в своих воспоминаниях живой портрет Никитина. «Тогдашний домашний врач (Л. Н. Толстого. — А. Г.), Никитин, частенько заходил ко мне [...], — вспоминал Скиталец. — Мало-помалу мы подружились с этим симпатичным юношей, каким он тогда был: по внешности Никитин походил больше на студента последнего курса, чем на врача [...]»¹⁶.

Дмитрий Васильевич успешно выполнял свои врачебные обязанности, и Лев Николаевич высоко ценил его знания и опыт. «Он очень внимательный человек и знает все, что знает теперь медицина», — писал 5 июня 1903 г. Толстой брату Сергею¹⁷. В свободное время Д. В. Никитин помогал Толстому в переписке рукописей, выполнял отдельные секретарские дела, вел амбулаторный прием крестьян. Помощь крестьянам вызвала негативную реакцию местных властей, потребовавших от Никитина представления медицинской отчетности. Соответствующая переписка была прекращена только после отъезда Дмитрия Васильевича из Ясной¹⁸.

В начале 1903 г. серьезно заболела мать Д. В. Никитина, и 1 февраля он надолго уехал в Дмитровский Погост. Похоронив мать, Дмитрий Васильевич снова вернулся к Толстым¹⁹, но вскоре уехал совершенствоваться в Париж, где посещал лекции и знакомился с клиниками широко известных в медицинском мире профессоров Видаля и Шеффера, выезжал в Англию, где встречался с В. Г. Чертковым и П. А. Кропоткиным. У Кропоткина собрались русские революционеры, и все собравшиеся отмечали Новый год по старому стилю, причем хозяин был очень любезен и много говорил о политике, предсказав, между прочим, скорое начало Русско-японской войны²⁰.

Впоследствии Дмитрий Васильевич, любивший путешествовать, побывал во многих странах и часто писал из них Толстым о своих впечатлениях. Он отмечал характерную для западноевропейских государств высокую культуру населения, умение людей работать, изящество и остроумие французов, основательность, простоту и любовное отношение к детям немцев. В Париже Никитин усердно знакомился с музеями, посещал выставки. Он писал С. А. Толстой во время первого посещения французской столицы, что в Лувре или Люксембургском дворце «не замечаешь, как проходит время». Передавая свои впечатления о выставке французских художников начала XX в., Дмитрий Васильевич показал, что хорошо разобрался в манере их живописи, но отметил, что она ему не понравилась. «[...]

Большинство картин, — писал он, — декадентские; краски какие-то необыкновенные: лица зеленоватые или желтоватые, какие-то экзотические платья, и все это окутано каким-то лиловым туманом и сделано очень грубыми мазками; кроме того, конечно, *le nu* играет большую роль»²¹. В канун Первой мировой войны Д. В. Никитин оказался в командировке в Германии. «Я вижу, что можно не любить немцев, — писал он из Берлина дочери Л. Н. Толстого Александре Львовне, — но нельзя их не уважать»²².

Вернувшись в феврале 1904 г. в Ясную Поляну, Никитин пришел вскоре к решению расширить рамки своей врачебной деятельности. Он претендовал на вакантное место врача в Тульской земской больнице, где смог бы продолжать «быть полезным» Л. Н. Толстому и его семье. Однако в результате «интриг в Туле»²³ Д. В. Никитин был, видимо, признан неблагонадежным (сохранился запрос Тульского губернского жандармского управления губернатору с просьбой сообщить сведения о враче)²⁴, и в результате не был избран земством. Пришлось обосноваться в Звенигороде, где Дмитрию Васильевичу была предоставлена должность старшего врача местной больницы. В этом, как он писал С. А. Толстой, «маленьком, но прекрасном городе»²⁵ Д. В. Никитин проработал свыше 20 лет. Здесь он не только практиковал как врач, но и вел научную работу в области бактериологии — одним из первых начал применять прививки против скарлатины, готовил по этому «чрезвычайно важному, по его общественному и научному значению» вопросу²⁶ доклад к всероссийскому Пироговскому съезду врачей.

И во время работы в Звенигороде, и позднее Дмитрий Васильевич постоянно поддерживал связи с семейством Толстых, иногда гостил у них в Ясной Поляне. Он называл «счастливым» время, проведенное под одной кровлей с Л. Н. Толстым, которое оценивал как «несколько лучших лет моей жизни»²⁷. Как отмечал в своих воспоминаниях сын Л. Н. Толстого Сергей Львович, «Дмитрий Васильевич был другом нашей семьи» и «при каждом заболевании отца с готовностью приезжал в Ясную Поляну [...]. Он лечил отца и в предсмертной его болезни»²⁸.

Накануне первой годовщины смерти Толстого в газете «Русские ведомости» появились воспоминания Д. В. Никитина «Последние дни Л. Н. Толстого». Они получили впоследствии широкую известность и неоднократно перепечатывались в посвященных Льву Николаевичу сборниках²⁹. Корреспондент «Русских ведомостей», побывавший в траурный день в Ясной Поляне, отметил, что на собравшихся в имении Толстого родственников и друзей писателя «особенно сильное впечатление произвела статья

доктора Никитина. Слушатели, следя за его рассказом, еще раз пережили астаповские дни»³⁰.

В 1916 г. Дмитрий Васильевич, которому было «как-то совестно сидеть в тылу»³¹, в качестве врача отправился добровольцем на Западный фронт, но скоро был ранен и вернулся в Звенигород. Он восторженно встретил Февральскую революцию, стал активно работать в органах новой власти как товарищ (т. е. заместитель) комиссара Временного правительства по Звенигородскому уезду, поддерживал правительственный курс на продолжение военных действий. Октябрьский переворот Д. В. Никитин в письмах к Толстым считал причиной «ужаса, который всех нас окружает»³². Он писал, что под властью большевиков «Россия пропала навсегда и стала рабой Германии, которая вправе теперь смотреть на нас действительно как на славянский народ для удобрения немецких нив»³³.

В 1924—1929 гг. Дмитрий Васильевич пытался перебраться в Москву, но закрепиться на работе в столице ему не удавалось. Лишь в 1929 г. Д. В. Никитин смог занять никак не соответствовавшую его опыту и знаниям должность ординатора московской Бабухинской (бывшей Старо-Екатерининской) больницы. Впрочем, он, очевидно, показал себя там с самой лучшей стороны, поскольку вскоре стал старшим научным сотрудником созданного на базе больницы Московского клинического института, а в конце 1931 г. по просьбе М. Горького получил командировку в Италию и два с половиной месяца пробыл в Сорренто, где лечил писателя³⁴.

После возвращения из-за границы Д. В. Никитин был арестован и в октябре 1933 г. сослан на четыре года в Архангельск. Как предполагает ученик Дмитрия Васильевича Г. А. Кулижников, ссылка была связана с темами бесед между Горьким и Никитиным. «За возможную опасность этих тем Никитин, видимо, и пострадал», — пишет Кулижников³⁵. В Архангельске ссыльный Никитин работал в больницах и показал себя прекрасным врачом. По истечении срока ссылки, который, как он пишет, оканчивался в феврале 1936 г.³⁶, Дмитрий Васильевич решил остаться в Архангельске, где в декабре 1932 г. открылся медицинский институт. В 1936 г. в институте была организована кафедра инфекционных болезней, и Д. В. Никитина избрали ее заведующим, а через три года ему было присвоено звание доцента. Г. А. Кулижников, слушавший лекции Никитина в 1939/40 учебном году, вспоминает о нем как о лекторе несколько старомодного облика, но вызывавшем уважение слушателей с первого взгляда. Читал Дмитрий Васильевич без конспектов, «строго академично и настолько четко, что при желании его лекции можно было записывать по-

чти что дословно»³⁷. «Его эрудиция поражала, — пишет Кулижников. — Мы прозвали его “ходячей энциклопедией”. Он [...] стал нашим кумиром»³⁸. Вместе с тем, по словам Кулижникова, «по натуре своей Дмитрий Васильевич был [...] врачом-практиком»³⁹, и все его исследования имели научно-прикладной характер.

Когда осенью 1940 г. отмечалось 30-летие со дня смерти Л. Н. Толстого, Дмитрий Васильевич выступил с воспоминаниями о великом писателе, но его доклад разочаровал студентов отсутствием, помимо чисто литературных, иных сюжетов. «Впечатление было такое, — вспоминает Кулижников, — что он побаивался говорить лишнее, а тем более как-то афишировать свои связи с Толстым и его семейными [...]»⁴⁰. Впрочем, в неофициальной обстановке Д. В. Никитин был более словоохотлив. Среди собранных Г. А. Кулижниковым и приложенных к его работе мемуаров учеников Дмитрия Васильевича есть краткие воспоминания Т. Л. Комоликовой, по словам которой, она несколько раз по договоренности с заведующим кафедрой собирала у себя дома знакомых врачей, и Никитин рассказывал им о Толстом. «Он всегда говорил о нем с каким-то благоговением, считал, что это — титан, который рождается раз в столетие», — пишет мемуаристка⁴¹.

В годы Отечественной войны 1941—1945 гг. Дмитрий Васильевич Никитин напряженно работал. В 1944 г. мединститут торжественно отметил его 70-летие, впоследствии ему был присвоено звание «Отличник здравоохранения». В январе 1954 г. после тяжелой болезни Д. В. Никитин вышел на пенсию, получил инвалидность и перебрался к родным в Москву. Здесь он скончался 9 января 1960 г. и был похоронен на Востряковском кладбище.

Дмитрий Васильевич Никитин имел двух сестер и трех братьев. Из братьев старше Дмитрия были Николай и Александр, младше — Валериан. О Николае нам известно только, что он скончался в 1924 г.⁴² Валериан, как сообщал Д. В. Никитин в 1959 г. рязанскому краеведу С. П. Шульгину в одном из писем⁴³, был сельским учителем, долго болел и умер в возрасте около 40 лет. Видимо, именно к нему в 1903—1905 гг. Дмитрий Васильевич совершал поездки в Дмитровский Погост, о которых неоднократно упоминает в письмах к Толстым. Сестра Екатерина «была замужем в Петербурге и умерла там от голода» вместе с двумя своими детьми⁴⁴. Немного больше известно о сестре Лидии (в замужестве Булатовой). Она жила в Москве, на Большой Полянке, у нее в дореволюционные годы Дмитрий Васильевич обычно останавливался во время поездок в столицу. У Лидии

Васильевны была дочь Людмила Андреевна Воскресенская, с которой Г. А. Кулижников беседовал при подготовке биографии Д. В. Никитина. Перебравшись в Москву, Никитин жил сначала на «оставшейся от сестры» площади в коммунальной квартире, и лишь в 1958 г. обрел собственное жилье⁴⁵.

О брате Дмитрия Васильевича Александре, отце С. А. Никитина, некоторые первоначальные сведения содержатся в письме Л. Н. Толстому от 1 марта 1902 г. близкого знакомого Толстых В. А. Дунаева. Характеризуя Д. В. Никитина как умного, спокойного, обстоятельного человека и не новичка в своем деле, он отмечал, что в предлагаемом им кандидате «есть некоторая кривинка: он попович, и брат его даже поп; но по свидетельству Михайлова, с которым он вместе учит в одном из учебных заведений, поп он очень добропорядочный [...]»⁴⁶.

Как известно, Лев Николаевич Толстой резко критиковал казенную церковь и ее служителей, и Дунаев не мог не предупредить писателя о принадлежности его будущего врача к духовному сословию. Вместе с тем он передал Толстому положительное мнение об отце Сергея Александровича последователя и хорошего знакомого Толстого художника Константина Анемподистовича Михайлова, преподававшего в ряде учебных заведений Москвы. Поскольку имя «попа» в письме Дунаева не было названо, следовало выяснить, где и вместе с кем преподавал К. А. Михайлов. Это удалось сделать при просмотре адресной книги «Вся Москва» за 1902 г.⁴⁷, в которой Михайлов числится преподавателем Николаевского сиротского института — одного из благотворительных учреждений, занимавшихся призрением, воспитанием и обучением девочек-сирот. Среди коллег Михайлова назван Александр Васильевич Никитин, магистр богословия, преподаватель Института и одновременно священник церкви Святой Екатерины Великомученицы при нем. Кроме службы в благотворительном учреждении, А. В. Никитин был членом общественной благотворительной организации — «Общества вспомоществования воспитанницам Николаевского сиротского института», что также отмечено в адресной книге. В аналогичной книге на 1917 г. А. В. Никитин снова упоминается как преподаватель и священник Сиротского института, но он уже протоиерей⁴⁸.

Что С. А. Никитин был сыном протоиерея А. В. Никитина, подтверждает еще один, весьма неожиданный источник — «дело» Никитина, обнаруженное Л. П. Петровским в Центральном архиве Федеральной службы безопасности России (Д. Р-34558)⁴⁹. Об истории ареста С. А. Никитина, следствии по «делу» и его результатах будет подробно рассказано ниже.

Здесь отметим только, что, отвечая на вопросы следователя, С. А. Никитин перечислил родственников — покойного отца — «преподавателя, позднее священника», мать Глафиру Северьяновну 58 лет, брата Николая 36 или 37 лет и сестру Екатерину 32 лет (оба — сотрудники московских научных учреждений), а также дядю Дмитрия Васильевича Никитина, врача Бабухинской больницы⁵⁰.

Как следует из воспоминаний Е. А. Никитиной⁵¹, в 1930 г. главы семейства Никитиных уже не было в живых, он скончался до 1925 г. Глафира Северьяновна умерла после тяжелой болезни в 1942 г. на руках у Сергея Александровича, его брат Николай (1893—1972), физик, и сестра Екатерина, химик, стали докторами наук и профессорами, оба они, как и Сергей Александрович, возглавляли кафедры в высших учебных заведениях — Энергетическом и 2-м Московском медицинском институтах.

До Октября 1917 г. семейство Никитиных жило не слишком богато, но в достатке. С. А. Никитин сообщил следствию, что «недвижимости никогда не имел»⁵². Он, однако, вынужден был признать, что в 1917 г. у него были сбережения в две тысячи рублей и что его родители арендовали 5-комнатную дачу с десятиной земли⁵³.

Именно на эту дачу родители, по всей вероятности, в детстве «летом Сергея Александровича вывозили на воздух» вместе с братом и сестрой⁵⁴.

Отец Сергея Александровича, Александр Васильевич Никитин, в отличие от многих других духовных лиц, был прогрессивно мыслящим человеком. Сменивший Д. В. Никитина на посту врача Толстого Д. Маковицкий записал 24 декабря 1906 г., во время первой русской революции, что Лев Николаевич расспрашивал приехавшего в Ясную Поляну своего бывшего доктора о его брате-священнике. Тот ответил, что брата «огорчают убийства», но он «признает и что-то доброе в революции», поскольку «некоторые старые порядки нельзя удерживать». В ответ Толстой сказал об Александре Васильевиче, с взглядами которого был уже, видимо, хорошо знаком по предыдущим рассказам Дмитрия Васильевича, что преподаватель Сиротского института — «исключительный экземпляр», не принадлежащий ни к какому политическому направлению и ни к одной политической партии, но воплощающий «без всякого усилия» «редкий признак разумности»⁵⁵.

Отмеченные выше взгляды отца, его приверженность христианству, его благотворительная деятельность неизбежно должны были повлиять на формирование взглядов Сергея Александровича Никитина. Не могло не сказаться на их становлении и мировоззрение Дмитрия Васильевича,

жившего вместе с племянником в первые годы его творческой деятельности⁵⁶.

Д. В. Никитин, как это видно из его писем и работ о нем, придерживался скорее народнических, чем толстовских идеалов. Он признавался, что грязную и пьяную русскую деревню любит больше, чем уважаемых им немцев. «Как бы я хотел, чтобы она была лучше, чтобы даром не пропадали в ней ее лучшие силы и таланты [...]», — писал о деревне Дмитрий Васильевич С. А. Толстой⁵⁷. А в письме от 8 января 1918 г. Т. Л. Сухотиной-Толстой он отмечал, что для событий Октябрьской революции и Гражданской войны характерны «борьба классов», всеобщее озлобление, взаимная ненависть, разнузданность. Вспоминая, что он верил в «русскую душу», Д. В. Никитин сожалел, что эта вера оказалась беспочвенной. Разочаровавшись в своих идеалах, он винил во всем социализм, «который не только не сумел внести равенства, но внес силу и насилие туда, где их еще не было»⁵⁸.

Вера в народ соединялась у Д. В. Никитина с приверженностью к православию. По свидетельству знавших его людей, даже в архангельской ссылке он посещал церковь. В то же время Дмитрий Васильевич был сторонником свободы совести. В 1928 г. Д. В. Никитин был крайне возмущен тем, что празднование 100-летнего юбилея Л. Н. Толстого, «величайшего художника и религиозного мыслителя нашего века»⁵⁹ газета «Известия» отметила статьями, в центральной из которых Толстой был назван «юродивым во Христе», а его учение «безусловно утопичным и по своему содержанию реакционным»⁶⁰. «Борьба с религией, в каких бы формах последняя не выражалась [...] есть по-видимому сейчас одна из главных задач партии. Разрушать московские церкви, ссылать духовенство и сектантов, фальсифицировать празднование Толстого — все это явления одного и того же порядка. Рабство и гнет коммунизма так тяжело легли на всех, они так сковывают проявления мысли и чувства, что хочется пойти и публично крикнуть все наболевшее и накопившееся в душе чувство протеста [...]», — писал он А. Л. Толстой⁶¹.

Хотя взгляды Толстого на религию оказали на него определенное влияние, Дмитрий Васильевич не относился к ортодоксальным толстовцам. Показательно в этом отношении письмо Д. В. Никитина Т. Л. Сухотиной-Толстой от 18 января 1905 г. В нем он писал, что в связи с событиями 9 января переживает «очень тяжелое чувство; возмущению и негодованию нет границ, но нет и выхода [...] Я вовсе не сторонник насилия, но временами возмущаюсь так, что готов все оправдать [...] Я верю, что ис-

тинного счастья человечество достигнет нравственным совершенствованием людей, но думаю, что совершенствование легче совершится в обстановке свободы совести, чем при произволе и насилиях»⁶².

Хотя, вероятно, и меньше, чем его брат, Дмитрий Никитин также занимался благотворительностью. Он бесплатно лечил крестьян в Ясной Поляне, есть его письма с упоминаниями об уходе за больным товарищем, поездке по делам сестры в Петербург, намерении выполнить завещание знакомой Толстых А. Г. Архангельской об устройстве земской школы или библиотеки⁶³.

О своих гимназических годах племянник Д. В. Никитина Сергей Александрович Никитин оставил подробные воспоминания, опубликованные в 1983 г. А. Е. Москаленко. Он признавал в них, что «под воздействием школы, чтения и, конечно, семьи формировались наши вкусы, мнения, интересы и влечения»⁶⁴.

Московская 4-я гимназия, как вспоминал С. А. Никитин, «была известна в Москве как гимназия демократическая...» В его классе не было сыновей ни помещиков, ни фабрикантов, не слышно было о них и в других классах. «В моем классе учились сыновья интеллигентов — врачей, учителей, духовенства, офицеров, служащих; представители мелкой буржуазии — сыновья ремесленников — портных, булочника, торговых служащих; хотя [и] немногочисленные — сыновья подмосковных крестьян [...]», — писал Сергей Александрович⁶⁵. Гимназисты терпеть не могли «фискалов», проявляли единство при столкновениях с начальством. В числе разных по квалификации педагогов С. А. Никитин особо отмечает преподавателя русского языка и литературы Е. А. Сидорова, которого он характеризует как прогрессивного человека, следившего за литературой и педагогической печатью, применявшего новые методы преподавания⁶⁶. В 1917 г., пишет Никитин, «первые шаги демократии в стране нас глубоко затрагивали»⁶⁷.

Таким образом, и семья, и гимназия воспитывали Сергея Александровича Никитина в духе демократии и прогресса, хотя и совсем не в большевистском их понимании.

Выпущенный в 1917 г. из гимназии досрочно, после 7-летнего обучения⁶⁸, С. А. Никитин поступил в 1918 г. в Московский университет. Его учителями были, в частности, такие известные историки России, как С. В. Бахрушин, М. М. Богословский, Ю. В. Готье, А. И. Яковлев, и упоминавшийся уже медиевист Д. Н. Егоров⁶⁹.

Студенческая жизнь С. А. Никитина вряд ли была безоблачной: учебу в университете ему приходилось совмещать с военной службой, на кото-

рую студент Никитин был призван в 1919 г. Он находился в армии до 1924 г. сначала как курсант отделения русского языка Военно-педагогического института, а затем как преподаватель Командной артиллерийской школы.

В 1922 г. Сергей Александрович окончил факультет общественных наук Московского университета, и к его преподавательской деятельности добавилась профсоюзная работа: он заведовал профсоюзными курсами, был лектором Московского совета профсоюзов⁷⁰. Это стимулировало занятия С. А. Никитина историей российского профсоюзного и рабочего движения. В 1924 г. вышла его первая научная статья о профсоюзной печати в России в 1905 г., в 1925 г. он опубликовал вторую часть этой работы, охватывающую 1906 г.⁷¹

В 1924—1929 гг., оставив преподавание русского языка, но продолжив деятельность в профсоюзах, С. А. Никитин был одновременно младшим научным сотрудником (аспирантом) Института истории РАНИОН. Этот период его деятельности освещен в литературе подробнее, чем предыдущий и последующий. Справедливо указывается, что именно в годы подготовки к научной деятельности в Институте истории С. А. Никитин впервые обратился к вопросам русской политики в Болгарии, и что его новые интересы встретили заинтересованную поддержку М. К. Любавского и В. И. Пичеты⁷².

В 1928/29 учебном году молодой ученый ассистировал С. Д. Сказкину, руководителю семинара по истории взаимоотношений славянских стран с Россией на цикле истории южных и западных славян МГУ. Он взял на себя проведение занятий по южнославянской проблематике и заслужил лестный отзыв профессора, писавшего, что Никитин «принимал деятельное участие в семинарских занятиях, руководил студентами и наблюдал за выполнением отчетных работ». «Предметом владеет вполне, и был весьма ценным сотрудником семинария», — отметил С. Д. Сказкин⁷³.

Из списка работ С. А. Никитина, опубликованного А. Е. Москаленко, видно, что первой славистической печатной работой Сергея Александровича была статья 1927 г. о богомилах в «Большой советской энциклопедии»⁷⁴.

Одновременно он продолжал публиковать статьи и рецензии по вопросам рабочего и профессионального движения, наиболее значительные из которых были написаны на основе не использовавшихся ранее источников.

Нигде еще, кажется, не было отмечено, что в годы аспирантуры С. А. Никитин, вместе с группой молодых способных историков — А. И. Гайсиновичем, П. А. Анатолевым, Я. Я. Зутисом и др., работал в семинаре

Н. А. Рожкова. По словам Сергея Александровича, это был «сплоченный, сработавшийся коллектив, объединенный в основном одной системой во взглядах и методах исторического анализа».

Приведенные выше сведения о работе С. А. Никитина под руководством Н. А. Рожкова вновь возвращают нас к «делу» Никитина, разысканному Л. П. Петровским. «Дело» интересно тем, что позволяет судить о взглядах ученого и содержит важные данные для его биографии. Не будет преувеличением сказать, что некоторые сохранившиеся в нем документы надолго определили судьбу Сергея Александровича. Знакомство с «делом» позволяет также понять особенности характера С. А. Никитина в годы руководства кафедрой в МГУ и сдержанность его поведения.

«Дело» открывается ордером на арест, подписанным заместителем председателя ОГПУ С. Мессингом и начальником оперативного отдела А. Х. Артузовым. По этому ордеру С. А. Никитин был арестован 14 сентября 1930 г. Арест сопровождался обыском, который, видимо, продолжался всю ночь. Как видно из документов «дела», Сергей Александрович работал с 1928 г. до ареста в библиотеке Высшего совета народного хозяйства, где занимался библиографической деятельностью в должности помощника редактора Технической картотеки.

Возможно, то обстоятельство, что после окончания аспирантуры С. А. Никитин не смог продолжить занятия историей, было как-то связано с его учебой у Н. А. Рожкова — как известно, последний подвергся во второй половине 1920-х годов резкой критике со стороны М. Н. Покровского и обвинялся в меньшевистской интерпретации исторического процесса⁷⁵. Никитин же в ОГПУ показывал на одном из допросов, что получил от работы в семинаре Рожкова «значительную пользу» и «частично принимал» методы своего учителя. Впрочем, в обстановке свертывания исторического образования и сокращения научно-исследовательской работы в области истории, характерной для 1920 — начала 1930-х годов, без работы оставались многие историки. В их число попал и один из учителей Сергея Александровича, видный специалист по истории России А. И. Яковлев, который вынужденно занялся редактированием Технической картотеки и стал, таким образом, руководителем С. А. Никитина не только в научной деятельности, но и в библиотечной работе.

Первый допрос С. А. Никитина был проведен 19 сентября 1930 г. помощником уполномоченного 5-го отделения Секретно-политического отдела ОГПУ Н. Н. Соловьевым. Уточняя анкетные данные, Соловьев неожиданно задал вопрос о политических убеждениях Никитина. Ответ показал

зрелость и мужество ученого. Вместо того, чтобы уверять следователя в своей преданности существующему режиму, С. А. Никитин ответил ему правдиво, дипломатично и, к тому же, с профессиональным историческим видением совершающихся в стране процессов: «Считаю себя близко стоящим к марксистской системе взглядов. Отношение к советской власти как к неизбежному последствию всего исторического развития России», — заявил он.

Записывая (часто безграмотно) дальнейшие показания Сергея Александровича, следователь не считал нужным фиксировать в протоколах свои вопросы и высказывания в адрес подследственного. Поэтому неясно, когда и какие были первоначально предъявлены С. А. Никитину обвинения. Однако на причину ареста проливает свет заявление матери ученого Глафиры Северьяновны, поданное в президиум ОГПУ 20 декабря 1930 г. Она пишет, что сын был задержан как служивший под руководством А. И. Яковлева (последний, как и многие другие учителя С. А. Никитина, был арестован по «Академическому делу»). Приведенная версия весьма вероятна, ее частично подтверждает «совершенно секретная» справка о С. А. Никитине от января 1931 г., составленная для руководителя ОГПУ В. Р. Менжинского начальником 5-го отделения Секретно-политического отдела ОГПУ Андреевым.

Справка суммирует все «преступления» уже отправленного к тому времени в ссылку ученого. В ней отмечено, будто бы он «был связан с группой историков, арестованных по делу “Всенародного Союза борьбы за возрождение свободной России”» (об этом «деле», сфабрикованном ОГПУ и известном теперь как «Академическое», уже говорилось в предыдущих очерках). Другие обвинения, предъявленные С. А. Никитину, были еще более надуманны, чем «связь» с «антисоветской организацией». Они целиком построены на тенденциозно интерпретированных показаниях ученого. «С. А. Никитин, — говорится в справке, — настроен резко антисоветски». Ему вменяется в вину участие в «антисоветском кружке Рожкова» и то, что С. А. Никитин якобы «выступления свои направлял против Общества историков-марксистов».

О том, что «показал» Сергей Александрович в связи с участием в семинаре Н. А. Рожкова, мы уже знаем. Общество историков-марксистов в «деле» упоминается дважды: в показаниях С. А. Никитина, заявившего об «ортодоксальной, будирующей историческую мысль» системе взглядов этого общества», и в заключении Н. Н. Соловьева по итогам следствия, где содержится никак не вяжущееся с показаниями утверждение, будто

бы в Обществе истории и древностей российских подследственный выступал против Общества историков-марксистов. При этом версия следователя не подтверждается никакими другими материалами «дела».

С. А. Никитин заявил, что взглядам историков, входящих в Общество историков-марксистов, противостоят взгляды ученых «старой исторической», «идеалистической» школы. К ней Сергей Александрович относил «следующих историков из старшего поколения: С. В. Бахрушин, С. Б. Веселовский, А. И. Яковлев, Д. Н. Егоров, Ю. В. Готье, М. К. Любавский, И. И. Иванов-Полосин, Д. М. Петрушевский, из числа молодых: Л. В. Черепнин, И. С. Макаров». «Развитие исторической мысли происходит в условиях классовой борьбы, — давал показания Сергей Александрович. — В зависимости от политической физиономии историки расслоены на два основных течения».

Признавая, что борьба этих течений «не есть беспредметное единоборство, а имеет определенный социально-политический смысл» и опирается на «сплоченность этой группы историков, как методологически одинаково мыслящих», он в то же время категорически отрицал наличие у них какой-либо организации.

«Противопоставление “мы и они”, которое я неоднократно слышал во время докладов, прений со стороны хотя бы Яковлева А. И., Любавского М. К., я отношу за счет деления исторической мысли на диалектиков-марксистов и представителей академической школы, но не могу приписать это наличию организации...», — заявил С. А. Никитин на одном из допросов.

Перечисление следователю фамилий историков с характеристикой их как авторов немарксистских трудов на первый взгляд кажется наивным, однако следует принять во внимание, что в те годы историки еще не отказались от попыток открыто говорить о своих разногласиях по научным вопросам. Именно это, а также мужество С. А. Никитина, решительно отвергнувшего версию обвинения о существовании «контрреволюционной организации», на участии в которой обвиняемых строилось все «Академическое дело», побудили, видимо, Ю. В. Готье, осужденного по этому «делу», выступить позднее оппонентом на защите С. А. Никитиным кандидатской диссертации и сделать там одно многозначительное заявление. «Выступая на защите, — сказал Ю. В. Готье, — я чувствую себя в положении прокурора, который отказывается от обвинения»⁷⁶.

Наиболее развернутой частью показаний С. А. Никитина являются ответы на вопросы о его личных исторических, политических и философ-

ских воззрениях. По «мироощущению» и «методам научного анализа» он считал себя «близко стоящим к марксизму». Но при этом Никитин подчеркивал, что принимает «только одну часть марксова учения — учение о критике капиталистического способа производства» (заметим, что пафос этой критики в наибольшей степени из всего учения К. Маркса и Ф. Энгельса был созвучен взглядам русских народников, близких Д. В. Никитину). История, по мнению Сергея Александровича, воплощает в себе «следствия человеческих отношений, вытекающих из экономической структуры общества». В то же время С. А. Никитин отметил, что не разделяет философской концепции марксизма и отвергает философские взгляды диалектиков-марксистов, поскольку стоит «на позициях христианства». Он разъяснил при этом, что не только верит в Бога, но и признает особую роль церкви в плане ее воздействия на отношения между людьми.

На следующем допросе, «уточняя» (видимо, под давлением следователя, лишившего арестованного передач)⁷⁷ свои предыдущие показания, Сергей Александрович вынужден был заявить, что «логически» выводит из своего христианского мировоззрения свое отношение к советской власти. «Я себя вполне советским человеком считать не могу», — записал следователь в протоколе «признание» подследственного. А далее сделана следующая приписка, подписанная С. А. Никитиным: «По тем же самым вышеуказанным убеждениям я не могу встать на путь активной классовой борьбы с классовыми врагами советской власти, и требовать от меня этого невозможно»⁷⁸.

Таким образом, Сергей Александрович, как и старшие члены его семьи, был убежденным христианином. Он не пожелал отказаться от своих убеждений, хотя его вынудили за них дорого заплатить. А слова С. А. Никитина о невозможности для него встать на путь «активной классовой борьбы» хорошо перекликаются с высказыванием его дяди об ужасах борьбы классов.

На всех допросах С. А. Никитин не только последовательно отрицал какую-либо связь с антисоветским «Союзом», но и подчеркивал полное отсутствие у него сведений о существовании такой организации. «Я категорически, — заявил он, — утверждаю, что ни в какую контрреволюционную организацию не был привлекаем. Никто никаких разговоров со мной о существовании подобной организации не вел, и ни от кого я не слышал даже намеков на желание вовлечь меня в таковую [...]. Еще раз отмечаю свою непричастность, полную, к какой-либо контрреволюционной организации, и о существовании таковой среди ленинградских и московских историков я ничего не знаю».

Под следствием С. А. Никитин пробыл около двух с половиной месяцев. Все это время он содержался в Бутырской тюрьме. 25 ноября 1930 г. Н. Н. Соловьев подписал заключение по следственному делу № 103591. «Никитин, — писал он, — стоя на позиции резко отрицательного отношения к советской власти, и в научной своей деятельности стоит на чуждых советской власти классовых позициях [...]. Выступая с научными докладами по истории [...] проводил антисоветскую линию, направляя ее против работ Общества историков-марксистов [...]. Принимая во внимание отношение Никитина к советской власти и его социальное происхождение — сын священника-арендатора, считая Никитина С. А. элементом условно социально опасным, полагал бы: дело гражданина Никитина Сергея Александровича [...] передать на рассмотрение Особого совещания при Коллегии ОГПУ».

3 декабря 1930 г. Особое совещание вынесло решение по «делу» С. А. Никитина. Ученый был отправлен в ссылку на Урал и должен был отбывать ее три года. По многочисленным ходатайствам матери ученого, поддержанным первой женой А. М. Горького Е. П. Пешковой, которая до 1937 г. возглавляла политический Красный Крест⁷⁹, С. А. Никитину было разрешено ехать к месту ссылки за свой счет. Ему позволили также остаться в Свердловске. В то же время не нашла положительного отклика просьба Глафиры Северьяновны о разрешении сыну работать по специальности. Базируясь на безграмотном заключении следователя по «делу» С. А. Никитина, в котором было сказано, что он «исключительный путаник и ценности как историк никакой не представляет», какой-то руководящий чекист начертил на заявлении резолюцию: «Т. Волков, Никитин является историком, которого нельзя пускать к преподавательской деятельности. Он эклектик, дуалист. Методологически чуждый марксистской диалектике, о чем сам заявляет. Как историка использовать его невозможно, как библиотекаря возражений нет». 31 декабря 1930 г. на основе этой резолюции был составлен еще один документ. В нем вновь выдвигалось требование о недопустимости использовать Сергея Александровича как историка, поскольку он, трактуя научно-исторические проблемы, «преломляет их через призму христианского вероучения». Первоначально текст заканчивался фразой о возможности использовать С. А. Никитина как библиотекаря, но она затем была вычеркнута. Видимо, соответствующие указания были отправлены на Урал в начале января, вслед за выехавшим туда ранее С. А. Никитиным.

10 апреля 1931 г. Секретно-политический отдел ОГПУ получил сообщение из Свердловска, что в первых числах января С. А. Никитин был направлен в г. Кудымкар, а после получения в феврале отношения ОГПУ возвращен в Свердловск. Там Сергей Александрович устроился на работу в трест «Востоксталь» на должность старшего экономиста⁸⁰.

Потянулись долгие месяцы ссылки. Все же через полтора года Особое совещание пересмотрело свое решение о Никитине. 29 июля 1932 г. было постановлено: «Никитина Сергея Александровича досрочно освободить, разрешив свободное проживание по СССР». С. А. Никитин вернулся в Москву, но, прежде чем он смог вновь заняться историей, прошло около двух лет. В эти годы С. А. Никитин работал главным редактором организации «Союзоргучет». Лишь в 1935 г. ему удалось поступить в группу по истории Средней Азии Историко-археографического института, а с 1937 г. он начал преподавать историю в вузах.

Однако при жизни с ученого так и не были сняты незаслуженные обвинения. Прошли XX и XXII съезды КПСС, осудившие массовые репрессии сталинизма, но за С. А. Никитиным продолжала тянуться нить «участия в контрреволюционной организации», что не раз мешало Сергею Александровичу. Например, оформляя его выезды за границу, «проверяющие» обычно знакомились с «делом» С. А. Никитина многолетней давности, о чем сохранились соответствующие записи.

Всей своей научной деятельностью С. А. Никитин опроверг утверждения невежд из «органов» о его слабости как историка. Он добился не только всесоюзного, но и международного признания. А похоронить себя Сергей Александрович Никитин завещал по церковному обряду, сохранив верность христианским убеждениям. И только спустя десять лет после смерти, 3 марта 1989 г., «дело» 60-летней давности было официально признано незаконным, и С. А. Никитин был реабилитирован.

В заключение следует сказать несколько слов об общем для всех поколений Никитиных культурном фоне их деятельности. Выше он был уже, по возможности, показан применительно к деду и бабке Сергея Александровича, и, особенно, к его дяде. Историки, работавшие с С. А. Никитиным, его ученики хорошо представляют себе высокую культуру и огромную эрудицию ученого. Как вспоминает сестра профессора, еще в университетские годы Сергей Александрович интересовался поэзией. Он хорошо знал и прекрасно декламировал произведения Маяковского, интересовался творчеством других русских поэтов, высоко ценил произведения зарубежных писателей, следил за современной литературой.

Екатерина Александровна пишет также, что запомнившийся студентам своей невозмутимостью маститый профессор «немного играл на рояле, пел и рисовал»⁸¹.

Продолжая традиции семьи, Сергей Александрович занимался благотворительностью. По рассказам близко знавших его людей, он в трудных условиях послевоенных лет оказывал материальную помощь нескольким студентам.

Наконец, поражает одна бытовая черта, роднящая Сергея Александровича с дядей Дмитрием Васильевичем — их холостяцкое житье. Дядя С. А. Никитина так и не женился (Г. А. Кулижников предполагает, что он был влюблен в Александру Львовну Толстую, но какие-то обстоятельства помешали их браку), а Сергей Александрович женился уже на закате своей жизни.

Примечания

¹ *Короткова В. И.* Список трудов профессора С. А. Никитина // *Путь ученого: К 90-летию со дня рождения С. А. Никитина*. М., 1992. С. 96—112. (Балканские исследования. Вып. 14); *Москаленко А. Е.* Печатные работы С. А. Никитина: [Дополнения к библиографии В. И. Коротковой (1972 г.)] // *Историки-слависты Московского университета, 1939—1979 гг.: К 40-летию кафедры истории южных и западных славян*. М-лы и док. М., 1979. С. 62—66.

² *Егоров И.* [Рец. на кн.:] I. Sakazow. *Bulgarische Wirtschaftsgeschichte*. Berlin; Leipzig, 1929 // *Историк-марксист*. 1929. Кн. 14. С. 207—209.

³ *Петровский Л. П., Горяинов А. Н.* Неизвестная страница биографии С. А. Никитина (по м-лам ОГПУ начала 1930-х годов) // *Путь ученого...* С. 11—21.

⁴ *Шульгин С. П.* Друг Л. Н. Толстого // *Приокская правда*. 1960. 27. XII.

⁵ *Касаткин В. М.* Врач и друг Льва Толстого // *Рязанский следопыт*. 1995. № 4. С. 27—29.

⁶ ГМТ. Письмо С. П. Шульгина директору Государственного музея Л. Н. Толстого с материалами биографии Д. В. Никитина.

⁷ *Касаткин В. М.* Указ. соч. С. 27.

⁸ Как отмечает биограф Д. В. Никитина врач Г. А. Кулижников (два варианта его неопубликованной биографии Никитина хранятся в Государственном музее Л. Н. Толстого), в студенческие годы Дмитрий Васильевич выполнил «исследования относительно определения и нахождения мышьяка в органических соединениях, имевшие практическое судебно-медицинское приложение» (Г. А. Кулижников. *Встречи*. Рукопись 1992 г., хранится в библиотеке ГМТ. Далее в ссылках на нее указываются только автор и страницы).

⁹ *Никитин Д. В.* Рабочие на железнодорожных постройках: из заметок врача // *Русское богатство*. 1904. № 6. С. 205—220.

¹⁰ Дмитрий Васильевич Никитин упомянут в адресной и справочной книге «*Вся Москва*» на 1902 год (М., 1902. Стб. 885, 962) как практикующий врач.

- ¹¹ ГМТ. Письмо В. А. Дунаева С. Л. Толстому. 23 марта 1902 г.
- ¹² Г. А. Кулижников. Первый домашний врач Льва Толстого. Рукопись 1978 г. с дополнениями 1980 г. Л. 3.
- ¹³ Кулижников. С. 117.
- ¹⁴ Цит. по: *Свадковский Б. С.* Надо жить: из крымской летописи Л. Н. Толстого // Литературная Армения. 1989. № 2. С. 70—80.
- ¹⁵ ГМТ. Д. В. Никитин. Воспоминания о Л.Н. Толстом. 10 января 1932 г.
- ¹⁶ *Скиталец С. Г.* Лев Толстой // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 2. С. 271—279.
- ¹⁷ *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. М., 1954. Т. 73/ 74. С. 145 (паг. 3-я).
- ¹⁸ *Петухов А. А.* Врач Л. Н. Толстого под надзором полиции // Советские архивы. 1971. № 4. С. 104.
- ¹⁹ *Поповкина Т. Л.* Н. Толстой и его близкие на любительских фотографиях домашнего врача Д. В. Никитина // Неизвестный Толстой в архивах России и США: Рукописи. Письма. Воспоминания. Наблюдения. Версии. М., 1994. С. 399—403.
- ²⁰ ГМТ. Г. А. Кулижников. Первый домашний врач Льва Толстого. Л. 25.
- ²¹ Там же. Письмо Д. В. Никитина С. А. Толстой. 28 декабря 1903 г.
- ²² Там же. Письмо Д. В. Никитина А. Л. Толстой. 26 мая 1914 г.
- ²³ Там же. Письмо Д. В. Никитина С. А. Толстой. 20 сентября 1904 г.
- ²⁴ См.: *Петухов А. А.* Указ. соч. С. 105.
- ²⁵ ГМТ. Письмо Д. В. Никитина С. А. Толстой. 24 октября 1904 г.
- ²⁶ Там же. Письмо Д. В. Никитина С. А. Толстой. 20 апреля 1907 г.
- ²⁷ Там же. Письмо Д. В. Никитина Т. Л. Сухотиной-Толстой. 30 ноября 1919 г.
- ²⁸ *Толстой С. Л.* Очерки былого. Тула, 1975. С. 214.
- ²⁹ *Никитин Д. В.* Последние дни Л. Н. Толстого // Русские ведомости. 1910. 6. XI.
- ³⁰ *Гальберштадт Л.* Вчера в Ясной Поляне // Русские ведомости. 1911. 8. XI.
- ³¹ ГМТ. Письмо Д. В. Никитина С. А. Толстой. 1 марта 1916 г.
- ³² Там же. Письмо Д. В. Никитина Т. Л. Сухотиной-Толстой. 8 января 1918 г.
- ³³ Там же.
- ³⁴ *Касаткин В. М.* Указ. соч. С. 28.
- ³⁵ Кулижников. С. 28.
- ³⁶ ГМТ. Письмо Д. В. Никитина С. Л. Толстому. 21 ноября 1936 г. Из письма следует, что Г. А. Кулижников вряд ли был прав, утверждая, будто бы по ходатайству родственников срок ссылки Никитина вскоре после его отправки в Архангельск был сокращен до одного года.
- ³⁷ Кулижников. С. 134.
- ³⁸ Там же. С. 133.

³⁹ ГМТ. Г. А. Кулижников. Первый домашний врач Льва Толстого. Л. 54.

⁴⁰ Там же. Л. 40—41.

⁴¹ Там же. Л. 60.

⁴² Там же. Л. 43.

⁴³ ГАРО. Ф. Р-5354. Д. 11. Л. 14.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ ГМТ. Г. А. Кулижников. Первый домашний врач Л. Толстого. Л. 68.

⁴⁶ Там же. Письмо В. А. Дунаева Л. Н. Толстому. 1 марта 1902 г.

⁴⁷ Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1902 г. М., 1902. Стб. 699, 1097. С. 305.

⁴⁸ Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1917 г. М., 1917. Стб. 243, 313, 928. С. 353.

⁴⁹ Все факты и цитаты, взятые из этого «дела», приводятся или по нашей совместной с Л. П. Петровским статье (см. примеч. 3), или по текстам, любезно предоставленным Петровским. В первом случае сноски не даются, во втором в них указывается только фамилия: Петровский.

⁵⁰ Петровский.

⁵¹ Никитина Е. А. Из воспоминаний сестры о брате — профессоре Сергее Александровиче Никитине (1901—1979) // Из истории университетского славяноведения в СССР: Сб. ст. к 80-летию С. А. Никитина. М., 1983. С. 143—145.

⁵² Петровский.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Никитина Е. А. Указ. соч. С. 143.

⁵⁵ Маковицкий Д. П. У Толстого, 1904—1910: «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. М., 1979. Кн. 2. С. 338. (Литературное наследство. Т. 90. Кн. 2).

⁵⁶ В 1930 г. все названные следователю С. А. Никитиным родственники проживали, по всей вероятности, вместе с ним по адресу: Большой Козихинский пер., д. 37, кв. 1. Этот адрес упомянут и в ордере на арест Сергея Александровича, и в заявлениях в ОГПУ Глафиры Северьяновны, и в письмах Д. В. Никитина (Петровский).

⁵⁷ ГМТ. Письмо Д. В. Никитина А. Л. Толстой. 12(25) июня 1914 г.

⁵⁸ Там же. Письмо Д. В. Никитина Т. Л. Сухотиной-Толстой. 8 января 1918 г.

⁵⁹ Там же. Письмо Д. В. Никитина А. Л. Толстой. 29 сентября 1928 г.

⁶⁰ Полонский В. Ленин о Толстом // Известия. 1928. 9.IX.

⁶¹ ГМТ. Письмо Д. В. Никитина А. Л. Толстой. 29 сентября 1928 г.

⁶² Там же. Письмо Д. В. Никитина Т. Л. Сухотиной-Толстой. 18 января 1905 г.

⁶³ Там же. Письма Д. В. Никитина Т. Л. Сухотиной-Толстой. 15 января и 25 августа 1905 г.; Письмо Д. В. Никитина С. А. Толстой. 21 апреля 1907 г.

⁶⁴ Никитин С. А. Воспоминания о гимназических годах // Из истории университетского славяноведения в СССР... С. 130.

- ⁶⁵ Там же. С. 128.
- ⁶⁶ Там же. С. 133—134.
- ⁶⁷ Там же. С. 140.
- ⁶⁸ Там же. С. 141.
- ⁶⁹ *Хвостов В. М., Нарочницкий А. Л. и др.* Профессор Сергей Александрович Никитин // Славяне и Россия: К 70-летию со дня рождения С. А. Никитина. М., 1972. С. 4.
- ⁷⁰ Архив Института славяноведения. Личное дело С. А. Никитина.
- ⁷¹ *Никитин С. А.* Очерки по истории профессиональной печати в России: [Очерки 1—2] // М-лы по истории профессионального движения в России. М., 1924. Сб. 2. С. 141—158; 1925. Сб. 3. С. 43—59.
- ⁷² *Хвостов В. М., Нарочницкий А. Л. и др.* Указ. соч. С. 4.
- ⁷³ Арх. МГУ. Ф. 18. Оп. 1-л. Д. 182. Л. 2.
- ⁷⁴ *Никитин С. А.* Богомилы // БСЭ. [Изд. 1-е]. М., 1927. Т. 6. С. 599—600.
- ⁷⁵ См. о нем: Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1966. Т. 4. С. 170—173 и др.
- ⁷⁶ Цит. по: *Хвостов В. М., Нарочницкий А. Л. и др.* Профессор Сергей Александрович Никитин... С. 4.
- ⁷⁷ Петровский.
- ⁷⁸ Там же.
- ⁷⁹ См.: *Берберова Н.* Железная женщина: Рассказ о жизни М. И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и ее друзьях // Дружба народов. 1989. № 10. С. 182—183.
- ⁸⁰ Архив Института славяноведения. Личное дело С. А. Никитина.
- ⁸¹ *Никитина Е. А.* Указ. соч. С. 144.

Болгарский коммунист и главная библиотека России: вклад Г. Бакалова в новое славяноведение

В далеком 1950 г. Вера Гречанинова, молодая сотрудница отдела книгообмена крупнейшей библиотеки Советского Союза (кадровые сотрудники и старые читатели до сих пор ласково называют ее «Ленинкой») чем-то не угодила своей заведующей Б. Л. Любарской. Гнев обернулся вынужденным уходом из отдела: Веру перевели на открывшуюся вакансию в тот самый «спецхран» (отдел специальных фондов библиотеки), о котором было запрещено даже упоминать в разговорах с читателями. Когда Гречанинова в первый раз пришла на работу в таинственный отдел, занимавший целый ярус огромного корпуса «нового» книгохранилища, она чуть не упала: споткнулась о большую грудку папок, карточек, рукописей и другого «хлама». «Это будут сжигать», — сказала ей новая начальница М. А. Анфилофьева. Краем глаза Вера взглянула на грудку и обомлела: она увидела страничку с копией письма поэта Георгия Иванова, наклонилась и подняла открытку с подписью А. Ахматовой... Гречанинова была храброй девушкой: она попросила разрешения разобрать грудку и ей, как это ни удивительно, милостиво дали такое разрешение.

13 мая 2004 г. мы сидим с главным библиотекарем Верой Семеновной Гречаниновой в одном из кабинетов одинаково дорогой нам «Ленинки», и она рассказывает о том памятном для нее дне пятидесятичетырехлетней давности. Вере Гречаниновой посчастливилось не только обнаружить, но и спасти огромные культурные ценности. В едва не сожженной грудке, кроме писем Г. Иванова и А. Ахматовой, оказались и другие ценные материалы, в частности архив директора «Ленинки» В. И. Невского. А карточки поразили новую сотрудницу спецхрана тем, что были написаны русскими буквами..., но не на русском языке. Как впоследствии удалось выяснить, это были названия болгарских книг. Удалось разыскать и фамилию создателя картотеки. Им оказался главный библиограф Георгий Бакалов, политический эмигрант из Болгарии. Работа по разбору найденного продвигалась медленно, да до второй половины 1950-х годов о вы-

пуске «крамольных» материалов из спецхрана даже и помыслить было нельзя. Лишь в 1958 г. удалось передать в Отдел рукописей библиотеки архив Невского. В начале 1960-х дошла очередь и до картотеки Бакалова. Вера Семеновна проделала большую работу и выяснила, что библиографический труд болгарского политэмигранта не опубликован и неизвестен ученым и библиографам. В результате было решено также передать картотеку в Отдел рукописей. К тому времени сотрудники этого отдела обнаружили среди материалов Невского папку с текстом введения и некоторых других частей библиографии. Так был найден многолетний библиографический труд видного болгарского коммуниста Георгия Бакалова «Революционная книга Болгарии», о котором мало знали даже у него на родине и который специалисты считали утраченным. В 1963 г. «Революционная книга...» была передана в Отдел рукописей библиотеки и вошла в состав фонда 218 (Собрание Отдела рукописей)¹.

До находки В. С. Гречаниновой рукопись «Революционная книга Болгарии» упоминалась только в болгарских изданиях 1932 г. — газете «Работнически литературен фронт» и журнале «Звезда»². Исследователи жизни и деятельности Бакалова обратили на них внимание лишь незадолго до обнаружения труда Бакалова.

В 1961 г. документы о Бакалове с несколькими упоминаниями о «Революционной книге...» опубликовал советский литературовед В. И. Злыднева³. В 1962 г. об этом труде Бакалова как о работе, частью которой являются найденные им гранки библиографии болгарских переводов произведений Г. В. Плеханова и М. Горького, писал болгарский литературовед Ж. Авджиев⁴.

В 1963 г. библиографическая деятельность Г. Бакалова была рассмотрена в статье сотрудницы Болгарского библиографического института Йоты Данчевой⁵, которая составила также библиографию его трудов и литературы о нем⁶.

Данчева, проанализировав сохранившиеся сведения о «Революционной книге...», поддержала вывод В. И. Злыднева, что статья Бакалова в журнале «Звезда» представляет собой часть этого труда. Она также показала ошибочность утверждения Авджиева и предположила, что Г. Бакалов на основе труда о революционной книге создал ряд других библиографических работ, в том числе библиографии переводов произведений Плеханова и Горького (последнее подтвердилось после обнаружения рукописи).

Впервые сообщить научной общественности о находке рукописи Г. Бакалова и ее содержании выпала честь автору настоящей работы⁷. Впоследствии на основе результатов знакомства с «Революционной книгой Болгарии» была опубликована соответствующая статья⁸. Автор вынужден был в этой статье проявить известное лукавство, умолчав, по понятным причинам, о находке труда Г. Бакалова в спецхране. Каково содержание труда, почему он оказался в «Ленинке» и каким образом попал в спецхран, какие, наконец, сведения о Бакалове можно почерпнуть из материалов, так или иначе связанных с подготовкой болгарским коммунистом «Революционной книги...»? Чтобы ответить на эти вопросы, следует обратиться к биографии Г. Бакалова.

Георгий Бакалов родился 7 ноября 1873 г. в семье торговца, в г. Стара Загора (Болгария). Еще в гимназии (оттуда Бакалов был в 1891 г. исключен за организацию забастовки) он познакомился с социалистическими идеями. Большую роль в политическом развитии Бакалова сыграли работы Маркса, Энгельса и Плеханова, а также участие в подготовке учредительного съезда Болгарской социал-демократической партии в качестве помощника видного болгарского социалиста Н. Габровского⁹.

Осенью 1891 г. Г. Бакалов поступил на естественнонаучный факультет Женевского университета. «Естественные науки выбрал для выработки материалистического мировоззрения, а Женеву для близости группе “Освобождение труда”», — писал он в автобиографии¹⁰. Как известно, группу «Освобождение труда» возглавлял Г. В. Плеханов. В Женеве Бакалов познакомился с ним и другими членами организации, с видными западноевропейскими социал-демократами. С 1893 г. он регулярно печатался в болгарских социал-демократических изданиях, а затем всецело отдался публицистической и издательской деятельности. Издание и распространение марксистской и прогрессивной литературы принесло Бакалову известность и в Болгарии, и за рубежом страны. Он представлял болгарских социал-демократов на ряде конгрессов II Интернационала, а в 1903 г., после раскола партии, был избран членом Центрального комитета партии «тесных социалистов», наиболее близкой по идеологии к русским большевикам. По заданию партии Бакалов участвовал в транспортировке в Россию из-за рубежа газеты «Искра», установил контакты с редакцией русского социал-демократического журнала «Жизнь» (Лондон) и оказывал помощь секретарю редакции «Жизни», большевику В. Д. Бонч-Бруевичу в организации продажи в Болгарии русских социал-демократических изданий.

В 1905 г. произошел разрыв Г. Бакалова с «тесными социалистами». «Можно считать установленным, — пишет о причинах этого разрыва Г. И. Чернявский, — что наряду с принципиальными вопросами, по которым возникли разногласия Бакалова с Д. Благоевым, Г. Кирковым и другими руководителями партии, и по которым он стоял на ошибочных позициях (соотношение демократии и централизма в партии и др.) [...], с обеих сторон насаивались необоснованные, рождавшиеся в ходе самой полемики обвинения»¹¹. Г. Бакалов и небольшая группа бывших «тесняков», которую он возглавлял, оставались на марксистских позициях, но в области политической деятельности примкнули к реформистам, образовав в конце концов левое крыло партии «широких» социал-демократов. Постепенно Бакалов отходил от политики и уделял все большее внимание истории и литературоведению. В этот период, пишет Г. И. Чернявский, «он формировался как видный профессиональный историк...», основное место в творчестве которого занимало исследование жизни и деятельности Христо Ботева¹². Тогда же Г. Бакалов организовал издательство «Знание», выпускавшее научно-популярные и художественные произведения, начал писать работы о художественной литературе Болгарии, о болгарском языке. Вскоре Бакалов стал, по оценке В. И. Злыднева, «ведущим марксистским критиком в Болгарии, а его работы историко-культурного и литературного характера представляют собой крупное достижение болгарской марксистской эстетической и критической мысли [...]»¹³.

Октябрьская революция в России и революционный подъем в Болгарии заставили Бакалова пересмотреть свои взгляды и изменить политическую позицию. Он вновь примкнул к бывшим «теснякам», реорганизовавшимся в Болгарскую коммунистическую партию, активно работал в Комитете по пролетарской культуре при ЦК БКП, выступал с лекциями, писал публицистические и научные статьи. После подавления правительством А. Цанкова крестьянского Сентябрьского восстания 1923 г. Бакалов в сложных условиях авторитарного режима и активизации преследования коммунистов в течение двух лет возглавлял легальный литературный и общественно-политический журнал Болгарской компартии «Нов път» (1923—1925).

В 1925 г. журнал был закрыт, а его редактору пришлось покинуть Болгарию. В октябре Г. Бакалов приехал в Советский Союз. Он вступил в ВКП (б) и некоторое время заведовал одним из научных кабинетов Института К. Маркса и Ф. Энгельса, а с весны 1926 г. работал в торгпредстве СССР во Франции. В архиве советского посольства в Париже ему

удалось обнаружить ряд интересных исторических документов, которые старый знакомый Бакалова В. Д. Бонч-Бруевич счел достойными публикации в советских изданиях¹⁴.

В. Д. Бонч-Бруевич считал весьма ценными также материалы и суждения Г. Бакалова об истории революционного движения в Болгарии и о русско-болгарских революционных связях. В письме от 6 ноября 1928 г. он высказал пожелание, чтобы Бакалов приступил к публикации имеющихся у него писем болгарских и русских социал-демократов, просил болгарского марксиста написать воспоминания «о всех знакомствах с русскими революционерами, начиная с 1896 года»¹⁵. Бонч-Бруевич предложил также Бакалову подготовить для публикации библиографические материалы по истории болгарской социал-демократической литературы. «Было бы очень хорошо, — писал он в том же письме, — если бы Вы составили список всех изданных Вами социал-демократических изданий на болгарском языке, с указанием точно, с какого издания Вы и Ваши сотрудники переводили, что переводили, в скольких экземплярах каждая книга была напечатана, сколько было ее изданий и т[ому] п[одобных] сведений [...]. Может быть, Вы на фоне составления такой библиографической заметки указали бы Ваши сношения с различными авторами тех книг, которые Вы переводили». Это предложение совпадало с намерениями самого Бакалова; однако, его работа, уже находившаяся в это время в стадии завершения, была значительно обширнее, чем библиографическая заметка.

В Москву Г. Бакалов вернулся 3 марта 1929 г.¹⁶ Он быстро установил личные связи с рядом советских писателей и ученых, в том числе с Н. С. Державиным¹⁷.

В Советском Союзе в 1920—1930-е годы работало много коммунистов, политэмигрантов из Болгарии и других зарубежных славянских государств. Наиболее творческая их часть всемерно старалась овладеть методологией марксизма, пыталась применить ее к изучению современного положения, истории и культуры своих родных стран. Эта деятельность была востребована организациями, учреждениями и органами печати, претендовавшими на руководящую роль в международном коммунистическом и рабочем движении (Коминтерн, Коммунистический интернационал молодежи, Красный интернационал профсоюзов). Существовали также Польская комиссия Истпарта (о ней уже упоминалось в одном из предыдущих очерков) и несколько учебных заведений, готовивших партийные кадры, разрабатывавших проблемы теории и истории коммуниз-

ма, например Коммунистический университет национальных меньшинств Запада. В них зарубежные коммунисты не только повышали политический и научный уровень, но и занимались научной деятельностью.

Наука при этом рассматривалась как база, на которой должно было строиться просвещение и воспитание в «марксистско-ленинском» духе населения польских и болгарских национальных районов России и Украины¹⁸. В таких районах существовали школы с преподаванием на национальных языках. На польском и болгарском языках велась большая культурно-просветительная работа, издавались газеты и общественно-политические журналы, учебники, научно-популярная литература.

«[...] До войны болгары Преслава были тесно связаны со своей родиной через многочисленных представителей болгарской политической эмиграции, — вспоминал об одном из таких районов С. Б. Бернштейн. — В Приазовье в 1925 г. был организован болгарский национальный район с центром в селе Коларовка (бывшая Романовка)[...]. До 1938 г. преподавание в школе шло на болгарском языке, кроме школы был еще техникум, издавалась болгарская газета, часто из города приезжал болгарский театр. Хорошо сохранялся местный диалект»¹⁹.

Тематика работ политэмигрантов никак не вписывалась в славяноведение в его дореволюционном, классическом понимании, да и не считалась таковой в кругах коммунистической элиты. Однако эти работы заложили основы науки о славянах советской эпохи, когда славяноведение стало рассматриваться как комплекс научных дисциплин при ведущей роли в нем новой и новейшей истории²⁰.

29 марта 1929 г. Г. Бакалов был принят на работу в библиографическое бюро Редакционно-издательского сектора Государственного издательства²¹, где ему было поручено просматривать и библиографировать зарубежную литературу²², но уже через пять дней он подал заявление с предложением своих услуг Библиотеке имени В. И. Ленина²³.

Как следует из самого заявления, инициатива его подачи исходила от директора Библиотеки, старого большевика В. И. Невского (о теплых отношениях Невского с медиевистом-славистом Д. Н. Егоровым уже говорилось ранее). Невский как историк партии, безусловно, знал о революционной деятельности Бакалова и его занятиях болгарской литературой и историей. Он написал предисловие к воспоминаниям К. И. Захаровой-Цедербаум и С. И. Цедербаума с рассказом об участии Г. Бакалова в транспортировке газеты «Искра»²⁴, был тесно связан с Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса, следил за литературой о революционном движении. Реко-

мендовать Невскому Бакалова мог также кто-либо из болгарских политэмигрантов, уже работавших в библиотеке, например, дочь основателя партии «тесняков» Наталья Благоева²⁵. Одновременно с библиотекой Бакалов продолжал работать в Госиздате²⁶, на некоторое время он возвращался на работу и в Институт К. Маркса и Ф. Энгельса²⁷.

В. И. Невский, как следует из заявления Бакалова, предложил ему «заняться заведованием отдела славяноведения». В заявлении болгарский марксист выражал уверенность, что, «пользуясь всеми славянскими языками, и зная литературу болгар, сербов, поляков и украинцев», справится с работой. Он писал далее, что кроме «многочисленных работ по истории и литературе болгар, вышедших на болгарском языке, и нескольких статей на русском языке, частью помещенных в ж[урнале] “Летописи марксизма”, частью готовых и подготовленных к печати, я привез с собой большой библиографический труд для издания Институтом Маркса и Энгельса (“Библиография болгарского коммунизма, социализма, анархизма и профдвижения”)). В заключение Бакалов, который ранее никогда не работал в библиотеках и не представлял себе сложного положения в «Ленинке» с литературой по славяноведению, предлагал использовать его также для руководства «отделом История русского революционного движения»²⁸.

Последнее предложение Г. Бакалова было непосредственно связано с его исследовательскими интересами. Бакалов вскоре начал публиковать в советских журналах серьезные научные статьи о русско-болгарских революционных связях, готовил обобщающий труд «К истории влияния русских революционных движений на болгар»²⁹, написал воспоминания о Д. Благоеве³⁰. Исторические работы болгарского марксиста основаны как на материале, собранном в Болгарии, так и на тщательном изучении документов советских архивов. Они, как уже неоднократно отмечалось в историографии³¹, были хорошо фундированы, содержали интересные факты и новые, хотя иногда и спорные выводы. В то же время их тематика была полностью созвучна потребностям нового славяноведения, которое остро нуждалось в разработке на марксистской методологической основе ключевых проблем истории революционных межславянских связей и отношений³².

Весом был также вклад Г. Бакалова в изучение литературы и культуры Болгарии. Он подготовил обстоятельное введение к русскому изданию «Избранных произведений» Х. Ботева³³, печатал популярные статьи и рецензии о творчестве классиков болгарской литературы и революционных

писателей Болгарии 20—30-х годов XX в., принял участие в обсуждении вопросов болгарского правописания, организованном Наркомпросом Украины³⁴, выступил с проектом реформы болгарского правописания в газете «Коллективист»³⁵.

В. И. Злыднев считал, что подвергший критике взгляды Бакалова болгарский философ-коммунист Т. Павлов «не без оснований указывает на существенный недостаток Г. Бакалова», проявившийся в «вульгарно-социологической трактовке» творчества некоторых крупных болгарских писателей. В то же время советский исследователь с явным неодобрением приводит мнение болгарского литературоведа П. Зарева о болгарском марксисте как ученом, исповедовавшим такой принцип подхода к литературным явлениям, при котором литература отражает жизнь «прямолинейно, механически». По мнению советского исследователя, еще «в 20-е годы» начинается «процесс эволюции» взглядов Г. Бакалова «к ленинским взглядам на явления культуры и литературы»³⁶, т. е., естественно, в правильном направлении.

Не вдаваясь в анализ мнений советского и болгарских специалистов, приведем отрывок из воспоминаний С. Б. Бернштейна о встрече с Г. Бакаловым в 1929 или 1930 г.: он показывает, насколько медленно эволюционировали взгляды Бакалова, если вообще такая эволюция имела место. Бернштейн пишет, что, изучая в студенческие годы болгарский язык, он перевел на русский рассказ Елина Пелина и, вместе со своим кратким очерком о писателе, послал его в издательство. Спустя несколько месяцев Бернштейна пригласил Бакалов, который заявил студенту, что дал на перевод отрицательный отзыв. «Это замечательный болгарский писатель... Могу Вам сказать, что я очень люблю его произведения и часто перечитываю их. Но это наш враг, друг царя Бориса. Было бы большой политической ошибкой теперь издавать его в Советском Союзе», — мотивировал он свое негативное мнение о попытке молодого автора познакомить отечественного читателя с творчеством живого классика болгарской литературы.

Бернштейн пишет, что рассказал о беседе с Бакаловым своим учителям, тоже болгарским политэмигрантам. Один из них промолчал, другая же возмутилась и назвала Бакалова «узколобым сектантом»³⁷. По-видимому, эта характеристика была точной. Она показывает, как далек еще был Бакалов в годы пребывания в Советском Союзе от подлинно научного, не политизированного подхода к проблемам литературы и культуры.

Тем не менее на фоне упадка славяноведения в Советском Союзе, вклад Г. Бакалова в исследование болгарской литературы и истории болгарской общественной мысли был значителен. Больше того, Бакалов, в отличие от других политэмигрантов, должен был отчетливо представлять себе научную актуальность славяноведения и политическую значимость изучения в СССР зарубежных славянских народов. Он с начала века формировался как профессиональный историк³⁸ и одновременно занимался литературно-критической деятельностью. В Библиотеке имени Ленина он возглавил едва ли не единственное в конце 1920 — начале 1930-х годов славистическое подразделение и постоянно имел дело с соответствующей литературой. В важности славяноведения как научной дисциплины Бакалова, несомненно, убеждал и Н. С. Державин, большой энтузиаст приспособления этой отрасли науки к потребностям новых властей³⁹.

Деятельность Г. Бакалова как ученого получила высокую оценку в СССР. По рекомендации академиков Н. С. Державина и А. В. Луначарского и при поддержке академиков Н. И. Бухарина, А. М. Деборина, С. А. Жебелева, Н. М. Лукина, С. Ф. Ольденбурга, С. Г. Струмилина в марте 1932 г. он был избран членом-корреспондентом Академии наук⁴⁰.

В письме Державину в день отъезда из СССР Бакалов, выражая ему благодарность, интересовался перспективами нового издания — «Трудов» созданного незадолго перед тем в результате усилий Державина Института славяноведения. Он писал также о подготовке для «Трудов» своей рецензии «Христо Ботев и о Христо Ботеве по-русски», опубликованной впоследствии в первом томе издания⁴¹. Об осознании болгарским марксистом важности славистических исследований свидетельствует также письмо Г. Бакалова В. Д. Бонч-Бруевичу, найденное Л. Е. Грачевой. Бакалов высказался в этом письме за издание в Советском Союзе журнала, к сотрудничеству в нем он предлагал привлечь писателей и ученых из всех славянских стран без различия взглядов и направлений, «объединенных защитой СССР от интервенции»⁴².

Приглашая Бакалова в библиотеку, В. И. Невский рассчитывал с его помощью наладить работу в области славяноведения, которое в конце 1920-х годов было одним из самых запущенных участков научно-библиографического отдела. Обязанности сотрудников этого структурного подразделения, в состав которого входил отдел (правильнее, подотдел) славяноведения, были многообразны. Они принимали участие в комплектовании основных и подсобных фондов библиотеки литературой, выполняли разные справки, составляли библиографические указатели.

Наиболее же важной задачей научно-библиографического отдела было создание Генерального систематического каталога. Она решалась путем сплошного просмотра алфавитного каталога библиотекарями каждого подотдела, дублированием нужных карточек и их систематизацией, а также систематизацией теми же специалистами новых поступлений.

На подотделе славяноведения пагубно сказывалось, прежде всего, непонимание в Советской России значения славистического комплекса наук. Следствием были малый читательский спрос на славистическую литературу, отсутствие средств на комплектование библиотеки новыми изданиями по славистике. Не повезло подотделу и с кадрами: в 1919 г. его возглавил известный впоследствии советский писатель Анатолий Корнелиевич Виноградов, который начинал свой творческий путь в качестве переводчика и популяризатора творчества А. Мицкевича.

Виноградов был в 1919 г. ученым секретарем Румянцевского музея, а спустя два года стал его директором⁴³. Он, конечно, не имел возможности вести в отделе никакой практической работы, и фактически там трудились два сотрудника — археолог С. В. Арсеньев и филолог Г. П. Поляков⁴⁴. Арсеньев в отделе никак себя не проявил; более активным оказался Поляков, который отмечал, что «был долгое время единственным работником целого отдела и нес всю техническую, научную и исследовательскую, справочную работу»⁴⁵.

Отчеты Г. П. Полякова о работе подотдела хорошо показывают, как относились к славяноведению и руководители, и читатели библиотеки, и сам Поляков. Последний, например, в отчете за 1922 г. констатировал, что подотдел должен был обрабатывать поступившие в Музей после революции книги большой славистической библиотеки Р. Ф. Брандта и многочисленные славистические издания из библиотеки Шереметевых, но «ввиду отсутствия у отдела новых шкафов для расстановки» эти книги были заштабелированы⁴⁶.

Среди других поступлений изданий по славяноведению Поляков далее отмечал передачу в Румянцевский музей 11 книг Чехословацкой торговой миссией. «Последнее получение, особенно ценное ввиду отсутствия притока новой литературы из славянских стран, явилось своего рода событием [...]», — писал он⁴⁷. В 1924 г. положение с получением новой литературы из славянских стран не улучшилось. В соответствующем отчете указано, что приток изданий из них «почти совсем иссяк»⁴⁸. В отчете за 1923 г. Поляков сообщал, что в подотделе составлялись описания «наиболее важных, ходовых и интересных» изданий. «Главным контингентом

поступления» были, по его словам, политические брошюры на разных славянских языках, отечественные белорусские и украинские издания. Среди них автор отчета отмечал пражские, парижские брошюры и немецкую литературу о Польше. По его словам, эти издания «имеют безусловно для текущего момента большой интерес, отчасти чисто информационный». «Русские солидные научные издания (Акад[емии] наук и другие), большей частью продолжение начатых ранее трудов на основании ранее собранных материалов», а также поступающие в подотдел работы «старых славистов», работающих «как бы по инерции», Поляков оценивал невысоко. «Какой-нибудь новой живой струи в русском славяноведении незаметно[...]», — писал он в отчете. Трудам отечественных ученых противопоставлялись работы немецких славистов, прежде всего сотрудников Института славистики в Лейпциге во главе с М. Фасмером. Отчет заканчивается «скромным пожеланием[...] о выписке» комплекта трудов этого института⁴⁹. Однако пожелание вряд ли удовлетворили: в отчете за следующий год сообщается: «Заявлявшиеся отделом неоднократные требования на *discederata* по новинкам и, главным образом, по части пособий библиографического и лексического характера, оставались гласом вопиющего в пустыне»⁵⁰.

В отчете за 1923 г. есть некоторые сведения и о читательском спросе на славистическую литературу. «В общем спрос касался больше всего пособий типа самоучителей для быстрого практического изучения славянских языков[...], а также пособий с текстами литературных памятников на разных славянских языках параллельно с переводом для подготовки к зачетам в вуз'ах», — отмечал Поляков⁵¹.

Летом 1925 г. Г. П. Поляков был переведен из подотдела славяноведения в другой отдел, на работу в подотдел вернулся А. К. Виноградов, освобожденный от должности директора⁵².

В 1928 г. А. К. Виноградов настойчиво просил выделить для подотдела второго сотрудника⁵³, в результате ему дали помощницу, болгарку Весу Иванову⁵⁴, политэмигрантку, учительницу по профессии. 1 июня 1929 г. Виноградов оставил работу в библиотеке, и В. Иванова до мая 1930 г. работала вместе с Бакаловым.

В середине 1929 г., когда подотдел славяноведения возглавил Г. Бакалов, работа по созданию Генерального систематического каталога уже была близка к завершению. Отставали лишь три-четыре подотдела. К ним заведующий Научно-библиографическим отделом Ю. В. Готье (он уже

упоминался в предыдущих очерках) относил и подотдел славяноведения, где имелся «почти только материал для предметно-систематического каталога»⁵⁵. Этот материал был плохо систематизирован и чрезвычайно неполон: русская литература выявлена только на 50%⁵⁶, просмотр иностранного алфавитного каталога даже не начат⁵⁷.

Готье предлагал укрепить отстающие участки кадрами, но в отношении подотдела славяноведения он сделал исключение. С учетом того, что подотдел «в настоящее время имеет нового заведующего, прекрасного знатока балканского славянства», предлагалось «Отдел славяноведения оставить пока без изменений, возможно, что в будущем придется предусмотреть усиление подотдела специалистом по западному славянству»⁵⁸.

Бакалову не только пришлось выполнять основную работу в подотделе, но и обучать Весу Иванову, а после ее ухода из библиотеки заменившую Иванову выпускницу Цикла истории южных и западных славян МГУ Евгению Алексеевну Птицыну (Беркову)⁵⁹. Впоследствии «Е. А. Беркова с благодарностью вспоминала своего наставника, который помог ей освоить библиотечную специальность»⁶⁰.

Г. Бакалов, вместе с тем, учился и сам. Он знакомился с практикой работы библиотеки, читал литературу по библиографии⁶¹. Большое значение для повышения библиотечной квалификации имело участие Бакалова в работе Ученого совета и производственных совещаний⁶². Следует отметить, что Бакалов был одним из тех, на кого опирался В. И. Невский. Об этом пишет П. Б. Соколова, беседовавшая со знавшими Бакалова сотрудниками библиотеки⁶³, об этом свидетельствуют и некоторые документы. Сохранились, например, сведения о поддержке Бакаловым плана дирекции о реорганизации Научно-библиографического отдела с целью создания условий для выполнения специалистами отдела крупных библиографических работ⁶⁴.

Плоды работы Г. Бакалова стали видны уже через несколько месяцев. За конец 1928 и первые семь месяцев 1929 г. в подотделе был просмотрен 21 ящик алфавитного каталога, а за два последующих месяца Бакалов и его помощница просмотрели уже 24 ящика⁶⁵.

Ликвидировались залежи нерасставленных карточек, было сделано свыше ста заказов на отсутствовавшие в библиотеке издания, проводился ряд других работ⁶⁶. В одном из отчетов Отдела иностранного комплектования в числе наиболее крупных приобретений библиотеки отмечались «труды Болгарской академии от начала издания»⁶⁷.

С осени 1929 г., сохраняя высокие темпы просмотра алфавитного каталога, Бакалов и Птицына приступили к разработке схем детальной классификации литературы о славянских странах и народах. Составление классификационных схем было завершено в самые сжатые сроки: в июле 1930 г. закончена схема по Украине, в августе — схемы по Югославии, Болгарии, Чехословакии и Белоруссии, в сентябре — схема по Польше и схема общеславянского отдела⁶⁸.

В ноябре 1930 г. Г. Бакалов и Е. А. Птицына завершили просмотр русской части алфавитного каталога и приступили к просмотру его иностранной части⁶⁹. Одновременно они начали составлять и вводить в каталог карточки на статьи из крупнейших журналов по славяноведению⁷⁰.

Планом работы подотдела на 1931 г. предусматривалось завершение работы над систематическим каталогом, роспись 16 крупнейших зарубежных научных и научно-популярных журналов («The Slavonic Review», «Archiv für slavische Philologie», «Revue des études slaves», «Slavia», «Българска мисъл» и др.), совершенствование классификации, ведение текущей работы по комплектованию и выполнению библиографических справок⁷¹.

В производственных планах подотдела славяноведения рукопись «Революционной книги Болгарии» не упоминается, вплоть до конца 1930 г. не фигурирует она и в издательских планах библиотеки; однако, без сомнения, Бакалов продолжал совершенствовать свое детище, о котором еще 18 сентября 1928 г. писал В. Д. Бонч-Бруевичу как о готовой работе⁷². Свидетельство тому — наличие в картотеке труда Бакалова некоторых изданий 1929—1931 гг. и датировка введения ноябрем 1931 г.

Труд Бакалова соответствовал направлению научно-библиографической деятельности «Ленинки», избранному В. И. Невским, который в начале 1930 г. предложил в качестве «ближайшей первоочередной работы» вести «работу по составлению библиографии революционной литературы»⁷³. В связи с этим вполне естественным стало решение Бакалова предоставить право издания «Революционной книги...» библиотеке. Труд Г. Бакалова появился в издательском плане «Ленинки» на 1932 г., утвержденном 26 сентября 1931 г. заведующим сектором науки Наркомпроса И. К. Лупполом. В плане указано, что «библиография готова». Ее предполагалось выпустить в первом квартале 1932 г. тиражом 1 000 экземпляров⁷⁴. Автором вступительной статьи и редактором библиографии должен был быть В. И. Невский⁷⁵. Для окончательной отделки своего труда Бакалов взял полуторамесячный отпуск, который потом дважды продлевал⁷⁶.

Не позже конца декабря 1931 г. «Революционная книга Болгарии» была сдана в Издательский отдел. Это видно из надписи «К изд. № 11» в штампе библиотеки. Штамп стоит на приложенном к рукописи листке с адресом «Сектор науки Наркомпроса. Тов. И. К. Лупполу. *Лично*». На том же листке есть и штамп Наркомпроса РСФСР, с датой получения рукописи «5 января 1932 г.». С какой целью Луппол ознакомился с библиографией Бакалова, неизвестно. Но такое начальственное внимание не сулило «Революционной книге...» ничего хорошего. Защищать свое детище Г. Бакалов, по-видимому, был не в состоянии в связи с отъездом весной 1932 г. в Болгарию, возможно, его уверили, что библиография будет напечатана. «Революционная книга...» (видимо, для проформы) попала даже в издательский план библиотеки на 1933 г.⁷⁷, однако имеется документ, показывающий, что после отъезда Бакалова труд его печатать не собирались. Судьбу библиографии проясняет записка от 13 июля 1932 г. за подписью: С[екрета]рь Зелина. Вот ее текст: «В спец[иальное] хранение. Т[оварищу] Хавкиной. Препровождается для хранения архив (одна коробка) рукописи (5 пачек и одна тетрадь) тов[арища] Бакалова». На обороте есть расписка Хавкиной: «Получила 13/VII 32. Хавкина»⁷⁸. Так рукопись попала в спецхран, была на тридцать лет предана забвению и оказалась на краю гибели.

Рукопись Г. Бакалова состоит из титульного листа с названием «Революционная книга Болгарии: Библиография революционной книги в Болгарии за 1875—1929 гг. Составил Г. Бакалов. Предисловие В. И. Невского» и оглавления; напечатанных на пишущей машинке вводной статьи, перечня условных знаков и сокращений, одиннадцати статистических таблиц, «Указателя личных имен», «Словаря непонятных для русского болгарских слов». Основной частью «Революционной книги...» является рукописная картотека (2 694 библиографических записей). К рукописи приложено несколько страниц с перепечатанными на машинке отрывками из картотеки, а также упомянутый выше листок с адресом И. К. Луппола. Предисловие В. И. Невского в рукописи отсутствует, не обнаружено оно и в его архиве.

Из введения к библиографии видно, что автор приступил к работе над ней в 1923 г.⁷⁹ Для сбора материала он использовал не только крупнейшие библиотеки Болгарии и болгарские библиографические указатели, но и материалы из библиотеки ЦК БКП, частных библиотек, библиотек различных профсоюзов и рабочих клубов. «Благодаря тому, что составитель вырос с революционной книгой и знал ее по памяти, он не только

случайно попадал на неописанные книги, но прямо и определенно их подыскивал [...]. Таким образом, ему удалось сделать максимум того, что можно было сделать для более полного описания революционной книги», — писал Бакалов⁸⁰.

В эмиграции Г. Бакалов продолжал работать над «Революционной книгой...». Большие возможности для пополнения своей картотеки он получил в Москве во время работы в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса, где смог детально обследовать библиотеку института, богатую литературой по истории революционного движения. Свою библиотеку в распоряжение Бакалова предоставил также один из руководителей Болгарской компартии и Коминтерна В. Коларов⁸¹.

И объем картотеки Бакалова, и сами библиографические записи, и, особенно, вводная статья к труду, свидетельствуют о подлинно научном подходе болгарского коммуниста к созданию указателя. Он не пытается классифицировать материал по темам или политическим течениям, как было принято тогда в советских библиографических изданиях, а располагает его в хронологической последовательности, что дает наглядное представление о развитии революционной литературы. Краткие политические характеристики содержатся (правда, лишь для части авторов включенных работ) в именном указателе. В библиографические описания книг, кроме фамилий авторов, заглавий и других сведений, обычно имеющих в указателях литературы, Г. Бакалов ввел ряд дополнений с известными ему подробностями из истории изданий. Он уточняет фамилии авторов, раскрывает имена переводчиков, иногда сообщает о судьбах книг. Особенно много дополнительных сведений имеется в картотеке о работах самого Бакалова. Он, например, указывает на себя как на переводчика лекции Ф. Лассаля «Программа на работниците» (Търново, 1882) и очерков М. Горького «В Америка» (София, 1925), отмечает, что является составителем анонимного «Каталога на книгите и брошюрите, които са препоръчват на членовете на Работническата социал-демократическа партия за систематическо четене и самообразование» (София, 1901). В библиографию трудов Г. Бакалова, составленную Й. Данчевой, эти работы включены не были.

Иногда в картотеке имеются неточности, связанные с ошибками памяти Бакалова при восстановлении тех или иных отсутствующих в книгах сведений, описания некоторых книг остались неполными. Это, однако, не может умалить значения его библиографического труда как наиболее полного репертуара революционной книги Болгарии.

Важной составной частью работы Бакалова является введение. Там рассказано об условиях, в которых создавалась революционная литература различных направлений, показана связь важнейших явлений в области истории революционной книги с обстановкой в стране, отмечается влияние революционной литературы на рабочее движение, говорится о виднейших пропагандистах революционных идей. Бакалов подчеркивает популярность в Болгарии русской передовой литературы, особенно произведений Г. В. Плеханова и М. Горького, много внимания уделяет изданиям работ К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. В то же время он подчеркивает, что в «Революционную книгу...» включено все то, что «сыграло когда-то [...] революционизирующую роль [...], толкало мысль болгарской передовой интеллигенции вперед к социализму, расчищало путь для пролетарской идеологии [...]»⁸².

Значительная часть введения посвящена анализу источников, использованных для сбора вошедшего в библиографию материала. В специальном разделе обосновываются особенности написания слов в описаниях ряда книг. В связи с этим Бакалов кратко останавливается на борьбе за упрощение болгарского правописания, которая велась при активном участии издателей социалистической книги, в том числе и самого Бакалова.

Большой интерес представляют отрывки введения, имеющие автобиографический характер. Бакалов вспоминает, с каким вниманием лучшие представители болгарской молодежи читали произведения Белинского, Герцена, Чернышевского, рассказывает о своей деятельности по распространению в Болгарии прогрессивной литературы.

Бакалов попытался статистически интерпретировать результаты проведенного им библиографического учета литературы. В приложенных к библиографии таблицах приводятся статистические сведения об издании книг по годам, об их политической направленности, о типографиях, о доле революционной книги в книжной продукции Болгарии и т. д. В одной из таблиц перечислены авторы и переводчики, работы которых представлены в картотеке более чем пятью названиями. Как видно из этой таблицы, самым активным болгарским автором и переводчиком социалистической книги был Г. Бакалов: он является автором 64 книг, ему принадлежат 292 перевода.

Библиографический труд Бакалова до настоящего времени остается наиболее полной библиографией революционной книги Болгарии. Он дает возможность отчетливее представить объем и характер библиогра-

фической деятельности Г. Бакалова, позволяет точнее определить его вклад в развитие болгарской и советской науки, проникнуть в научную лабораторию ученого.

Трагическая судьба обреченной на забвение в Советском Союзе библиографии не изменила отношения Г. Бакалова к «Ленинке», ее сотрудникам и ее директору. Об этом свидетельствует активное участие Г. Бакалова в пополнении фондов библиотеки после отъезда из СССР.

Весной 1932 г. Г. Бакалов, воспользовавшись некоторым смягчением политического режима в Болгарии, уехал на родину. Еще перед отъездом он подарил библиотеке свыше ста принадлежавших ему книг, отдельных номеров журналов и листовок. В делах секретариата библиотеки хранится расписка в приеме «от тов[арища] Бакалова 1) 54 книг и брошюр; 2) 14 листовок; 3) 36 журналов преимущественно на болгарском языке»⁸³. Расписка датирована 10 июля 1932 г., когда Бакалов уже находился в Болгарии, поэтому она не могла быть ему вручена. После основного текста на расписке имеется запись о том, что «означенное поступление зарегистрировано в группе приема за регистратурными №№ 2206—2271, 1069—1076 [...]»⁸⁴. Обращение к инвентарям, регистрационным книгам и каталогам позволило разыскать 48 указанных в расписке книг, все листовки, 4 названия (26 номеров) журналов, а также 4 гектографированных документа, которые в расписке не указаны. На всех изданиях кроме одного стоит номер пожертвования «Пож. 75/1932».

Наряду с изданиями на болгарском языке, Г. Бакалов передал в «Ленинку» отдельные номера французских и немецких коммунистических журналов, пять французских и одну чешскую книгу. На русском языке в пожертвовании материалов немного: две книги, изданные в Болгарии, одна листовка и три гектографированных документа. Большую часть книг своей личной библиотеки Бакалов, как это видно из его заявления директору болгарской полиции от 29 мая 1933 г., поручил переслать в Болгарию. Среди посланных ему книг была научная, художественная, справочная литература на болгарском, французском, немецком, английском и русском языках⁸⁵. На родине болгарскому марксисту были особенно необходимы советские издания, так как он после возвращения из СССР особенно активно начал издавать и пропагандировать произведения советских авторов. Этих изданий совсем нет в составе дара Бакалова. Нет в нем и работ дарителя, изданных в СССР, которые, как он хорошо знал, библиотека получала в виде обязательного экземпляра.

На ряде книг Г. Бакалова имеются его подчеркивания и пометы. На задней обложке брошюры с текстом документов конференции Рабочей партии Болгарии⁸⁶ с внутренней стороны записаны названия нескольких болгарских журналов. На собрании стихотворений Х. Ботева, вышедшем в Софии на русском языке в переводе К. Кюлявкова (София, 1921), есть автограф: «София, 14/IV 1922. Г. Бакалов»; он показывает, что эту книгу Бакалов взял с собой в эмиграцию и не расставался с ней до возвращения на родину. Представляют несомненный интерес дарственные надписи Г. Бакалову на двух французских и одной чешской книгах. «Французские» надписи сделаны в 1927—1928 гг., когда Бакалов работал во Франции. Их авторами являются деятели коммунистического движения — редактор журнала «Humbles» Морис Жорж (пользовался псевдонимом Морис-Парижанин) и журналист, одно время член Исполкома Коминтерна и редактор газеты «Юманите», Шарль Раппопорт. Впоследствии оба эти убежденных марксиста были причислены первый — к «контрреволюционерам-троцкистам», второй — к ревизионистам⁸⁷. Таким образом, надписи свидетельствуют о связях Бакалова с творчески мыслящими видными деятелями Французской коммунистической партии. Надпись на чешской книге сделана чехословацким кинорежиссером Л. Лингартом во время его пребывания в 1930 г. в СССР. Она гласит: «Дорогому тов. Бакалову в Москве. 30/XI 30. Лубомир Лингарт»⁸⁸.

подавляющее большинство книг из коллекции Бакалова — нелегальные издания Болгарской коммунистической партии и действовавших под ее руководством организаций, которые не всегда сохранились в крупнейших болгарских библиотеках и архивах, иногда не отражены в библиографиях. Некоторые из них привлекают внимание даже внешним видом — для удобства перевозки и подпольного распространения напечатаны мельчайшим шрифтом и на тонкой бумаге, не имеют обложек⁸⁹.

Одна из книг, пожертвованных Бакаловым, в силу своей приспособленности к конспирации даже миновала спецхрановское заточение, несмотря на то, что в ней под одной обложкой были напечатаны документы Коминтерна, доклады И. В. Сталина и Н. И. Бухарина⁹⁰.

В собрании Бакалова среди многочисленных выпусков серии брошюр «Библиотека “Коммунистическое знамя”» есть сборник «Коммунисты и борьба против войны и военной опасности» с публикацией статьи В. И. Ленина «Заметки по вопросу о задачах нашей делегации в Гааге»⁹¹, которая осталась неизвестной составителям библиографического указателя «В. И. Ленин на болгарском языке»⁹². Не были опубликованы при ком-

мунистическом режиме в соответствующих томах собрания резолюций и решений болгарской компартии (в книге есть только сообщение о пленумах ЦК, на которых принимались эти резолюции, и осуждающая их резолюция Коммунистического Интернационала)⁹³ две напечатанные на гектографе резолюции III пленума ЦК БКП левосектантского характера, сохраненные Бакаловым⁹⁴. На некоторых листовках есть пометы, позволяющие уточнить даты их публикации⁹⁵.

В коллекции есть также почти полный комплект журнала «Коммунистическо знаме» за 1926—1928 и 1930—1931 гг., три брошюры, изданные на болгарском языке различными социалистическими организациями США⁹⁶ и другие ценные материалы. Особо следует отметить книги и брошюры по общественным и религиозным вопросам Г. С. Петрова. Священник либеральной ориентации, депутат II Государственной думы от кадетской партии, русский эмигрант, обосновавшийся в Югославии, Петров очень любил Болгарию. Многие его произведения были написаны специально для болгар и широко распространялись в стране благодаря усилиям болгарского друга Петрова Д. Божкова⁹⁷. Из переведенных на болгарский язык и опубликованных в 1925—1935 гг. 44 книг Г. С. Петрова, в коллекции Г. Бакалова находятся 13. На их страницах имеются многочисленные подчеркивания, свидетельствующие о внимательном изучении Бакаловым взглядов Петрова на нравственные основы религии, на школу и искусство, на трагедию России, на современное общество с точки зрения идеалов праведной жизни и т. д. Этот интерес показывает, что Бакалову не были чужды интересы, выходящие за пределы ортодоксального марксизма. Подаренные Г. Бакаловым издания отсутствовали в Библиотеке имени Ленина и обогатили ее фонды.

После возвращения в Болгарию Г. Бакалов не забыл «Ленинку» и в меру своих возможностей продолжал содействовать пополнению ее литературой. Сохранилась интересная переписка Г. Бакалова с В. И. Невским, а также письма Бакалова и советского полпреда в Болгарии Ф. Ф. Раскольникова, адресованные Е. Ф. Размирович, сменившей Невского на посту директора. Они связаны с выполнением болгарским марксистом одного из поручений директора «Ленинки». При отъезде Бакалова из СССР Невский просил его разыскать и приобрести для библиотеки комплекты газеты болгарских «тесняков» «Работническо дело» и теоретического органа партии журнала «Ново време». Г. Бакалову удалось сравнительно быстро разыскать экземпляр газеты за все 27 лет ее издания, и 5 октября 1932 г. он обратился к Невскому с просьбой перевести за нее

деньги, уведомив при этом, что уже уплатил владельцу аванс⁹⁸. Однако дальше начались сложности и проволочки. Последующие письма свидетельствуют о самоотверженности, с которой Г. Бакалов пытался в течение почти четырех лет сохранить газету для библиотеки, а также о необязательности руководителей «Ленинки» и скудости выделяемых на ее нужды средств. «Вопрос о реализации Вашего заказа стал уже для меня вопросом существования. Журнал мой запрещен. Запрещена и вся та периодика, в которую я работал. А книги подвергаются строжайшей цензуре, и стало невозможно их выпускать», — писал Бакалов Невскому 22 июня 1934 г. из Софии⁹⁹. Далее было объяснено, что болгарский марксист не имел возможности отказаться от выплаты задатка, как советовал ему Невский, «ибо иначе я бы не мог сохранить комплект за нами». Бакалов просил разрешения, при отсутствии у библиотеки средств, предложить комплект газеты другой библиотеке. «Но я бы очень вас просил, — заключал он письмо, — сделать все возможное, чтобы библиотека получила комплект». 2 июля Бакалов повторил свою просьбу уже из Парижа. «Здесь я попал по воле судьбы всего на несколько дней, без средств даже на обратный ж[елезно]д[орожный] билет, — писал, не справляясь с эмоциями, и мешая, в результате, русские и болгарские обороты, Бакалов. — Боюсь, что промедление может стать катастрофальным, ибо, хотя комплект более или менее хорошо запрятан, его можно будет при частых обысках найти и бесцеремонно уничтожить»¹⁰⁰.

Ответы Невского содержали категорические отказы приобрести заказанную ранее газету. «Как Вам должно быть хорошо известно [...], Ленинская библиотека не обладает сама никакой валютой [...], — писал в одном из таких писем Невский. — Все покупки за границей производятся Международной книгой. При этом план приобретений заранее строго продумывается и согласовывается с соответствующими органами. Я полагал, что удастся приобрести это издание во внеплановом порядке, но это оказалось невозможным»¹⁰¹.

О дальнейших усилиях Г. Бакалова добиться приобретения «Рабочего вестника» и журнала «Новое время» библиотекой, свидетельствуют письма, адресованные Е. Ф. Размирович, возглавившей «Ленинку» после ареста и расстрела не угодившего партийной верхушке В. И. Невского. В письме Бакалова от 12 июня 1935 г. подробно изложена история заказа газеты и журнала. В нем сообщается о возможностях оплаты заказа при содействии советского торгпредства и вновь предлагается приобрести «Рабочий вестник», а также разысканный Бакаловым комплект жур-

нала «Ново време»¹⁰². В одной папке с письмом Г. Бакалова находится письмо полпреда СССР в Болгарии Ф. Ф. Раскольниково от 6 июля 1935 г. «Предлагаемые т[оварищем] Бакаловым комплекты газеты “Работнически вестник” и журнала “Ново време” на днях нам будут переданы на сохранение в Полпредство, — писал Раскольников. — По моему мнению, этот единственный сохранившийся комплект периодических органов болгарской партии очень ценен и его следует приобрести. Расчет с т[оварищем] Бакаловым мы сможем произвести здесь в местной валюте, если эквивалент этой суммы Вы внесете в Финансовый отдел НКВД СССР. Если Вы найдете, что назначенная сумма за предлагаемые комплекты велика, можно сбавить ее, но не следует упускать случая приобрести ценную коллекцию»¹⁰³.

Однако ни усилия Бакалова, ни рекомендация Раскольникова не возымели действия. 10 сентября Е. Ф. Размирович ответила советскому полпреду в Болгарии, что «сумма, назначенная за предлагаемые тов[арищем] Бакаловым комплекты газет болгарской компартии слишком велика для имеющихся в текущем году валютных ресурсов библиотеки» и просила «задержать вышеуказанные газеты до будущего года», имея в виду, что «в будущем 1936 г. библиотека получит значительно большие ассигнования на приобретение иностранной литературы»¹⁰⁴. Но ни «Работнически вестник», ни «Ново време» в библиотеку в 1930-е годы так и не поступили. Возможно, это было связано не только с отсутствием валюты, но и со смещением с поста полпреда Ф. Ф. Раскольникова, его известным письмом И. В. Сталину с критикой террора в СССР и последующей смертью при невыясненных обстоятельствах.

Несмотря на чинимые Г. Бакалову болгарскими властями препятствия, о которых так эмоционально сообщается в цитированном уже письме В. И. Невскому, болгарский марксист сумел развернуть на родине активную издательскую и публицистическую деятельность. Уже в августе 1932 г. он начал выпускать журнал «Звезда», в котором освещал литературную и общественную жизнь Болгарии, пропагандировал художественную литературу СССР, достижения советской науки и культуры. Дело «прихлопнутого переворотом 19 мая» журнала¹⁰⁵ продолжил фактически руководимый Бакаловым журнал «Нова литература» (1935—1936 гг.). Болгарский марксист публикует многочисленные статьи и рецензии, выходит ряд книг Г. Бакалова о болгарской литературе, болгарском национально-освободительном движении и русско-болгарских революционных связях, о Советском Союзе. В переводах Г. Бакалова, с его предисловиями и под его

редакцией издаются книги общественно-политической тематики, произведения классиков мировой и особенно русской литературы, художественная литература и научно-популярная литература советских авторов.

Все свои издания Г. Бакалов обязательно старался переслать в «Ленинку»; в результате оказалось, что в библиотеке до сих пор хранится подавляющее большинство изданий, выпущенных Бакаловым в последний период жизни¹⁰⁶.

Библиотека располагает почти полным комплектом журнала «Звезда», который, как свидетельствуют пометы на номерах журнала и в инвентарной книге, приобретался непосредственно у Г. Бакалова за валюту или в обмен на нужную ему советскую литературу¹⁰⁷. Книги же Бакалов посылал библиотеке преимущественно в качестве дара.

Из 47 книжных изданий, выпущенных Г. Бакаловым в 1932—1939 гг. на болгарском языке, в библиотеке имеются 33 названия. Первая посылка была получена библиотекой в 1933 г.; она состояла всего из одной книги. В марте 1934 г. от Бакалова пришла посылка из десяти книг 1933 и 1934 гг. издания. Поступившие книги зарегистрированы в инвентарных книгах иностранных поступлений за 1932—1933 и 1933—1935 гг. как пожертвования¹⁰⁸. На каждой книге имеется дарственная надпись Г. Бакалова и пометы с номерами пожертвований, сделанные при регистрации. Среди книг, присланных автором, его очерк «Интервью за Съветския Съюз» (София, 1933), работы 1934 г. «Против меншевизма в литературоведението», «Христо Ботев», «Г. С. Раковски», «Алеко Константинов и Бай Ганю», а также переводы советской общественно-политической литературы. Некоторые дарственные надписи показывают, что адрес библиотеки использовался болгарским марксистом для пересылки своих книг и по другому назначению. Это видно при просмотре вторых экземпляров четырех названных выше авторских книг Бакалова 1934 г. издания, зарегистрированных как пожертвование 46/1933 «от автора», но имеющих дарственные надписи М. Горькому¹⁰⁹.

В 1935 г. Бакалов вновь послал свои издания в «Ленинку». «Высылаю в библиотеку мой новый журнальчик “Нова литература” и последние две мои книжки “Николай Чернишевски” и “Васил Левски”, — писал он Е. Ф. Размирович в упомянутом уже выше письме¹¹⁰.

Видимо, посылка Бакалова на этот раз не дошла по назначению — в инвентарной книге иностранных поступлений за 1933—1935 гг. эти издания не значатся, а имеющиеся в библиотеке экземпляры получены позже и по другим каналам.

Вторая половина 1930-х годов была особенно трудной для Г. Бакалова. Болгарские власти чинили всяческие препятствия его публицистической и издательской деятельности, мешали ему заниматься научной работой. Осенью 1937 г. за чтение публичных лекций Г. Бакалов был на два месяца выслан из Софии. Под особым контролем находились его связи с Советским Союзом. Из писем болгарского марксиста заместителю председателя Иностранной комиссии Союза советских писателей М. Я. Аплетину, опубликованных В. И. Злыдневым¹¹¹, видно, что цензура очень часто задерживала посылаемые ему советские издания. Поддерживать в этих условиях регулярные связи с советскими учреждениями было невозможно.

Новая посылка от Бакалова поступила в «Ленинку» только в сентябре 1938 г. В инвентарной книге иностранных поступлений под 13 сентября зарегистрировано девять книг болгарского коммуниста и три сделанных им перевода в качестве «дара от автора»¹¹².

В тот же день в инвентарную книгу занесены названия еще десяти книг, на титульных листах девяти из них Бакалов или его жена С. Попова-Бакалова значатся как переводчики и редакторы.

Согласно записи, все книги получены из Болгарии «через ВОКС» как пожертвования или в порядке книгообмена. Одновременное занесение в инвентарную книгу материалов Бакалова, полученных от автора и от Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, заставляет предположить, что Бакалов подготовил одну посылку. Он отправил посылку, вероятнее всего, в ВОКС с просьбой передать книги в «Ленинку» и выслать интересовавшую его литературу (в письмах М. Я. Аплетину Бакалов часто просил достать для него то или иное издание «на Грузинском сквере», т. е. на Большой Грузинской улице, где помещался ВОКС). В результате библиотека получила часть книг в виде дара, а другую — в порядке книгообмена. Книги, полученные в посылке 1938 г., изданы в 1937—1938 гг. Среди них — работы Г. Бакалова о болгарском национальном Возрождении и деятелях болгарского национально-освободительного движения, о болгарской литературе, а также переводы, сделанные Г. Бакаловым или опубликованные под его редакцией. Серию книг Бакалова, полученных библиотекой, завершает подготовленный при его участии перевод двух первых томов очерка советского ученого Ф. П. Шиллера «История западноевропейской литературы»¹¹³. Перевод, выполненный С. Поповой-Бакаловой и Г. Бакаловым, авторизован, как указано на титульных листах, автором книги. В инвентарной книге оба тома зарегистрированы как «дар», но фамилия дарителя там не указана, и поэтому о присылке их Бакало-

вым можно говорить лишь предположительно. Третий том перевода книги Шиллера (София, 1939) библиотека получила уже после кончины Бакалова, наступившей 14 июля 1939 г.

Дары Г. Бакалова — вещественное воплощение его сердечного отношения к «Ленинке» и ее сотрудникам, его заботы о пополнении фондов главной библиотеки Советского Союза, — страны, которую болгарский марксист любил и высоко ценил, с историей и культурой которой постоянно знакомил болгарского читателя. Его работа в славянском подотделе — вклад в создание нового славяноведения этой страны, приходящего на смену умирающему (и убиваемому) классическому славяноведению. Наконец, его «Революционная книга Болгарии» — по-настоящему научный труд, не только внесший значительный вклад в историографию болгарского социалистического движения, но и сохранивший ценность для исследователей до настоящего времени.

Примечания

¹ ОР РГБ. Ф. 218. Карт. 1269. Ед. хр. 10. Л. Е. Грачева в ряде статей о Г. Бакалове первой половины 1980-х годов ошибочно считает, что рукопись была найдена автором настоящего очерка.

² Литературные труды тов. Бакалова в СССР // Работнически литературен фронт. София, 1932. 19.VII; *Бакалов Г.* Марксистката книга в България: историко-библиографически очерк // Звезда. София, 1932. Кн. 10. С. 441—450; Кн. 11. С. 486—494.

³ *Злыднев В. И.* К характеристике русских связей Георгия Бакалова: (Публикация) // Литература славянских народов. М., 1961. Вып. 6. С. 218—267.

⁴ *Авджиев Ж.* Из архивното наследство на Георги Бакалов // Известия на Института за литература. София, 1962. Кн. 13. С. 123—142.

⁵ *Данчева Й.* Георги Бакалов като библиограф // Годишник на Български библиографски институт «Елин Пелин». София, 1963. Т. 9. С. 135—144.

⁶ *Данчева Й.* Георги Бакалов: Био-библиография. София, 1963. 240 с.

⁷ См. отчеты о конференциях 1966 г. в Москве и Воронеже, опубликованные в журналах: Советская библиография. 1966. № 3. С. 83—84; Советское славяноведение. 1966. № 4. С. 101—106.

⁸ *Горяинов А. Н.* Неопубликованный библиографический труд Г.Бакалова «Революционная книга Болгарии» // Зап. отд. рукописей / Гос. ордена Ленина библиотека СССР им. В. И. Ленина. М., 1967. Т. 29. С. 142—157.

⁹ *Злыднев В. И.* Указ. соч. С. 221.

¹⁰ Там же.

¹¹ *Чернявский Г. И.* Путь Георгия Бакалова в историческую науку // Биография как жанр славистики. Тверь, 1991. С. 30—33.

¹² Там же. С. 33.

¹³ Злыднев В. И. Русско-болгарские литературные связи XX века. М., 1964. С. 53—54.

¹⁴ Краткие отзывы В. Д. Бонч-Бруевича на подготовленные Г. Бакаловым публикации см.: ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 54. Ед. хр. 23—27.

¹⁵ Там же. Карт. 127. Ед. хр. 16. Л. 1 об.

¹⁶ Арх. РГБ. Оп. 39. Ед. хр. 37. Л. 6.

¹⁷ См.: Злыднев В. И. Русско-болгарские литературные связи XX века... С. 125—146; Он же. Из историята на руско-българските научни връзки // Литературна мисъл. София, 1960. № 2. С. 93—102.

¹⁸ Подробнее см.: Горяинов А. Н. Советская славистика 1920—1930-х годов // Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981. С. 9—14. О польских национальных районах см. также: Костюшко И. И. Польское национальное меньшинство в СССР: (1920-е годы) М., 2001. 223 с.

¹⁹ Бернштейн С. Б. Зигзаги памяти: Воспоминания. Дневниковые записи. М., 2000. С. 293.

²⁰ См., например: Марков Д. Ф. Славистика как комплекс научных дисциплин // Методологические проблемы истории славистики. М., 1978. С. 7—17; Он же. Сравнительно-исторические и комплексные исследования в общественных науках: из опыта изучения истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1983. 237 с.

²¹ Арх. РГБ. Оп. 39. Ед. хр. 37. Л. 4.

²² Там же. Л. 2, 2об.

²³ Злыднев В. И. К характеристике русских связей Георгия Бакалова... С. 221.

²⁴ Захарова-Цедербаум К. И., Цедербаум С. И. Из эпохи «Искры» (1900—1905 гг.). М.; Л., 1926. С. 3—6.

²⁵ См.: Арх. РГБ. Оп. 51. Ед. хр. 34.

²⁶ Там же. Оп. 39. Ед. хр. 37. Л. 5.

²⁷ Там же. Л. 11.

²⁸ Злыднев В. И. К характеристике русских связей Георгия Бакалова... С. 221—222.

²⁹ Подробнее об этой работе Бакалова см.: Злыднев В. И. К характеристике русских связей Георгия Бакалова... С. 223, 225, 253—261, 264.

³⁰ Бакалов Г. Димитрий Благосев: «Дедушка» болгарского пролетариата: Воспоминания старого большевика. М.; Л., 1931. 63 с.

³¹ Боброва С. П. К вопросу об освещении Г. Бакаловым русско-болгарских революционных связей 60—70-х гг. XIX в. // Вопросы истории славян. Воронеж, 1982. [Вып. 7]. С. 3—19; Грачева Л. Е. Вопросы революционного движения в России в трудах Георгия Бакалова // Советское славяноведение. 1984. № 2. С. 37—50 и др.

³² Боброва С. П. Указ. соч. С. 7.

³³ Бакалов Г. Христо Ботев // Ботев Х. Избр. произведения. М.; Л., 1930. С. 3—82.

³⁴ Арх. РГБ. Оп. 39. Ед. хр. 37. Л. 12.

³⁵ Бакалов Г. Наша проект на правопис // Колективист. Харьков, 1930. 25. III.

- ³⁶ Злыднев В. И. Русско-болгарские литературные связи XX века... С. 57—58.
- ³⁷ Бернштейн С. Б. Указ. соч. С. 296.
- ³⁸ Чернявский Г. И. Указ. соч. С. 30—33.
- ³⁹ См.: Аксенова Е. П. «Изгнанное из стен Академии...»: (Н. С. Державин и академическое славяноведение в 30-е годы) // Советское славяноведение. 1990. № 5. С. 69—81.
- ⁴⁰ См.: Чернявский Г. И. Указ. соч. С. 39.
- ⁴¹ Злыднев В. И. Из историята на руско-български научни връзки... С. 95.
- ⁴² Грачева Л. Е. Научная и публицистическая деятельность Георгия Бакалова в СССР (1925—1932 гг.) // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1984. № 1. С. 86.
- ⁴³ Арх. РГБ. Оп. 40. Ед. хр. 706. Л. 116.
- ⁴⁴ Отчет Государственного Румянцевского музея за 1916—1922 гг.: [Корректирный отт.] М., б. г. С. 102—105.
- ⁴⁵ Арх. РГБ. Оп. 40. Ед. хр. 447. Л. 40.
- ⁴⁶ Там же. Оп. 17. Ед. хр. 203. Л. 48.
- ⁴⁷ Там же. Л. 48 об.
- ⁴⁸ Там же. Ед. хр. 252. Л. 32—33 об.
- ⁴⁹ Там же. Ед. хр. 221. Л. 45—46.
- ⁵⁰ Там же. Ед. хр. 252. Л. 33 об.
- ⁵¹ Там же. Ед. хр. 221. Л. 43—46.
- ⁵² Там же. Оп. 40. Ед. хр. 706. Л. 116; Ед. хр. 447. Л. 11.
- ⁵³ Там же. Ед. хр. 706. Л. 167, 168.
- ⁵⁴ Там же. Оп. 22. Ед. хр. 284. Л. 26.
- ⁵⁵ Там же. Оп. 7. Ед. хр. 395. Л. 4.
- ⁵⁶ Вычислено по годовым, месячным отчетам и производственным планам научно-библиографического отдела и подотдела славяноведения (См.: Там же. Оп. 12. Ед. хр. 25. Л. 12; Оп. 17. Ед. хр. 419. Л. 73—74 об.; Ед. хр. 417. Л. 12).
- ⁵⁷ Там же. Оп. 49. Ед. хр. 28. Л. 8—9.
- ⁵⁸ Там же. Оп. 17. Ед. хр. 395. Л. 4.
- ⁵⁹ Там же. Оп. 93. Ед. хр. 539. Л. 48.
- ⁶⁰ Соколова П. Б. Деятельность Г. Бакалова в Библиотеке им. В.И. Ленина // Труды Ленинградского института культуры. Л., 1968. Т. 19. С. 173.
- ⁶¹ Арх. РГБ. Оп. 17. Ед. хр. 401. Л. 28.
- ⁶² Там же. Оп. 14. Ед. хр. 29. Л. 3; Оп. 12. Ед. хр. 26. Л. 24; Оп. 49. Ед. хр. 37. Л. 2—3.
- ⁶³ Соколова П. Б. Указ. соч. С. 178.
- ⁶⁴ Арх. РГБ. Оп. 49. Ед. хр. 37. Л. 2—3.
- ⁶⁵ Там же. Оп. 17. Ед. хр. 401 а. Л. 59, 60; Ед. хр. 395. Л. 8 об.
- ⁶⁶ Там же. Ед. хр. 401. Л. 28; Ед. хр. 401 а. Л. 60.

- ⁶⁷ Там же. Ед. хр. 418. Л. 3—3 об.
- ⁶⁸ Там же. Ед. хр. 417. Л. 12.
- ⁶⁹ Там же.
- ⁷⁰ Там же. Оп. 12. Ед. хр. 25. Л. 92; Ед. хр. 32. Л. 23; Ед. хр. 25. Л. 56 и др.
- ⁷¹ Там же. Ед. хр. 32. Л. 23.
- ⁷² Злыднев В. И. К характеристике русских связей Георгия Бакалова... С. 233.
- ⁷³ Арх. РГБ. Оп. 49. Ед. хр. 10. Л. 5.
- ⁷⁴ Там же. Оп. 23. Ед. хр. 37. Л. 81—82.
- ⁷⁵ Там же. Оп. 42. Ед. хр. 4. Т. 2. Л. 76—77.
- ⁷⁶ Там же. Оп. 39. Ед. хр. 37. Л. 31—33.
- ⁷⁷ Там же. Оп. 42. Ед. хр. 4. Т. 2. Л. 76—77.
- ⁷⁸ Там же. Т. 1. Л. 3.
- ⁷⁹ ОР РГБ. Ф. 218. Карт. 1269. Ед. хр. 10. Л. 39.
- ⁸⁰ Там же. Л. 43.
- ⁸¹ Там же.
- ⁸² Там же. Л. 3.
- ⁸³ Арх. РГБ. Оп. 42. Ед. хр. 4. Т. 1. Л. 4.
- ⁸⁴ Там же.
- ⁸⁵ Съветска литература в България, 1918—1944. София, 1961. [Т. 1]. С. 407.
- ⁸⁶ Резолюция на вътрешното и международно положение на страната и задачи на Работническата партия, гласувана от общата ограничена партийна конференция, състояла се на 7 април 1931 г. в София и Директива за дейността в изборните учреждения. София, [1931]. 47 с.
- ⁸⁷ См.: Литературное наследство. М., 1969. Т. 81. С. 262; Российская еврейская энциклопедия. М., 1995. Т. 2. С. 446.
- ⁸⁸ Linhart L. Malá abeceda filmu. Praha, 1930. 85 s.
- ⁸⁹ См.: Българската комунистическа партия от 9 юни до днес... [Б.м., 1925]. 38 с. Без тит. л. и обл.; Из второто разширено заседание на ЦК БКП (т.с.). [Б.м., 1926]. 72 с.; Международното положение и задачите на Комунистическия Интернационал. [Б.м., 1927]. 47 с.
- ⁹⁰ Новите етапи в развитието на китайската революция. [Б.м., 1927]. 66 с.
- ⁹¹ Комунистите и борбата против войната и военната опасност. Б.м., [1927]. 56 с.
- ⁹² Едрева П., Кънчев С. Ленин на български: Библиография. София, 1970. 255 с.
- ⁹³ Българската комунистическа партия в резолюции и решения на конгресите, конференциите и пленумите на ЦК. София, 1954. Т. 3. С. 312, 406—415.
- ⁹⁴ Резолюция по отчету ЦК БКП... [Б.м., 1931]. 8 л.; Резолюция III пленума ЦК БКП по резолюции ИККИ по българскому вопросу... [Б.м., 1931]. 8 л. Эти резолюции напечатаны на гектографе по-руски.
- ⁹⁵ Декларация на Вътрешната македонска революционна организация (обединена)...

(помета Г. Бакалова: Октомври 1925 г.); Български работници във Франция! (помета Г. Бакалова: 22.VIII. 26. Париж); Позив: работници и работнички, трудящи се селяни, занаятчийски работници и трудови занаятчии, бедни служанци и чиновници, младежи на труда! (помета Г. Бакалова: Получено 14.II.29).

⁹⁶ *Дебс Е. В.* Индуриален юнионизъм... — Granite City, 1919. 31 с.; «Мините за минерите!»: един позив към действие. Б.м., б.г. 21 с.; Устав и платформа на Работническия международен индуриален юнион... Детройт (Мич.), б. г. 41 с.

⁹⁷ См. о нем: *Данчов Н. Г., Данчова И. Г.* Българска енциклопедия. София, 1936. С. 1211—1212.

⁹⁸ ОР РГБ. Ф. 384. Карт. 14. Ед. хр. 11.

⁹⁹ Арх. РГБ. Оп. 52. Ед. хр. 11. Л. 68—69.

¹⁰⁰ Там же. Оп. 43. Ед. хр. 28а. Л. 100.

¹⁰¹ Там же. Л. 42.

¹⁰² Там же. Оп. 54. Ед. хр. 16. Л. 30—32 об.

¹⁰³ Там же. Л. 29.

¹⁰⁴ Там же. Л. 28.

¹⁰⁵ Там же. Л. 32 об. Бакалов има в виду годината на годината на 19 май 1934 г., след което к властта дошли военните во главе с лидер на съюза «Звено» К. Георгиев.

¹⁰⁶ По-подробно за състава и библиографското значение на колекцията книги на Г. Бакалова см.: *Горяинов А. Н.* Печатни материали на Георгия Бакалова в фондовете на Годината на Годината на Библиотеката на СССР на име на В. И. Ленин: (из историята на българо-советските книжни връзки 1930-те г.) // Руско-български връзки в областта на книжното дело: Сб. науч. трудов. М., 1981. С. 121—137.

¹⁰⁷ Арх. РГБ. Оп. 24 д. Ед. хр. 39. Л. 6.

¹⁰⁸ Там же. Ед. хр. 306. Пож[ертвование] 45/1933; Ед. хр. 308. Л. 62. Пож[ертвование] 24/1934.

¹⁰⁹ Там же. Ед. хр. 308. Л. 105 об.

¹¹⁰ Там же. Оп. 54. Ед. хр. 16. Л. 30—32 об.

¹¹¹ *Злыднев В. И.* К характеристиката на руските връзки на Георгия Бакалова... С. 244—267.

¹¹² Арх. РГБ. Оп. 24 д. Ед. хр. 315. Л. 48—49. Пож [ертвование] 10/1938.

¹¹³ *Шилер Ф.* История на западноевропейската литература. София, 1938—1939. Т. 1—2.

В. И. Срезневский и А. Л. Бем: история дружбы через фронты и границы

Вполне благозвучная, звонкая и симпатичная, но все же немного странная и даже смешная фамилия «Бем», хорошо сочетавшаяся с обликом «самоотверженно служившего молодым дарованиям маленького хромого человечка»¹ и вызывавшая представление о добром гномике с длинной шевелюрой, растительностью на лице и палочкой в руке, впервые заинтересовала автора в 1960-е годы. При изучении материалов по истории отечественной библиографии славистической литературы, завершившемся написанием кандидатской диссертации, это имя часто попадалось в различных источниках. Альфред Людвигович Бем, в частности, был членом авторского коллектива одной из крупнейших российских библиографий вновь выходящих работ о языке, литературе и истории славян «Обозрение трудов по славяноведению» (СПб., 1909—1918), составлением которой руководил В. Н. Бенешевич. В тот же коллектив входил и Всеволод Измайлович Срезневский, младший сын знаменитого российского филолога. Чтобы выяснить вклад сотрудников «Обозрения» в славяноведение и библиографию, пришлось обратиться к биографиям членов авторского коллектива. О многих составителях сведения нашлись без труда, о Беме же и Срезневском их приходилось собирать по крохам, а во второй половине 1920-х годов об этих лицах прекратились всякие упоминания. Лишь обратившись к материалам фонда Срезневских в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве (ныне РГАЛИ)², удалось прочитать во многом трагические страницы последнего периода жизни В. И. Срезневского. В том же фонде обнаружены и интереснейшие письма А. Л. Бема³, в которых содержатся сведения о его нелегкой жизни и плодотворной деятельности в эмиграции до середины 30-х годов, а в Литературном архиве Музея национальной письменности в Праге нашлись не менее интересные ответные письма В. И. Срезневского⁴. К сожалению, переписка между Бемом и Срезневским сохранилась не вся. Совсем отсутствуют письма В. И. Срезневского за годы жизни Бема

в России, не сохранились или не были получены адресатами и некоторые письма двух ученых в эмигрантские годы А. Л. Бема.

Со временем удалось найти и некоторые другие эпистолярные материалы А. Л. Бема, а также посвященные ему письма третьих лиц. Найденные материалы свидетельствуют не только о научном сотрудничестве Бема и Срезневского, но и об их крепкой дружбе. Они представляют собой как бы комментарий к событиям личной и творческой жизни двух славистов, проникнуты тем «ароматом эпохи», без которого немислимо глубокое проникновение в историю и литературу, являются интересным историческим источником. В 1970-е годы появилась первая статья о В. И. Срезневском⁵ и краткие справки о Беме и Срезневском в энциклопедических изданиях. Однако серьезное изучение их жизни и деятельности стало возможным лишь в результате изменений политического строя в СССР и Чехословакии и образования независимой Чешской республики. Большой вклад в изучение творчества А. Л. Бема внесла чешская исследовательница М. Бубеникова. Вышли работы автора настоящей статьи о В. И. Срезневском. В ходе исследований возникла мысль о совместном издании М. Бубениковой и А. Горяиновым «Переписки Срезневского и Бема (книга вышла в 2005 г. в Чехии). Здесь хотелось бы, базируясь на этой переписке, остановиться на взаимоотношениях двух коллег и на их вкладе в славистические исследования.

Всеволод Измайлович Срезневский родился 29 мая 1867 г. в Санкт-Петербурге⁶. Младший ребенок в многочисленной семье одного из основоположников отечественного славяноведения академика Измаила Ивановича Срезневского, он в 1881 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. По воспоминаниям одной из сестер Всеволода, Веры Измайловны, младший Срезневский был центром семьи, за его образованием следила сестра Надежда, действовавшая «по поручению и предписаниям» самого Измаила Ивановича, семейный авторитет которого был непререкаем⁷. В студенческие годы Всеволод не только изучал право, но и приобщился к филологии, помогая сестре Ольге в подготовке к изданию «Материалов для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского⁸.

И атмосфера в семье, и участие в словарной работе не способствовали, по всей вероятности, формированию Всеволода Измайловича как юриста. Завершив обучение кандидатской работой о юридических терминах в «Русской правде», он поступил в 1891 г. в Публичную библиотеку, а в 1893 г. перешел в Библиотеку Академии наук⁹.

Библиотека Академии в конце XIX в. находилась в очень тяжелом положении ввиду хронического недостатка места, малочисленности штатного состава и устаревшей структуры¹⁰. Достаточно сказать, что библиотекой управляли два директора, один из которых руководил Первым (русским) отделением, а второй возглавлял Второе (иностранное), причем библиотечные процессы в каждом из отделений, начиная с комплектования литературы и кончая выдачей книг, были организованы по-разному. Всеволод Измайлович стал сотрудником Первого отделения, где хранились книги, периодические издания, а также рукописи на всех славянских языках. В течение трех лет он работал «приватно», т. е. вне штата, и лишь в 1894 г. был зачислен на должность старшего помощника библиотекаря. Срезневскому поручили заведование журнальным фондом и рукописным собранием отделения¹¹. За сравнительно короткое время ему удалось организовать журнальный отдел, выделив из общего массива хранящихся в отделении изданий русскую периодику и осуществив ее предварительное библиографическое описание.

Так возник отпечатанный в виде корректур «Список русских временных изданий». Он вобрал в себя сведения о русских журналах и газетах со времени их возникновения¹². При подготовке «Списка» к печати Срезневский дополнил его сведениями о периодических изданиях Публичной библиотеки и данными из печатных источников, превратив, по сути, в первую подробную библиографию русских журналов и газет.

Особенно плодотворной оказалась деятельность Всеволода Измайловича как археографа. По поручению назначенного в 1899 г. директором Первого отделения академика А. А. Шахматова, всемерно поддерживавшего Срезневского, он активно приводил в порядок рукописные фонды библиотеки, а затем вместе со своими немногочисленными помощниками приступил к работе по научному описанию рукописей. Согласно плану Шахматова и Срезневского, описания должны были составляться параллельно на старые фонды и на новые поступления и публиковаться в разных изданиях¹³. Первые выпуски этих изданий были опубликованы¹⁴, но дальше дело не пошло, оно оказалось не под силу небольшому числу сотрудников Рукописного отделения.

Принимая в описании рукописей самое активное личное участие, Всеволод Измайлович в то же время постоянно заботился о пополнении фондов отделения новыми рукописями. Благодаря его усилиям в Библиотеку Академии наук поступил ряд коллекций рукописных книг, среди

которых было и ценнейшее собрание его знаменитого родителя. Для сбора рукописей Всеволод Измайлович в 1901—1905 гг. регулярно совершал в летние месяцы археографические экспедиции на север России. В результате обследования северных губерний Срезневский сумел получить для библиотеки много памятников письменности, среди которых были целые собрания рукописей, например ценнейшее собрание епископа Олонецкого Павла Доброхотова, которое директор библиотеки академик А. А. Шахматов считал «неоценимым» в научном отношении¹⁵.

С работой в области археографии тесно переплелась деятельность В. И. Срезневского как слависта. Его славистические интересы проявились в довольно многочисленных трудах, посвященных преимущественно истории отечественной славистики. Всего, как сообщает сам Всеволод Измайлович, «научных работ он напечатал до 165»¹⁶.

В. И. Срезневский является автором биографических очерков о своем знаменитом отце в «Русском биографическом словаре» и в сборнике памяти И. И. Срезневского¹⁷. Он опубликовал письма И. И. Срезневского к матери из путешествия по славянским землям в 1839—1842 гг.¹⁸

Всеволодом Измайловичем написаны статьи о харьковском периоде жизни отца¹⁹, о составлении И. И. Срезневским «Материалов для словаря древнерусского языка»²⁰, об истории редактировавшихся им «Известий» и «Ученых записок» Отделения русского языка и словесности Академии наук²¹, о встречах Измаила Ивановича с И. П. Котляревским²², его отношении к творчеству Л. Н. Толстого²³ и т. д. По мнению М. Ю. Досталь, исследовавшей творчество И. И. Срезневского, главное достоинство этих работ составляет источниковая база, но они «страдают описательностью и тенденциозностью, так как главной целью их автора было представить отца в более выгодном свете, опровергнуть критические высказывания в его адрес...»²⁴

Младший Срезневский напечатал также несколько статей, в которых исследовал ранний период жизни и деятельности А. Х. Востокова; важным вкладом в изучение биографии этого выдающегося слависта стала осуществленная Всеволодом Измайловичем публикация его автобиографических заметок²⁵.

Наконец, В. И. Срезневским были изданы древнеславянский перевод византийской хроники Симеона Логофета²⁶ и некоторые памятники древнерусской литературы.

Публикации Всеволода Измайловича снабжены, как правило, обстоятельными примечаниями, указателями и приложениями. В приложениях он напечатал, в частности, ценные указатели литературы, например капитальную библиографию работ об И. И. Срезневском²⁷. В 1906 г. заслуги Всеволода Измайловича Срезневского как ученого, собирателя памятников письменности и издателя трудов отца получили признание высшего научного учреждения России: он был избран членом-корреспондентом Академии наук.

Археографические находки В. И. Срезневского вызвали широкий общественный резонанс. О них сообщали газеты, пристальное внимание к ним проявляли ученые. В итоге возрос авторитет Библиотеки Академии наук, увеличился приток в нее новых рукописей. Видимо, именно на этой почве возникли контакты Всеволода Измайловича с В. Д. Бонч-Бруевичем, одним из видных большевиков, входивших в ближайшее окружение В. И. Ленина. В начале 1900-х годов Бонч-Бруевич занимался изучением истории религиозных движений, порожденных народным протестом против деятельности церковных и государственных институтов. Ему удалось собрать много сектантских и старообрядческих рукописей, сделать интересные записи о жизни, быте и верованиях сектантов-духоборов. Собранные материалы были переданы Бонч-Бруевичем в Библиотеку Академии наук²⁸. Возникшие таким образом связи между Срезневским, Шахматовым и Бонч-Бруевичем вскоре упрочились и привели к поступлению в академическую библиотеку большого числа нелегально изданных и запрещенных цензурой социал-демократических изданий. В. Д. Бонч-Бруевич свидетельствует, что Срезневский и его сотрудники собирали материалы самых разных политических организаций. Наиболее подробно в его воспоминаниях рассказано о деятельности В. И. Срезневского по собиранию материалов социал-демократического направления. Бонч-Бруевич, в частности, пишет об использовании для их получения авторитета В. И. Ленина, который по просьбе Бонч-Бруевича дал указание большевистским организациям о присылке в Библиотеку Академии наук выпускаемой в России и за границей социал-демократической литературы²⁹.

Контакты с социал-демократами свидетельствовали не только о демократических убеждениях Срезневского, но и об его интересе, наряду со старинными манускриптами, к документам современности. Разделяя настроения, широко распространенные в российском обществе конца XIX и начала XX в., А. А. Шахматов и В. И. Срезневский еще в 1899 г.

пришли к выводу о необходимости максимально широко собирать материалы, отражающие взгляды сторонников различных общественных сил и политических направлений. Библиотека Академии наук становилась вследствие такого решения средоточием памятников общественной мысли новейшего времени. В соответствии с ним Срезневский стал принимать в Рукописное отделение не только архивные документы (например, дал согласие на присылку туда архива Латышской социал-демократической партии)³⁰, но и печатные материалы революционных организаций.

Особенно значительными оказались поступления в академическую библиотеку материалов Л. Н. Толстого. В это известное и престижное в глазах интеллигенции хранилище родственники Толстого передавали творческие рукописи и письма писателя³¹.

Вследствие действовавшего в России порядка, согласно которому Академия наук не подлежала цензуре, в ее библиотеку поступали запрещенные в России зарубежные издания произведений Л. Н. Толстого и его последователя В. Г. Черткова³². Наконец, фонды библиотеки регулярно пополнялись изданиями произведений Толстого, выходившими в России. В результате Библиотека Академии наук смогла принять активное участие в Толстовской выставке в Москве, проходившей в 1908 г. в связи с 80-летием писателя, а в следующем, 1909 г., внести значительный вклад в организацию «Выставки для устройства Музея имени Л. Н. Толстого в Петербурге».

Выставки 1908 и 1909 г. стали крупными событиями в общественной жизни России. В ходе их подготовки возникло широкое движение за создание «Общества имени Льва Толстого», призванного объединить представителей передовой интеллигенции различных политических убеждений. Видимо, именно на почве этого движения произошла первая встреча В. И. Срезневского и А. Л. Бема. «Когда я попал в Петербург, — вспоминал о начале своих контактов со Срезневским Альфред Людвигович, — судьба меня довольно близко столкнула со средой, близкой Толстому. Приближался день его 80-летия. После отказа Л. Н. Толстого от чествования возникла мысль об организации дома-музея его имени. Инициатива исходила от Василия Яковлевича Богучарского [...]. Не знаю, почему я оказался среди нескольких студентов-словесников, направленных к Всеволоду Измайловичу Срезневскому, тогда хранителю рукописного отделения Библиотеки Академии наук, который принимал близкое участие в устройстве Толстовской выставки [...]»³³.

Создание музея Толстого, о котором упоминает А. Л. Бем, стало наиболее важной практической задачей нового Общества. Срезневский принял в его организации самое активное участие. Всеволод Измайлович вошел в Совет общества, неоднократно жертвовал Толстовскому музею различные экспонаты, организовал передачу в состав музейных фондов из Библиотеки Академии наук дублетных экземпляров произведений Л. Н. Толстого, книг и газет с материалами о нем³⁴.

В. И. Срезневский стоял у истоков издательской деятельности Толстовского музея, выпустив в 1911 г. со своим предисловием в виде первого тома серии «Толстовский музей» переписку Л. Н. Толстого с родственницей писателя А. А. Толстой из фондов Рукописного отделения³⁵.

В конце 1911 или в начале 1912 г. Срезневский возглавил Толстовский музей в Петербурге (музей Л. Н. Толстого был создан к тому времени и в Москве).

Он вынашивал замыслы «устроить не только хранилище предметов», связанных с писателем, но и «создать Толстому памятник живой и деятельный[...], культурный центр с рядом просветительных учреждений, библиотекой, читальней, аудиторией для собраний и чтений по литературно-общественным вопросам»³⁶.

Ввиду недостатка средств, планы развития музея могли быть осуществлены лишь в небольшой мере, но все же Толстовскому музею в Петербурге удалось перебраться в более обширное помещение, а на его базе благодаря усилиям В. И. Срезневского и привлеченных им к работе сотрудников была развернута значительная исследовательская и публикаторская работа. Согласно данным, содержащимся в отчете за 1912—1913 гг., при музее действовали издательская, библиографическая и художественно-музейная комиссии, вели работу пять групп музейных сотрудников. Всеволод Измайлович, несмотря на свою занятость, сам водил экскурсии, ему помогал в ознакомлении экскурсантов с музеем выдающийся скульптор И. Я. Гинцбург³⁷. К публикаторской и библиографической работе Толстовского музея В. И. Срезневский стремился привлечь способных молодых исследователей. Его основными помощниками в музее стали В. Н. Тукалевский (впоследствии основатель Славянской библиотеки в Праге) и А. Л. Бем. В 1911 г. стали выходить «Известия Общества Толстовского музея», преобразованные вскоре в «Толстовские ежегодники». В этих изданиях, непосредственную подготовку которых к печати осуществлял В. Н. Тукалевский, активное участие принимали и Срезневский, и Бем.

Пора, однако, подробнее рассказать об А. Л. Беме. Он родился 23 апреля 1886 г. в Киеве в немецкой семье. В июне 1905 г. юноша окончил Киевское реальное училище, но решил посвятить свои силы изучению филологии. Реальное образование, которое получил Бем, не предусматривало сколько-нибудь основательной гуманитарной подготовки учащихся, в частности, в реальных училищах не изучались древние языки. Однако, готовясь в течение 1905/06 учебного года к поступлению в университет, Бем сумел настолько хорошо изучить латынь и греческий, что успешно выдержал дополнительные испытания, необходимые для поступления, и был принят в число студентов историко-филологического факультета Киевского университета. Учеба в Киеве оказалось недолгой: зимой 1907 г. за участие в студенческой сходке студент Бем был отчислен из университета Святого Владимира³⁸. Он, однако, не был лишен права учиться в других высших учебных заведениях, и летом 1908 г. перевелся в Петербургский университет. Таким образом, встреча Бема со Срезневским произошла уже в первые месяцы его пребывания в столице России. Очень способный, придерживавшийся передовых взглядов юноша и находившийся в расцвете творческих сил маститый ученый скоро прониклись взаимной симпатией. Как вспоминал А. Л. Бем, его встреча со Срезневским, «это как будто случайное событие, глубокими внутренними корнями, однако, связанное с моим отношением к Толстому, имело определяющее значение на всю мою жизнь. Оно не только сблизило меня с В. И. Срезневским, но и ввело в Рукописное отделение Академии наук, в котором потом протекала моя научная деятельность»³⁹.

В 1910 г. А. Л. Бем был принят на работу в Рукописное отделение. Одновременно он учился в университете под руководством А. А. Шахматова, который в одном из писем Ф. Е. Коршу отмечал выдающиеся способности юноши⁴⁰. Вот как вспоминал об университетских годах молодого человека товарищ Бема Н. П. Анциферов: «Маленького роста, хромой, с высоким лбом, умными, голубыми, ясными глазами, Альфред Людвигович был типичный русский интеллигент типа “вечного студента”. Однако он [...] очень много и организованно работал. Все мы были уверены, что из него выйдет крупный ученый».

Анциферов вспоминал далее, что в Киевском студенческом землячестве, где А. Л. Бем занимался общественной деятельностью, Альфред Людвигович пользовался большим авторитетом и обычно председательствовал на собраниях. Он не примыкал ни к одной из земляческих группировок

и, как правило, пытался примирить боровшиеся между собой группы внутри землячества⁴¹.

Политические взгляды А. Л. Бема в то время еще не сложились, но, несомненно, он сочувствовал революционному движению: по собственному признанию, Бем принадлежал к тем молодым интеллигентам, которые искали себя на путях, в конечном счете ведущих к революции⁴².

О круге друзей Альфреда Людвиговича дает представление письмо к одному из наиболее близких Бему людей — А. С. Искозу, принявшему впоследствии фамилию Долинин, от товарища Бема и Долинина Василия Сергеевича Розова. В письме, датированном 3 марта 1911 г., есть стихотворение А. А. Заринского, посвященное «Бему, Валку, Мияковскому, Искозу». Из текста стихотворения видно, что Бем и его упоминаемые в посвящении друзья (все они, кстати, стали крупными учеными) исповедовали идеалы «родимой свободы» и «вечной правды», что они были полны веры в силы «лежащих под снегами», но «полных жизни» «грядущих всходов»⁴³.

В годы учебы в Петербурге началась научно-литературная деятельность А. Л. Бема. Он работал в знаменитом семинарии С. А. Венгерова «Пушкин: история его жизни, творчества и текста», из которого вышло немало известных впоследствии филологов новой формации⁴⁴, составляя генеалогию рода Аксаковых⁴⁵.

11 и 18 февраля 1910 г. на заседаниях семинария Венгерова А. Л. Бем сделал доклад «К вопросу о влиянии Шатобриана на Пушкина», который руководитель рекомендовал напечатать. Так возникла первая значительная работа молодого исследователя, посвященная проблемам литературных связей⁴⁶, интерес к их изучению Бем сохранил на долгие годы⁴⁷.

Для статьи Бема характерен тщательный анализ текстов сопоставляемых работ, его позже автор определил как метод «мелких наблюдений», поиска «параллельных мотивов» и их оригинальных преломлений в произведениях русской и мировой литературы⁴⁸ и впоследствии широко применял в своих литературоведческих трудах.

В Библиотеке Академии наук А. Л. Бем был встречен радушно и доброжелательно. Молодой сотрудник начал с помощи В. И. Срезневскому в составлении библиографического указателя церковнославянских книг 40-х и 50-х годов XVIII в.⁴⁹

Научное сотрудничество Бема и Срезневского с течением времени становилось все интенсивнее, а их взаимные симпатии все более крепли. Значительную роль здесь, несомненно, сыграла общая увлеченность Бе-

ма и Срезневского личностью и творчеством Л. Н. Толстого. Когда Толстой умер, вспоминал в 1935 г. Альфред Людвигович, «меня не захватила суета, овладевшая студенчеством в связи с предстоящими похоронами. Мне даже не захотелось примкнуть к одной из многочисленных делегаций, отправлявшихся в Ясную. Что бы я там делал? Мечта увидеть Толстого при жизни оборвалась. Но именно теперь начался мой “толстовский” период жизни. Повторяю, с “толстовством” он ничего общего не имел. Меня потянуло к научной работе над Толстым, захотелось проникнуть в тайну его творческого духа. Обстановка мне очень благоприятствовала. В. И. Срезневский, сейчас едва ли не лучший знаток жизни и творчества Толстого, был превосходным руководителем в этой работе»⁵⁰. Альфред Людвигович закономерно считал В. И. Срезневского одним из своих руководителей; у него Бем прошел хорошую археографическую, библиографическую и филологическую выучку.

Первые сохранившиеся письма А. Л. Бема к В. И. Срезневскому написаны в Киеве и связаны с новым исключением свободолобивого студента в начале 1911 г. уже из Петербургского университета, его арестом и последующей высылкой из столицы. Причиной полицейских гонений стало участие Бема в студенческих волнениях 1910 — начала 1911 г., связанных на этот раз с кончиной Л. Н. Толстого. «Смерть Льва Толстого вызвала новый подъем студенчества. Я не видел еще столь многолюдной сходки. Актовый зал был переполнен, все двери открыты, коридор, площадка, лестница — все было заполнено студентами [...]», — вспоминал о начале волнений Н. П. Анциферов. В конце концов студенты объявили длительную забастовку. «Лекции профессоров срывали обструкциями. Полиция в коридоре арестовала несколько сот студентов. Все они были исключены из университета. Многие сосланы», — продолжал он⁵¹.

Среди арестованных студентов оказались А. С. Искоз и А. Л. Бем. Впоследствии Бем вспоминал, что его посетил в заключении А. А. Шахматов. «Я часто вспоминаю, — писал он В. И. Срезневскому 3 марта 1923 г., — как Алексей Александрович, придя ко мне на свидание, только и сказал: “...давайте помолчим”, и это молчание мне более понятно, чем многие и значительные слова» (л. 41). Шахматов возмущался «преступною деятельностью правительства и преступным бездействием университетских властей», он сочувствовал «несчастью для многих десятков юношей», среди которых — «отличные студенты: один из них — Бем, мой ученик[...]»⁵². Впоследствии в письмах В. И. Срезневскому Бем неоднократно отмечал высокие человеческие качества Шахматова.

Письмо с приведенными высказываниями А. А. Шахматова, адресованное Ф. Е. Коршу, было написано, скорее всего, 12 или 13 февраля. А 21 февраля 1911 г. А. Л. Бем сообщил Шахматову о своем вынужденном отъезде в Киев. «Большое спасибо, Алексей Александрович, особенно за то, что укрепили бодрую веру в будущее — спасибо», — писал он, высоко ценя отношение к себе учителя⁵³.

В нелегкой жизни Альфреда Людвиговича период 1911—1912 гг. был одним из самых трудных. К личной материальной необеспеченности Бема и необходимости помогать родителям, у которых он жил в Киеве, добавлялись полицейские преследования.

23 марта А. Л. Бем получил предписание покинуть Киев, и вынужден был на некоторое время поселиться в дачной местности Святошино недалеко от города⁵⁴. Это, как он писал В. И. Срезневскому, негативно сказывалось на работе (л. 3—4). «Живу, брат, погано, и совсем даже, — жаловался Бем 6 апреля 1911 г. А. С. Искозу, переместившемуся после исключения из университета в Москву. — Пришлось снова взяться за уроки [...]. Если что и приобретено за этот промежуток, то внутренние ценности, результат прежнего опыта и наблюдений»⁵⁵. Последние слова свидетельствуют о понимании Альфредом Людвиговичем роли студенческих лет в формировании его мировоззрения. Высылка подвела итог годам учебы, в которые Бем развивался и как гражданин, живо интересующийся политической жизнью России, и как ученый. Именно в этот период были заложены основы и уже в определенной мере проявились профессиональные навыки Бема — текстолога, специалиста по теории литературы, литературного критика, педагога.

Письма Бема Срезневскому периода высылки содержат важные сведения для биографии Альфреда Людвиговича. Из них мы узнаем, что для Бема был особенно тягостен вынужденный отъезд из Петербурга. Он пишет Срезневскому 18 марта 1911 г., что «охотно бы отсидел несколько месяцев» (л. 1), лишь бы его оставили в столице. Ввиду отсутствия в Киеве условий для работы, Бем строил планы переезда в Москву и работы в Румянцевском музее, где намеревался «подогнать библиографию» (л. 3) (в предыдущем письме он пишет: «мой единственный заработок — библиография у Бенешевича — подорван в корне») (л. 1 об.) и где мог бы «заниматься собственными работами, для к[ото]рых здесь ни условия, ни обстановка не благоприятствуют» (л. 1 об.).

Первые письма Бема Срезневскому проникнуты заботой о библиотечных делах и теплым отношением к старшему коллеге. «Спасибо за привет, мне он особенно дорог теперь вдали от Питера», — начинал Бем свое первое письмо Всеволоду Измайловичу (л. 1), а в его заключительной части сообщал о посылке Срезневскому сектантской брошюры для библиотечной коллекции, писал о необходимости переписки и расстановки каталожных карточек и т. д.

Несмотря на все трудности, весной 1912 г. А. Л. Бему удалось сдать выпускные экзамены в университете. В этом ему оказал содействие А. А. Шахматов⁵⁶. После сдачи экзаменов Бем мог остаться в Петербурге, но вернулся на лето в Киев. В июне 1912 г. он сообщал Срезневскому о чтении корректур библиографии церковнославянских книг и планах обследования архива Киево-Печерской Лавры с целью ее пополнения. Он писал о встрече по этому вопросу с профессором Киевской духовной академии, исследователем истории Киево-Печерской типографии А. Титовым, о своих научных контактах с историком и архивистом Н. П. Каманиным (л. 7—8 об.). Бем также писал о своей работе с «толстовскими карточками» (видимо, речь шла о картотеке «Толстовской библиографии за 1912 г.», опубликованной два года спустя в «Толстовском ежегоднике») (л. 5—6).

Как видно из письма А. С. Искозу от начала июня, Бема в это время преследовали неудачи, и он жалел, что не остался в Питере⁵⁷. В довершение всего, Альфред Людвигович подвергся новым репрессиям охранного отделения: 8 июля он был арестован и заключен в Лукьяновскую тюрьму. В первой половине августа об этом были извещены А. А. Шахматов и А. С. Искоз.

Шахматову об аресте Бема написал А. С. Грузинский, известный ему выпускник Киевского университета. «Мне необходимо было давно уже написать Вам о большой беде, которая обрушилась на Альфреда Людвиговича, — сообщал Грузинский в письме, — но до сих пор ничего нельзя было сказать определенного о размере этой беды [...]. Дело в том, что с 8 июля он находится в заключении (в тюрьме) [...]». Грузинский сообщал далее, что Бем рассчитывает пробыть в заключении не менее, чем до конца сентября, писал, что Альфреду Людвиговичу вряд ли разрешат поселиться в Петербурге, отмечал, что «в настоящее время его положение очень скверно» и что он просил передать Шахматову о невозможности работать над библиографией церковнославянских книг⁵⁸.

15 августа Шахматов, в свою очередь, известил об аресте Бема, предполагаемом сроке его заключения и невозможности для него «вести работу по описанию книг Елизаветинского времени» В. И. Срезневского⁵⁹.

Наиболее подробные сведения об аресте и пребывании Бема в тюрьме содержатся в письме его будущей жены А. И. Омеляненко А. С. Искозу от 12 августа. Омеляненко сообщает, что арест Бема был связан с преследованием его товарищей — большевика Г. Л. Пятакова и М. Коробейникова. Она пишет, что при аресте у Бема произвели обыск, во время которого были обнаружены четыре отчета так называемого Политического Красного Креста, занимавшегося помощью политзаключенным; арестованный объяснил, что они были собраны им для передачи в Библиотеку Академии наук. Письмо от 12 августа и несколько последующих писем А. И. Омеляненко показывают, что Бема пытались уличить в каких-то незаконных политических акциях, «на него взгромодили Бог знает что», и, видимо, пытались запугать. Альфред Людвигович вел себя мужественно: обращаясь к Искозу через А. И. Омеляненко с просьбой, «чтобы кто-нибудь из профессоров дал о нем отзыв, к[а]к о хорошем работнике, к[а]к о человеке, которому в Петербурге не было времени заниматься партийной работой»⁶⁰, он в то же время, по словам Омеляненко, был спокоен и бодр, «занимается языковедением и даже педагогической деятельностью: учит своего случайного сожителя французскому языку». Заключение Бема нарушило его планы получения университетского диплома первой степени, для чего после сдачи выпускных экзаменов необходимо было защитить дипломную работу. Первую половину работы к моменту ареста Бем отправил своему руководителю И. А. Шляпкину, но вторую половину в тюрьме написать не мог и просил Искоза через Омеляненко договориться, чтобы Шляпкин «зачел Альфреду в качестве дипломной работы ту часть сочинения, которая уже Шляпкину представлена»⁶¹.

Видимо, договориться с профессором не удалось, и Бем с раздражением писал другу вскоре после освобождения: «Со Шляпкиным не затевай никаких комбинаций, я твердо решил переписать то, что у меня есть и переслать ему, а он уж пусть себе делает к[а]к знает. Сначала думал переработать все, а теперь это разобрало, ведь скотина такая вдруг к[а]к разборчив стал»⁶².

Раздражение Бема вызвало также отношение к его аресту А. А. Шахматова. А. И. Омеляненко в письме от 30 августа сообщила Искозу, что «А. А. Шахматову известно о судьбе Альфреда, и он откликнулся письмом, правда, несколько странно»⁶³. В письме от 7 сентября она кратко

писала о содержании этого письма: Шахматов, по ее словам, писал, что Бема «погубила политика». «Убедите его, что это простая случайность», — просила она Искоза⁶⁴. Письмо Шахматова Бем встретил с досадой. Он сетовал, что друзья «снова впутали в мое дело Алексея Александровича». «Я понимаю, — писал Альфред Людвигович Искозу, — что он все делает от доброго сердца, но, поймешь ли меня, это как-то связывает»⁶⁵.

Неловко А. Л. Бем, видимо, чувствовал себя потому, что помощь Шахматова, не сочувствовавшего приверженности своего сотрудника к «политике», как бы накладывала на Бема моральную обязанность не участвовать в дальнейшем в политической жизни.

14 сентября 1912 г. А. Л. Бем был неожиданно освобожден из тюрьмы, однако его дело было передано прокурору окружного суда и квалифицировано по статье закона, предусматривающей наказание до года крепости. Бему угрожали дальнейшие неприятности. Чтобы избежать их, он просил Искоза 27 сентября узнать в Библиотеке Академии наук, «в какой газете и когда (приблизительно) Академия обращалась с просьбой доставлять ей всякие летучие листки», а спустя неделю торопил его, поскольку, писал он, это «мне крайне важно»⁶⁶. Очень огорчила А. Л. Бема невозможность, как подследственного, вернуться в Петербург. «Совершенно выбит из колеи [...], — писал он А. С. Искозу 22 сентября, — положение какое-то межеумочное, всеми своими делами связан с Петербургом, а здесь уstraиваться на какой-то месяц не охота, да и ничего подходящего не найдешь. Право, уж лучше б сидел себе за решеткой и занимался спокойно»⁶⁷. С горечью Альфред Людвигович констатировал также, что в результате его «провала» было разгромлено «семейное насиженное место в Киеве», родители вынуждены были уехать в деревню, сам он оказался «на содержании» у брата⁶⁸.

Между тем крепла дружба А. Л. Бема с Тоней Омелянченко. «Судьба зло посмеялась надо мною: я всячески старался помешать твоему знакомству с Антониной Иосифовной, а сам-то послужил причиной вашей переписки, — с шутливой ревностью писал Бем А. С. Искозу. — Счастлив, что меня освободили и этим уничтожили повод к дальнейшей переписке...»⁶⁹

Судебное следствие закончилось для А. Л. Бема, по всей вероятности, благополучно. В конце 1912 г. он обосновался, наконец, в Петербурге и возобновил работу в академической библиотеке, став одновременно ответственным секретарем «Обозрения трудов по славяноведению». Несколько последующих лет оказались самыми спокойными на сложном жизнен-

ном пути Альфреда Людвиговича. Как видно из писем к В. И. Срезневскому за 1913—1916 гг., Бем в это время жил в Петербурге, весной и летом наезжая на Украину. Иногда он отдыхал также в Прибалтике, а в июне 1913 г. после посещения Киева, где по заданию Срезневского завершал работу с книжным собранием Киево-Печерской Лавры, совершил путешествие по России⁷⁰.

У А. Л. Бема сложились прекрасные отношения с А. А. Шахматовым и В. И. Срезневским. Он хорошо ладил и с другими своими сослуживцами. 29 марта 1915 г. Альфред Людвигович обвенчался с Антониной Иосифовной Омеляненко, с ней он прожил долгие годы, тяжело переживая вынужденные разлуки в период Гражданской войны. 13 февраля 1916 г. у Бемов родилась дочь Ирина⁷¹.

Как-то в начале лета 1914 г. из Киева, где Бем проводил отпуск в хлопотах за арестованного «за политику» брата Отто, он писал Срезневскому о деле брата и благодарил за участие Федора Ивановича Покровского, своего сослуживца по Рукописному отделению. В том же письме Бем сделал зарисовку своего рабочего утра в библиотеке, где упоминаются Ф. И. Покровский и заведующая журнальным отделом, самый близкий В. И. Срезневскому человек Наталья Алексеевна Вукотич. «Нередко вспоминаю Рукописное, — писал Бем, — и, право, временами предпочел бы сидеть по утрам за своим “столом” с беспорядочно разбросанными книгами и бумагами, загроможденным ящиками, слышать, вернее, чувствовать, справа от себя неслышное присутствие Ф[едора] И[вановича], за собой то удаляющиеся, то приближающиеся Ваши шаги и изредка недовольный чем-то голос Нат[альи] А[лексеевны], но только изредка, т[ак] к[ак] больше люблю ее спокойный голос, когда она выпроваживает из Академии после 4-х, но так выпроваживает, что никак нельзя уйти» (л. 12).

В Библиотеке Академии наук А. Л. Бему было поручено изучение толстовских материалов. Он составлял, редактировал и рецензировал библиографические указатели произведений Л. Н. Толстого, участвовал в предварительной работе по созданию Полного собрания сочинений писателя. 13 июля 1916 г. Бем сообщал А. С. Искозу из Киева, что «все откладывал» письмо ему с рассказом о посещении «Ясной Поляны», а теперь писать о поездке «не хочется»⁷².

Впечатления об этой поездке, предпринятой вместе с И. И. Срезневским «уже во время войны» (как видно из письма, вероятно, весной или в начале лета 1916 г.), Бем впоследствии изложил в цитировавшейся выше статье «После Толстого»⁷³.

Как показывают письма В. И. Срезневскому от 1 и 16 августа 1916 г., летом А. Л. Бем работал над обзором педагогических статей Л. Н. Толстого. Он писал, что замечания Всеволода Измайловича его «еще больше расколодили» (л. 16), что в соответствии с ними он «несколько исправил» обзор, но статья его все же «мало удовлетворяет». «Отдаю на Ваше усмотрение — если находите, что она подходит к нашему сборнику, не буду особенно мудрить над ней. Знаю, что Вы не постесняетесь сказать свое мнение [...]», — писал Бем (л. 17). В письме от 16 августа Бем благодарил также Срезневского за заботу о его быте (Срезневский, как видно из письма, заботился о дровах для отопления квартиры Бема) и выражал свои опасения в связи с продовольственными затруднениями и «бешеными ценами». «Работаю здесь сравнительно мало, обстановка мало подходящая. Уже с удовольствием думаю о рабочей атмосфере Петербурга», — завершал письмо Бем (л. 18 об.).

Работая над «Обзором трудов по славяноведению» и над «толстовской» библиографией, А. Л. Бем скоро вырос в отличного библиографа и сделал значительный вклад как в библиографическую практику, так и в теорию и методику библиографии.

В 1915 г. Бем теоретически обосновал преобразование «Обозрения» из повременного издания в серию страноведческих ежегодников⁷⁴.

Обзор печатных и рукописных библиографических работ о Л. Н. Толстом, написанный Альфредом Людвиговичем⁷⁵, вошел в историю отечественного библиографоведения как успешная попытка теоретического осмысления некоторых вопросов персональной библиографии, в нем Бем «высказал ряд соображений интересных не только для конкретной персональной библиографии, но и гораздо шире»⁷⁶.

В 1915 г. А. Л. Бем создал кружок молодых литературоведов, «понеделники», в которых участвовали известные в будущем ученые А. С. Искоз (Долинин), Е. П. Казанович, Б. М. Эйхенбаум, поэт и литературный критик В. Н. Княжнин, товарищ Бема В. А. Краснов, другие филологи⁷⁷.

Осенью 1916 г., после летнего перерыва, заседания кружка возобновились. «Понеделники процветают, значительно лучше идет дело, чем в прошлом году», отмечал А. Л. Бем в письме на фронт призванному в армию А. С. Искозу⁷⁸.

О тематике занятий кружка дают представление упомянутые в письмах А. Л. Бема к Е. П. Казанович доклады «"Свидание" Тургенева и "Егерь" Чехова», «"Самоподражание" Лермонтова»⁷⁹. Один из докладов на засе-

даниях кружка Бем посвятил творчеству Ф. М. Достоевского — теме, ставшей впоследствии ведущей в его научном творчестве⁸⁰.

Не порывал А. Л. Бем связей и с семинарием С. А. Венгерова. В начале 1917 г. он прочел там доклад о мотиве, сюжете и содержании художественного произведения. На заседании присутствовали известные в будущем литературоведы Н. Л. Бродский, В. М. Жирмунский, П. Н. Сакулин, Б. М. Энгельгардт, популярный литературный критик Н. А. Колтановская. «Было очень оживленно, напали на меня с разных сторон[...], — сообщал А. Л. Бем А. С. Искозу. — Основной упрек — нельзя определять отдельные понятия — термины без предварительного ответа на осн[овной] вопрос — что же такое литература? Старый упрек в формализме мышления[...]. Но, в общем, скорее успешно прошло, чем нет. М[ожет] б[ыть] доклад напечатаю. Венгеров советует»⁸¹. Так возникла наиболее важная теоретико-литературная статья А. Л. Бема доэмигрантского периода «К уяснению историко-литературных понятий», где анализируются теоретические взгляды А. Н. Веселовского и А. А. Потебни⁸².

Несколько писем А. Л. Бема В. И. Срезневскому связаны с событиями мировой войны 1914—1918 гг. Как свидетельствует Н. П. Анциферов, Бем вместе с российскими социал-демократами верил в способность международного рабочего движения не допустить войны. Еще во время первой балканской войны 1912 г. он в одном из студенческих кружков вступил с Анциферовым в «жестокий спор» из-за балканских событий. «Симпатии к славянам возмущали Бема, их борьба не казалась [ему] освободительной[...], — вспоминал Анциферов. — Я говорил ему: “Как можно относиться равнодушно к европейским событиям? Неужели Вы не понимаете, что война приближается к нам?” — “Войны не будет. Кто угрожает нам?” — “Германия.” — “Пустяки[...] рабочие сейчас же положат конец войне. Вы не учитываете силы германской социал-демократии.” — “Если будет война, то германские социал-демократы пойдут вместе с кайзером.” Бем изменился в лице. Он сказал мне глухим голосом: “Мы с вами не можем договориться. Кончим спор.” Милый, умный т[оварищ] Бем, мне ему пришлось напомнить в конце 1914 г. наш спор. Он только помотал головой»⁸³.

Война началась, она непосредственно затронула как уходивших на фронт друзей А. Л. Бема, так и его ближайших родственников. В феврале 1915 г. Бем оказался в Киеве, чтобы помочь родителям, которым угрожала высылка как прусским подданным. Из писем В. И. Срезневскому от 13 и 15 февраля (л. 13—15 об.) видно, что В. И. Срезневский и А. А. Шах-

магов активно помогали своему сотруднику защитить интересы старших Бемов, но безуспешно — они были высланы в Вятскую губернию, где отбывал ссылку брат Альфреда Людвиговича Отто⁸⁴.

Мировая война наложила отпечаток и на всю деятельность Библиотеки Академии наук. Отложен был переезд в новое, специально построенное для библиотеки здание, в 1916 г. там разместился лазарет. Проявлением чувств патриотизма и гуманизма стало решение В. И. Срезневского по совместительству с основной работой встать во главе лазарета, впоследствии Всеволод Измайлович считал работу в нем одним из важнейших своих достижений⁸⁵.

И А. Л. Бем, и В. И. Срезневский стали не только свидетелями, но и, в известной мере, участниками революционных событий февраля 1917 г. в Петрограде. Бем принял их «радостно, бодро и уверенно»; 1 марта он был на улице и до хрипоты спорил, пытаясь утихомирить «слепые страсти», а в последующие дни «втянулся в обывательские организации», вошел в состав районного комитета и вечерами пропадал на заседаниях⁸⁶. Что же до В. И. Срезневского, то он непосредственно участвовал в спасении выброшенных при пожаре из здания Охранного отделения жандармских архивов⁸⁷.

В июле 1917 г. оптимизм Бема иссяк. Находясь на отдыхе в Киеве и отмечая «сравнительно спокойную» обстановку в городе, он «чувствовал себя несколько дезертиром» вдали от событий в Петрограде, где разразился июльский кризис. «Жуткое дело на фронте. Главное, я не вижу почти никакого выхода из положения», — отмечал Бем, констатируя, что «люди дошли до такого состояния, когда все равно — лишь бы не война». «Когда посмотришь назад, видишь, какая вина на нас всех лежит за этот ужас», — сокрушался Альфред Людвигович (л. 21-21 об.).

Многие из писем А. Л. Бема В. И. Срезневскому относятся к периоду Гражданской войны. Это связано с поездками Бема в Киев, где после летнего отпуска 1917 г. Альфред Людвигович оставил семью, боясь трудной зимы в Петрограде. В очередной раз приехав в Киев в декабре 1917 г., Бем промедлил с отъездом из города, был отрезан фронтами Гражданской войны и пробыл в Киеве до лета 1918 г. Его письма этого периода интересны как свидетельства о положении на Украине. «Здесь очень тревожно. Власть Центральной Рады очень неустойчива. С одной стороны, нападают большевики, кот[орые] одерживают успехи среди солдатской массы, и даже украинские части одна за другой уходят из-под власти Рады. С другой — накатываются самостийники[...]. И мы живем в ожида-

нии переворота: либо большевики захватят Киев, и тогда все знакомые нам большевистские прелести, или самостийники объявят самостоятельность Украины, и это может кончиться сепаратным миром с Австрией», — писал Бем Срезневскому 9 января 1918 г. (л. 23—23 об.). 26 января город был взят большевиками. «Были прямо жуткие минуты, — писал об этом дне Альфред Людвигович. — Наш дом счастливо обошло, вокруг рвались снаряды[...]. Но для меня был страшным следующий день 27-го, когда началась дикая расправа. Бессмысленные расстрелы офицеров, убийство митрополита, вакханалия обысков» (л. 24).

Советская власть в Киеве просуществовала недолго. 1 марта 1918 г. в город вошли немецкие войска, восстановившие власть Центральной Рады. 5 (18) апреля «через смельчака, к[от]т[орый] попытается пробраться в Петроград», А. Л. Бем переслал Срезневскому письмо, где писал, что «потерял всякую надежду скоро увидеть вас всех, снова вернуться в родную Академию» и уже около месяца работает в Министерстве по великорусским делам, где создает русский книжный отдел. Бем сообщал, что разрабатывает положение об установлении с Россией обмена книгами, принимает участие в издании «Бюллетеня» своего министерства и в создании большого журнала по типу «Журнала Министерства народного просвещения», поставил вопрос о создании на Украине, где библиотеки «будут украинизированы», русской национальной библиотеки. По мнению Альфреда Людвиговича, его деятельность в сложившихся условиях была очень важна. «Здесь украинизация приобретает такие уродливые формы, — отмечал он, — что грешно оставаться пассивным[...] сейчас под защитой немецких штыков ведется бешеная травля всего, связанного с русской культурой». Бем отмечал, что никогда не был националистом, но под влиянием обстановки в Киеве в нем «проснулось чувство гордости за свою родную культуру» и он «почувствовал подлинную связь с нею» (л. 25—26).

В письме от 12 июня 1918 г., также отправленном с оказией, Бем вновь пишет о своем участии в создании журнала и сообщает, что вокруг него собираются люди, «к[оторым] близка идея воссоздания России». Он сетует на «такое суровое» отношение к его работе в Киеве А. А. Шахматова, о котором узнал из письма Срезневского, сообщает, что написал Шахматову и, хотя боится оставить семью без поддержки, твердо решил «ехать поскорее» в Питер. В том же письме, отвечая, видимо, на предложение В. И. Срезневского участвовать в подготовке Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого (о ней Бем впоследствии писал в статье «После Тол-

того»), Бем выражал радость в связи с возможностью вернуться к работе над произведениями писателя. Одновременно он надеялся на преодоление наметившихся серьезных разногласий между двумя группами участников подготовительной работы, возглавляемыми А. Л. Толстой и В. Г. Чертковым, о которых получил сведения от литературоведа Н. Н. Апостолова (Арденса). Альфред Людвигович сообщал, что тоскует по академической работе, и с большой теплотой писал о Н. А. Вукотич (л. 27—28 об.).

В августе 1918 г. А. Л. Бем уже был в Петрограде. Сохранилось три отправленных оттуда письма В. И. Срезневскому, который вместе с Н. А. Вукотич отдыхал в Липецке. Бем сообщал в этих письмах о библиотечных новостях и делах, о выполнении поручений Всеволода Измайловича, о своей научной работе, о Толстовском музее. В них особенно сильно проявляются забота о В. И. Срезневском, теплое отношение к нему и Н. А. Вукотич. «Питайтесь получше. Силы будут нужны», — писал, например, Бем 24 августа 1918 г. (л. 30—30 об.). «[...] И для себя и главное для всех близких, окружающих Вас, набирайте побольше сил на зиму. Вы ведь меньше всех отдыхали, и все время были в разъездах!» — продолжал он эту мысль в письме от 28 августа (л. 31—31 об.) «Отдыхайте, не работайте и усиленно питайтесь», — взывает Альфред Людвигович в письме от 3 сентября. «Как Нат[алья] Ал[ексеевна]? О ней постоянно в Журнальном вспоминают, так как ценят и любят. Хотя ее и очень люблю, но видеть в Питере вовсе не хочу *скоро*, если может, пусть переждет период съезда в Петроград», — завершал он то же письмо (л. 32 об.).

Посетив в очередной раз Киев осенью 1918 г., откуда было отправлено Срезневскому письмо от 29 ноября с опасениями «за свою библиотеку и свои работы: вся жизнь в них!» и сомнениями, можно ли работать в голодном Петрограде, А. Л. Бем вернулся в столицу «для упорядочения массы дел» (л. 33). В конце июля 1919 г. он вновь уехал в Киев, получив на этот раз командировку. Бем командировался на два месяца для сбора сведений о вышедших на Украине изданиях и покупки для Библиотеки Академии наук книг на украинском и польском языках, но поездка была ему необходима, в первую очередь, в связи с рождением 30 июля второй дочери Татьяны (л. 35 об.). Последнее письмо А. Л. Бема, отправленное В. И. Срезневскому из Киева, датировано 12 августа 1919 г. В нем он пишет о домашних тревогах и заботах, о киевской дороговизне и опасается, «что назад приехать нельзя будет, уже сейчас дорога в связи с военными действиями затруднительна» (л. 36).

Действительно, А. Л. Бем в Петроград больше не вернулся. Следующее письмо В. И. Срезневскому он написал спустя более двух лет из пражской эмиграции. О причинах выезда Бема из России почти ничего не известно. На запрос Срезневского о судьбе своего сотрудника супруга Альфреда Людвиговича 16 августа 1920 г. ответила очень сдержанно. Она писала, что муж в ноябре 1919 г. уехал из Киева «по делам[...] на юг» и больше она о нем ничего не знает⁸⁸. Причины сдержанности понятны: А. И. Бем боялась навредить супругу. Возможно, что Бем решил уйти от большевиков в связи с общественной деятельностью. Имеются данные, позволяющие предполагать, что Альфред Людвигович работал перед отъездом в эмиграцию в Киевском земстве или был как-то связан с этой организацией. Как видно из воспоминаний известного эмигрантского философа В. В. Зеньковского, А. Л. Бем ехал вместе с ним из Киева в Одессу и далее в Белград⁸⁹, причем Зеньковский отмечает, что выехал из города в вагоне, предоставленном сотрудникам Киевского земства. Поезд с Зеньковским и Бемом отправился 29 ноября 1919 г., когда выяснилось, что советские войска овладеют Киевом со дня на день. Он сначала шел в Ростов-на-Дону, но вынужден был повернуть на Одессу, куда и прибыл через десять дней. 26 января Зеньковский и Бем на английском пароходе выехали из покидаемой врангелевскими войсками Одессы и благополучно прибыли в Югославию⁹⁰. Таким образом, прослеживается маршрут А. Л. Бема после выезда из Киева и устанавливается точная дата начала его эмиграции. Если принять версию о работе Альфреда Людвиговича перед эмиграцией в Киевском земстве, оказываются также вполне логичными сведения документов, выявленных М. Бубениковой⁹¹, о его работе в первые месяцы эмиграции в белградском филиале Земско-городского комитета.

Видимо, в конце ноября 1920 г. А. Л. Бем перебрался в Варшаву. О его жизни в столице Польши известно очень мало, можно только отметить, что Бем сотрудничал в периодических изданиях, вел политическую деятельность в одной из партий эсеровского толка — Крестьянской партии, руководил литературным кружком «Таверна поэтов»⁹².

В январе 1922 г. по приглашению чехословацкого правительства Альфред Людвигович переехал в Прагу. Он стал стипендиатом Министерства иностранных дел Чехословакии в рамках «русской акции» (программы поддержки эмигрантов из России) и смог занять должность преподавателя русского языка в Карловом университете⁹³.

Поселившись в Чехословакии, А. Л. Бем получил, наконец, постоянное пристанище. К 1922 г. относится его первое письмо В. И. Срезневскому из эмиграции. Откликаясь на не дошедшую до нас открытку Срезневского, Бем тепло вспоминает о библиотеке, о скончавшемся в 1920 г. А. А. Шахматове, со смертью которого для него «оборвалось навсегда все прошлое, все, связанное с Академией», о совместных со Срезневским мечтах о поездке в славянские земли. «Очень теперь меня побросало по свету, и все предстало в ином свете. Я к[а]к-то оказался мало способным к жизни вне России», — признавался Бем. Он сравнивал себя с рыбой, выброшенной на берег, которой нечем дышать, писал о своей тоске по академической обстановке и любимой работе, о тяжести разлуки с женой и детьми (л. 37, 37 об.).

В начале 1923 г. Бем сумел выписать к себе из России семью⁹⁴. Из его писем видно, что Альфред Людвигович постепенно вживался в новую научную среду, хотя сам считал, что живет «к[а]к-то очень оторванно, за время своей заграничной жизни почти никаких связей близких не завязал. В академической среде [...] я тоже “чужой” [...]» (л. 49 об.)⁹⁵. Он информировал Срезневского о научной жизни в Чехословакии, о трудах ученых-эмигрантов, о зарубежных журналах по славяноведению, просил выслать необходимые ему русские книги, писал о своих исследованиях.

Как видно из писем, А. Л. Бем внимательно следил за литературоведческими работами, выходящими в СССР. 1 февраля 1925 г. он спрашивал, например, Срезневского, напечатал ли друг его юности А. С. Долинин дневник Суловой, дошла ли до Долинина статья Бема о «Вечном муже» Достоевского. «Часто с завистью слежу, сколько сделано за эти годы друзьями по литературной работе, а больше радуюсь», — отмечал он в том же письме, сетуя, что «многое не доходит», и призывая друзей самих присылать свои труды, тогда их появление «легче было бы своевременно отмечать в здешней печати»⁹⁶.

Почти в каждом письме Бема присутствуют дорогие Альфреду Людвиговичу темы об академической библиотеке, о его коллегах-библиотекарях и их судьбах. «Много и часто вспоминаю прошлое и думаю, как не сумел оценить его. Мне судьба послала большое счастье работать в прекрасной обстановке...», — писал А. Л. Бем В. И. Срезневскому 5 мая 1929 г. (л. 49). В другом письме ему он замечал: «Я готов засыпать Вас массой вопросов о всех мелочах — они меня очень интересуют. Хочется конкретности, чтобы представить и живо ощутить Вашу жизнь. Передайте привет

сердечный Вашим сестрам, Нат[алье] Ал[ексеевне] и всем, кто меня помнит[...]. Пишите, Всеволод Измайлович[...]. Искренне любящий Вас А. Бем» (л. 41—41 об.).

В. И. Срезневский сделал все для того, чтобы сохранить связи А. Л. Бема с Академией наук. Благодаря его усилиям, что в СССР было беспрецедентным случаем, там вплоть до 1926 г. печатались работы эмигранта, не имевшего уже советского гражданства. В 1924 г. в сборнике в честь В. И. Срезневского⁹⁷ напечатана была статья Бема «Самоповторения в творчестве Лермонтова», а в 1926 г. вышел в свет завершённый им еще в 1916 г. «Библиографический указатель творений Л. Н. Толстого». Письма А. Л. Бема показывают, что он высоко оценил усилия В. И. Срезневского по доработке и изданию библиографии. «Указатель почти столько же Ваша работа, как и моя. Меня очень угнетала мысль, что большая работа[...] может пропасть. Теперь я спокоен[...]. У меня странное чувство — то, что моя работа печатается и выйдет без меня заставляет к[а]к-то бодрее себя чувствовать, точно частица моего Я там с Вами, в близкой и родной мне академической обстановке», — писал Бем 3 октября 1922 г. (л. 39). Но печатание указателя затягивалось, и в письме от 1 февраля 1925 г. Альфред Людвигович, поблагодарив В. И. Срезневского за только что полученный им сборник в честь Всеволода Измайловича со своей статьей, спрашивал: «Неужели мой Толстовский список окончательно погиб, было бы ужасно обидно»⁹⁸. Получив корректуру, посланную Срезневским, Бем писал ему 29 ноября 1926 г., что он очень доволен предисловием, которое написал его старший коллега, и благодарил за хлопоты. «В каком положении сейчас печатание и есть ли надежда на скорое появление?» — спрашивал Бем (л. 44—44 об.). А в связи с получением готовой библиографии, А. Л. Бем писал Срезневскому 4 февраля 1927 г.: «Очень меня книжка обрадовала, столько в связи с нею воспоминаний![...]. Есть какое-то необычное чувство, когда книга, над кот[орой] работал, вышла там, у себя. Точно я снова — через книгу — со своими друзьями в духовном общении. Но это уже последнее, что от меня осталось. Вам большое, большое спасибо, что не дали погибнуть работе [...]» (л. 45).

Очень характерно высказывание А. Л. Бема в письме к В. И. Срезневскому от 3 октября 1922 г.: «Я здесь живу так, точно нахожусь в академической командировке [...]» (л. 39). Оно символизирует всю эмигрантскую жизнь Бема и, в то же время, свидетельствует о его тяге к продолжению научной работы в области литературоведения. Вместе с тем в письмах

Бема к Срезневскому отразилось некоторое смещение акцентов в творческой биографии Альфреда Людвиговича, связанных с его преподавательской деятельностью. Он писал, что с удовольствием читает лекции в Карловом университете (л. 41), но «это утомляет, а оплачивается слабо» (л. 49—49 об.)

По всей вероятности, Альфред Людвигович был прирожденным педагогом. Он постоянно возился с дочерьми, дома обучал русской литературе группу соседских детей, преподавал, кроме Карлова университета, в Русском педагогическом институте имени Я. А. Коменского, на историко-философском отделении Русского народного университета в Праге. Но Бем не ограничивался практической педагогикой. Его интересовала и методика преподавания в средней и высшей школе, и особенности эмигрантской школы, и положение с образованием в Советской России, и опыт зарубежных образовательных учреждений. Насколько многогранной была педагогическая деятельность А. Л. Бема, хорошо видно при просмотре пражских эмигрантских педагогических журналов «Бюллетень Педагогического бюро по делам средней и низшей [русской] школы за границей» (1923—1927) и «Русская школа за рубежом» (1923—1929). В них Бем фигурировал как член Педагогического бюро, секретарь съездов деятелей русской школы за границей, выступал с многочисленными статьями и рецензиями.

Педагогический талант Альфреда Людвиговича особенно ярко проявился в руководстве литературной группой «Скит поэтов» (1922—1940 гг.). На заседаниях группы Бем познакомил с теорией литературы и стихосложения молодых русских поэтов и прозаиков нескольких поколений эмиграции, он щедро передавал им свой опыт критической оценки литературных произведений, учил методам самоанализа⁹⁹.

В нескольких письмах Бем упоминает о своей работе в Семинарии по изучению творчества Ф. М. Достоевского при Русском народном университете в Праге (1925 — начало 1930-х годов), которым фактически руководил. Исследователи наследия А. Л. Бема высоко оценивают итоги работы этого семинария, где участвовали выдающиеся литературоведы, историки, философы русского зарубежья (Д. И. Чижевский, А. В. Флоровский, С. И. Гессен, И. И. Лапшин, Н. О. Лосский и др.). Сам же Бем считал, что «все это не то, что нужно». Его угнетала невозможность общаться с оставшимися на родине учеными. Он чувствовал, что между представителями русской науки в отечестве и в зарубежье растет непре-

одолимая стена, и 5 мая 1929 г. писал Срезневскому о своем беспокойстве: «Знаю, что перестаем понимать друг друга[...], без непосредственного общения в своей научной работе поневоле идешь иными путями» (л. 49—49 об.).

Важнейшие выступления на заседаниях семинария впоследствии были напечатаны в трех сборниках «О Достоевском» (Прага, 1929—1936). Первый из них имел столь большой успех в научных кругах, что явился толчком к преобразованию семинария в международное Общество имени Достоевского, состоявшее под покровительством президента Чехословацкой республики Т. Масарика (в воспоминаниях Р. В. Плетнева об Обществе Масарик назван даже его почетным президентом)¹⁰⁰.

А. Л. Бем стал секретарем Общества и занимал этот пост до его ликвидации в 1939 г. В 1936 г. вышел третий сборник «О Достоевском», где были опубликованы только работы А. Л. Бема. Он имел подзаголовок «У истоков творчества Достоевского: Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский» и состоял из четырех разделов, три из которых Бем посвятил памяти А. А. Шахматова («Грибоедов и Достоевский»), Б. Л. Модзалевского («Пушкин и Достоевский»), С. А. Венгерова («Гоголь и Достоевский»). Раздел «Толстой и Достоевский» был посвящен В. И. Срезневскому. 5 февраля 1935 г. Бем сообщал Всеволоду Измайловичу, что читает корректуру книги, «кот[орую] посвящаю учителям своим, а значит и Вам в первую очередь. Ведь Вам я в своей научной работе бесконечно обязан» (л. 55). Одна из статей сборника называлась «Художественная полемика с Толстым: к пониманию “Подростка”», и Бем предвидел, что она не встретит одобрения Срезневского. Все же после выхода книги он послал ее старшему коллеге, написав ему в связи с этим: «С тревогой думаю о том, как Вы ее воспримете: боюсь, что Вас огорчит статья о Толстом, но я ничего не мог с собою поделать. Такое у меня сложилось убеждение» (л. 56—57 об.).

Боязнь А. Л. Бема огорчить В. И. Срезневского была вызвана теплым, даже любовным отношением к нему Альфреда Людвиговича, его пиететом по отношению к своему учителю и А. А. Шахматову.

«[...] Хочется дать почувствовать на расстоянии, как мне в моей работе Вас не хватает, как часто вспоминаю Вас и Ваше отношение к моим первым шагам на литературном поприще. За долгие годы, прошедшие со времени нашей разлуки, я понял, что то, что мне казалось столь естественным и обычным — потому что я имел дело с Алекс[еем] Ал[ександро-

вичем] Шахматовым, с Вами, что благожелательность и любовная помощь в работе встречаются очень редко[...]. Когда увидел издание переписки Л. Н. Толстого с Н. Н. Ге, почувствовал очень остро, как мне несмотря на все прошедшие годы трудно примириться с мыслью об оставленной работе», — писал Бем (л. 53—53 об.). Зная об интересе В. И. Срезневского к научному творчеству отца, А. Л. Бем сообщал ему о чешских работах со сведениями о знаменитом филологе, приводя из них, как правило, довольно длинные выписки. В письмах от 15 декабря 1934 г. и 20 июня 1936 г. он сожалел, что не имеет возможности помочь младшему Срезневскому в разборке архива отца. А когда Альфред Людвигович получил в начале 1935 г. известие о тяжелой болезни Срезневского, он написал Всеволоду Измайловичу трогательное письмо с сожалениями, что не может находиться подле него, чтобы, по возможности, облегчить его страдания (л. 53—55 об.).

Научная и преподавательская деятельность А. Л. Бема, его активное сотрудничество в чешских, немецких и эмигрантских журналах, наконец, личное обаяние этого «тихого, мягкого человека, типичного русского интеллигента начала века»¹⁰¹, завоевали А. Л. Бему симпатии ученых в Чехословакии и за ее пределами. В 1928 г. появились его первые монографии «К вопросу о влиянии Гоголя на Достоевского» и «Tajemství osobnosti Dostojevského». Формальным выражением признания научного авторитета А. Л. Бема стал его прием в члены Славянского института (1931 г.) и Пражского лингвистического кружка (1933 г.). Оба эти сообщества ученых сыграли важную роль в истории мировой науки: Славянский институт являлся центром изучения фольклора, истории, языков и литератур славянских народов, Пражский лингвистический кружок стал местом рождения чешского структурализма¹⁰².

Следствием нелегкой эмигрантской жизни была необходимость для Бема очень активно, часто интенсивнее, чем ему хотелось бы, заниматься популяризацией литературы. Популярные статьи Альфреда Людвиговича систематически публиковались в русской зарубежной периодике. Лучшим результатом этой его работы стала серия эссе, полемических и юбилейных статей, рецензий, заметок, печатавшаяся на протяжении девяти лет в берлинской газете «Руль» (1931), варшавских — «Молва» (1932—1934) и «Меч» (1934—1939). Материалы Бема, посвященные преимущественно русской литературе 1930-х годов, печатались под общим названием «Письма о литературе». Они представляют интерес до настоящего времени, и в середине 1990-х годов вышли в Праге отдельной книгой¹⁰³; отрывки

из нее стали достоянием и российского читателя¹⁰⁴. А. Л. Бем знакомил также эмигрантов с чешской литературой, публикуя на русском языке статьи, посвященные творчеству некоторых чешских поэтов (П. Безруч, О. Бржезина, К. Г. Маха).

Альфред Людвигович сотрудничал с лучшими чешскими литературно-критическими журналами, с газетами, с энциклопедическими изданиями. В них публиковались материалы Бема о русской литературе и ее крупнейших представителях (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, А. М. Горький, С. А. Есенин, А. А. Блок и др.). К столетию со дня смерти А. С. Пушкина А. Л. Бем вместе с Р. О. Якобсоном подготовил четырехтомник произведений великого русского поэта на чешском языке¹⁰⁵, в центре Подкарпатской Руси — Ужгороде вышел на русском языке сборник популярных статей Бема «О Пушкине»¹⁰⁶.

Невзирая на успехи в научной и научно-педагогической деятельности, А. Л. Бема не покидало чувство усталости и раздражения от «разнообразия и часто бессмысленности дел» (л. 45—46 об.) и выпавшей на его долю «случайной» жизни (л. 48). Причиной этой неудовлетворенности своей работой С. Г. Бочаров и И. З. Сурад вполне основательно считают тягу Бема к археографии и текстологии, которым был всецело предан и его друг В. И. Срезневский. «Вспомним все-таки, что начинал он текстологом, — пишут они в упоминавшемся уже выше предисловии к сборнику работ А. Л. Бема [...], — и такая работа была ему по душе, но в эмиграции, в отрыве от рукописей и нужных книг, собственно академические занятия оказались почти невозможными»¹⁰⁷.

Но Альфред Людвигович Бем был не только ученым, педагогом и журналистом-популяризатором, но и гражданином своей далекой страны. Он участвовал в целом ряде общественно-политических организаций и культурно-просветительных обществ русской эмиграции. В 1920-е годы А. Л. Бем входил в партию «Крестьянская Россия» и в 1922—1924 гг. редактировал издаваемый этой партией одноименный сборник, он был членом Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии, значительный вклад внес в деятельность Русско-чешского общества («Русско-чешской едноты»)¹⁰⁸, постоянно участвовал в праздновании Дней русской культуры.

В годы пражской эмиграции А. Л. Бему удалось достичь значительных успехов в научной работе, в популяризаторской и преподавательской дея-

тельности. Его связи были очень широкими, он общался со многими выдающимися людьми. Однако в своем последнем письме к В. И. Срезневскому от 20 июля 1936 г. Бем вновь отмечает: «Я должен сказать, что такого сотрудничества, как с Вами, я уже никогда не смогу осуществить. Мне здесь в моей научной работе пришлось и приходится очень трудно[...] недавно исполнилось 25 лет моей литературной деятельности, да и мне уже исполнилось в мае пятьдесят. А сделано очень немного из того, что мечталось и хотелось[...]» (л. 56—57 об.). За этими словами чувствуются и большая требовательность к себе, и непреходящая боль от возможности потери соавтора и учителя, с которым они уважали и всегда хорошо понимали друг друга.

С конца 1922 г. сохранились письма В. И. Срезневского к А. Л. Бему. Они показывают, что чувство дружбы и уважения двух ученых было взаимным.

Срезневский пишет о публикации оставшихся в России неизданных работ А. Л. Бема. Он сообщает Бему о встрече с его братом, который в июле 1919 г. вступил в Коммунистическую партию, а летом 1922 г. был назначен начальником Главного управления социального воспитания Народного комиссариата просвещения и членом коллегии Наркомпроса¹⁰⁹, рассказывает о своей научной работе и о сослуживцах, делится семейными и личными переживаниями. Однако основное содержание писем Срезневского — тяжелая обстановка в дорогой ему библиотеке и попытка разрушить возглавляемое ученым Рукописное отделение.

В Советской России судьба Всеволода Измайловича поначалу складывалась благополучно. В значительной степени он, видимо, обязан этим поддержке В. Д. Бонч-Бруевича, занимавшего при В. И. Ленине пост управляющего делами Совета Народных Комиссаров и сохранившего некоторое влияние после его кончины. Бонч-Бруевич неоднократно писал о В. И. Срезневском как об ученом «стойких демократических убеждений»¹¹⁰, который, «рискуя своим собственным существованием», помогал революционерам скрывать от полиции архивы и распространять нелегальную литературу¹¹¹, отмечал его заслуги перед революцией в различных вариантах своих воспоминаний. Он неизменно поддерживал В. И. Срезневского: добился, например, по его просьбе, личного распоряжения В. И. Ленина местным властям о содействии Срезневскому в реэвакуации в Петроград вывезенных ранее в Саратов рукописей академической библиотеки¹¹², составил несколько справок-характеристик о личности уче-

ного и о его содействии большевикам. В самые тревожные для Всеволода Измайловича месяцы, о которых речь пойдет ниже, В. Д. Бонч-Бруевич писал ему, что рассказывает о его «прекрасных делах 1905—[190]6 гг. и в следующих годах» «решительно везде»¹¹³.

Казалось, признанные большевистскими властями революционные заслуги и поддержка Бонч-Бруевича должны были обеспечить В. И. Срезневскому спокойное существование и плодотворную работу в Рукописном отделении. Однако этого не случилось. Сначала Срезневский не нашел общего языка с назначенным в 1925 г. директором Библиотеки Академии наук (с 1921 г. эта должность стала единой для всей библиотеки) академиком С. Ф. Платоновым¹¹⁴. Он был оскорблен решением Платонова передать Толстовский музей, вошедший после революции в состав библиотеки, под коллегиальное управление. «Представьте себе, это — для музея, мною созданного, мною в Ак[адемии] переданного, — писал Бему 26 августа 1927 г. возмущенный Всеволод Измайлович. — В комиссию введен Гинцбург, который тоже чего-то хочет, почему-то против меня ведет войну[...]. А Плат[онов] потирает руки и радуется, и хочет уничтожить музей»¹¹⁵. Конфликт развивался быстро, и уже в письме от 10 сентября В. И. Срезневский жаловался, что ему «все скверно благодаря гадостям Платонова», который в ответ на упреки, вызванные назначением в Рукописное отделение сотрудника без согласования с заведующим, предъявил «список вин». «Такая проявилась в этом списке мелочность, ничтожность, дикая мелкая мстительность. Удивительно худой человек. И как он устраивается при всех режимах...», — сокрушался Срезневский¹¹⁶.

Однако основная трагедия ученого была еще впереди. Она отразилась в переписке лишь косвенно — полным отсутствием писем Срезневского, дошедших до Альфреда Людвиговича в 1928—1932 гг. Составить представление о событиях в Библиотеке Академии наук в эти годы и об отношении к ним В. И. Срезневского помогают письма В. И. Срезневского и Н. А. Вукотич В. Д. Бонч-Бруевичу. Они рисуют невыносимую атмосферу, создавшуюся в Библиотеке Академии наук в связи с неоднократно упоминавшимся в предыдущих очерках «Академическим делом». Как известно, основным предлогом для начала «дела» стало мнимое «обнаружение» в академической библиотеке якобы неизвестных властям документов (в действительности, как теперь выяснено, в Москву о них было сообщено задолго до «Академического дела»)¹¹⁷. Главой антисоветской организации, якобы существовавшей в Академии, был объявлен Платонов. Поскольку речь в «обвинительном заключении» шла о рукописных мате-

риалах, следователи вплотную занялись «чисткой» Рукописного отделения. От ареста Всеволода Измайловича спасло, видимо, его известное всем негативное отношение к деятельности бывшего директора и, может быть, какое-то заступничество Бонч-Бруевича. В. И. Срезневский остался на свободе и даже писал о хорошем отношении к нему непосредственного руководителя антиакадемической акции, видного коммунистического функционера Ю. П. Фигатнера, однако 5 из 12 его сотрудников были арестованы. В отношении ученого были применены меры устрашения, направленные на то, чтобы заставить его покинуть любимую работу. Срезневского обвинили в собирании белогвардейских изданий, его стол обыскали в присутствии одного из подчиненных¹¹⁸. Руководство библиотеки совершенно перестало считаться с мнением Всеволода Измайловича. «У нас в библиотеке трудно и тяжело, — писал Срезневский Бонч-Бруевичу 8 января 1930 г. — Многие новые люди, и между ними далеко не все удовлетворительны [...]. Сменивший Платонова — помощник директ[ора] Публ[ичной] б[иблиоте]ки Яковкин, — не лучше своего предшественника, даже, пожалуй, хуже [...] я все время жду удара из-за угла [...]. Вы знаете, как дорого мне Рукоп[исное] отд[еление], мною созданное, ведь это плод моей жизни»¹¹⁹. В другом письме Срезневский отмечал, что «здесь все делается шито-крыто, почему-то необычайно поспешно, без проверки»¹²⁰.

Стиль работы нового директора библиотеки И. И. Яковкина, отмеченный Срезневским, объяснялся, видимо, поставленными перед ним задачами — от него ждали немедленного выполнения указаний Политбюро, принявшего 5 ноября 1929 г. специальное решение в связи с так называемым «обнаружением» в Библиотеке Академии наук «политических» документов. Пункт «г» постановления Политбюро предлагал «направить все документы, обнаруженные в Академии наук, по принадлежности [...]»¹²¹. В соответствии с ним был разработан план перераспределения рукописных материалов и создана комиссия Президиума Академии наук (Всеволод Измайлович с обидой писал Бонч-Бруевичу, что его в эту комиссию не включили)¹²², занимавшаяся практическим осуществлением плана. Комиссия определила Рукописное отделение как хранилище преимущественно рукописной книги. Личные фонды ученых, писателей и общественных деятелей передавались в Архив Академии наук и Пушкинский Дом, фонды государственных учреждений, политических, партийных и государственных деятелей — в государственные архивы, акты и хозяйственные книги XVI—XVII вв. — во вновь создаваемый Историко-археологический институт¹²³.

Богатейшая коллекция революционных подпольных изданий (по подсчетам Срезневского, только листовок в ней насчитывалось около 40 тысяч)¹²⁴ должна была быть, по свидетельству Бонч-Бруевича, «передвинута» в Институт Ленина¹²⁵.

Разумеется, о решении политбюро Срезневский знать не мог, а поэтому оценивал все происходящее как неразумные инициативы Яковкина и его окружения. Он подал Общему собранию докладную записку в защиту Рукописного отделения¹²⁶, просил Бонч-Бруевича помочь ему «своим веским словом»¹²⁷, надеялся на помощь Фигатнера и Луначарского...¹²⁸

Только летом 1931 г. Всеволод Измайлович понял, что сохранить Отделение хоть сколько-нибудь похожим на ту «жемчужину», какой оно считалась ранее, совершенно невозможно¹²⁹. В октябре он вышел на пенсию, но еще в течение почти пяти лет продолжал научную работу, о которой сообщает А. Л. Бему в письмах 1932—1935 гг.

Письма уже тяжело больного В. И. Срезневского этого периода проникнуты тоской по прошлому, но, вместе с тем, и желанием как можно дольше продолжать свою научную деятельность. 6 апреля 1934 г. он писал Бему в связи с посылкой ему статьи о Словаре древнерусского языка своего отца: «В этой статье изображается кусок моей жизни, к которой Вы близки так. Припоминается выставка 1913 года, Ваша помощь, Ваши объяснения публике, немногочисленной, правда, и после, многое, многое»¹³⁰. «Все я разбираю, п[отому] ч[то] чувствую, что скоро я не в состоянии буду работать [...], скоро уж месяц плохо действует рука и нога, надо беречься по-видимому. А все хочется работать. У меня большая работа — переписка с Григоровичем — окончена для Болг[арской] акад[емии], — готовится для Москвы переписка с Ганкою, еще для словаков [...] — путешествие по их земле отца, очень интересное, его наблюдения, записки [...]. Для Звеньев приготовлена переписка с Добролюбовым и уже почти напечатана и также с Некрасовым и Никитенкою, и ведь все это интересно как!» — писал Срезневский Бему 4 сентября 1934 г.¹³¹

Последнее письмо Всеволод Измайлович написал Бему за полтора месяца до смерти. В нем он сообщал о кончине академика Н. К. Никольского и вспоминал, «то далекое время, когда мы вместе с Вами рылись в его библиотеке в его тогда хорошеньком, чистеньком доме в Царском Селе»¹³².

Прочел ли ученый трогательный ответ Альфреда Людвиговича, неизвестно: письмо Бема было отправлено за девять дней до кончины Срезневского.

Смерть Всеволода Измайловича Срезневского осталась незамеченной, о чем, видимо, позаботились партийные органы. Попавший в опалу В. И. Срезневский не удостоился даже некролога, первая статья о нем появилась лишь в 1973 г.¹³³ Между тем научное наследие Всеволода Измайловича достойно дальнейшего изучения не менее, чем творчество А. Л. Бема.

Альфред Людвигович Бем пережил своего учителя и дожил до конца Второй мировой войны. В его биографии периода немецко-фашистской оккупации Чехословакии многое еще остается неясным. Во всяком случае, в первые месяцы после нападения Германии на Советский Союз он проявил себя как русский патриот. «Как-то... я встретил Альфреда Людвиговича на улице, — вспоминал В. Морковин. — Естественно, поговорили о новостях с фронта, а потом он, смотря в сторону, сказал: “Вы знаете, я перешел в православие... Принял имя Алексей...”. «Это не был просто религиозный поступок. В дни великих мук русского народа он демонстративно рвал со своими предками и подчеркивал, на чьей он стороне», — отмечал мемуарист¹³⁴.

Известно, что в связи с закрытием немецкими оккупационными властями чешских высших учебных заведений А. Л. Бем годы фашистской оккупации Чехословакии лишился работы в Карловом университете и был вынужден преподавать русский язык в одной из пражских гимназий, на языковых курсах, давать частные уроки. Бем преподавал также в Русском свободном университете, ему довелось участвовать в написании выдержавшего несколько изданий учебника русского языка¹³⁵ и в подготовке публикации в связи со столетием со дня смерти М. Ю. Лермонтова¹³⁶. Последним результатом его научных занятий оказалась работа «Церковь и русский литературный язык»¹³⁷.

Находясь в очень тяжелом материальном положении, Бем в январе 1945 г. принял приглашение поступить в библиотеку немецкого фонда Рейнхардта Гейдриха («Reinhard Heydrich Stiftung»), созданного оккупационными властями в целях ликвидации независимой чешской науки и занявшего помещения закрытых чешских учебных заведений; это очень скомпрометировало его в глазах чешских коллег.

После освобождения Праги от немецкой оккупации А. Л. Бем вместе со многими другими русскими эмигрантами был арестован советскими спецслужбами и его дальнейшая судьба неизвестна¹³⁸. Как и в случае со Срезневским, уделом Бема стало забвение. Труды ученого с 1920-х годов не издавались на его родине, с 1945 г. — оказались под запретом в Чехо-

словакии. Бем-ученый исчез из поля зрения нескольких поколений литературоведов, память о нем сумел сохранить только узкий круг специалистов по русской классической литературе, преимущественно по Ф. М. Достоевскому.

Судьбы Бема и Срезневского, столь различные внешне, оказались схожими по сути. Их деловым и дружеским связям, установившимся до революционных событий в России, суждено было в революционные и пореволюционные годы выдержать испытание долгими разлуками. Работа Бема и Срезневского, и Бема проходила в нелегких условиях. Они, однако, были преданы науке и, невзирая на все трудности, сумели внести выдающийся вклад в ее развитие. Письма Бема и Срезневского — это письма о своих делах и планах, иногда о несбывшихся надеждах и о потерях. Но вместе с тем это — и попытки преодоления искусственно созданных на пути общения барьеров и сохранения исторической памяти. Закончить можно перекликающимися между собой выдержками из посланий друзей: «В письме не передашь и сотой доли того, что хотелось бы», — писал Бем. «Я хочу передать то, что помню, что знаю, и к этому я стремлюсь всеми силами. Как мне Вас недостает!», — вторил ему Срезневский¹³⁹.

Примечания

¹ Мейснер Д. Миражи и действительность. М., 1966. С. 221.

² РГАЛИ. Ф. 436.

³ Там же. Оп. 1. Д. 2580. Л. 1—55. Далее ссылки на это дело даются в тексте, указываются только его листы.

⁴ LA PNP. F. A. Bem.

⁵ Копанев А. И. Всеволод Измайлович Срезневский — библиотекарь Библиотеки Академии наук // Сб. ст. и м-лов по книговедению / Библиотека АН СССР. Л., 1973. Вып. 3. С. 214—225.

⁶ ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 55. // В. И. Срезневский. Curriculum vitae.

⁷ См.: Копанев А. И. Указ. соч. С. 214—215.

⁸ Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1893—1912. Т. 1—3.

⁹ ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 55—56 об.

¹⁰ История Библиотеки Академии наук СССР, 1714—1964. М.; Л., 1964. С. 230—232.

¹¹ ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 55—56 об.

- ¹² Список русских повременных изданий 1703—1899 гг. со сведениями об экземплярах, принадлежащих Библиотеке Академии наук. СПб., 1901. 1115 с.
- ¹³ *Копанев А. И.* Указ. соч. С. 222—225.
- ¹⁴ Подробнее см.: История Библиотеки Академии наук ... С. 290—291.
- ¹⁵ *Копанев А. И.* Указ. соч. С. 222—225.
- ¹⁶ ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 56 об.
- ¹⁷ *Срезневский В. И.* Срезневский Измаил Иванович // Русский биографический словарь. СПб., 1909. [Т. 19]. С. 276—298; *Он же.* Краткий очерк жизни и деятельности И. И. Срезневского // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Пг., 1916. Кн. 1. С. 1—68.
- ¹⁸ Путевые письма И. И. Срезневского из славянских земель, 1839—1842. СПб., 1895.
- ¹⁹ *Срезневский В. И.* Из первых лет научно-литературной деятельности И. И. Срезневского. 1831—1839 // Журнал Министерства народного просвещения. 1898. Ч. 315. № 1. С. 1—39 (Отд. наук).
- ²⁰ *Срезневский В. И.* Об истории составления словаря древнерусского языка И. И. Срезневского // Изв. АН СССР. VII сер. Отд.-ние общественных наук. 1933. № 9. С. 705—728.
- ²¹ *Срезневский В. И.* К истории издания Известий и Ученых записок Второго отделения Императорской Академии наук. СПб., 1905. 143 с.
- ²² *Срезневский В. И.* Знакомство И. И. Срезневского с И. П. Котляревским // Киевская старина. 1899. № 1. С. 1—4.
- ²³ *Срезневский В. И.* И. И. Срезневский о Л. Н. Толстом: («Война и мир» и «Азбука») // Сб. ст. в честь Алексея Ивановича Соболевского. Л., 1928. С. 53—56.
- ²⁴ *Досталь М. Ю.* И. И. Срезневский и его связи с чехами и словаками. М., 2003. С. 19.
- ²⁵ Заметки Востокова о его жизни. СПб., 1901. 114 с.
- ²⁶ *Срезневский В. И.* Симеона Метафраста и Логофета списание мира от бытия и летописи собран от различных летописей: Славянский перевод хроник Симеона Логофета с доп. СПб., 1905. [II], XVI, 241 с.
- ²⁷ *Срезневский В. И.* Материалы для биографии И. И. Срезневского: (печатные источники) // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Пг., 1916. Кн. 1. С. 333—406.
- ²⁸ *Демиденко Г. Г.* Дел у революции немало...: Очерк жизни и деятельности В. Д. Бонч-Бруевича. М., 1976. С. 40—41.
- ²⁹ *Бонч-Бруевич В. Д.* Владимир Ильич и Всесоюзная академия наук // Ленин и Академия наук: Сб. док. М., 1969. С. 276—283; История Библиотеки Академии наук СССР... С. 274—276.
- ³⁰ *Бонч-Бруевич В. Д.* Нелегальный отдел Библиотеки Академии наук (по личным воспоминаниям) // Известия. 1925. 6. XI.
- ³¹ *Маковицкий Д. П.* У Толстого, 1904—1910: «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. М., 1979. Кн. 4. С. 372. (Литературное наследство. Т. 90. Кн. 4); Отчет о деятельности Императорской Академии наук по физико-математическому и историко-филологическому отделениям за 1912 г. СПб., 1913. С. 39—40.
- ³² История Библиотеки Академии наук... С. 242, 274.

³³ Бем А. Л. После Толстого: (из моих воспоминаний) // Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001. С. 424—425.

³⁴ См., например: Отчет Совета Общества Толстовского музея Годичному общему собранию 1 мая 1911 года о деятельности Общества за 1910—1911 гг. // Известия Общества Толстовского музея. 1911. №1. С. 69—76.

³⁵ Толстовский музей. СПб., 1911. Т. 1. Переписка Л.Н. Толстого с графиней А. А. Толстой (1857—1903). 13, 394 с.

³⁶ Срезневский В. И. Толстовский музей в Петербурге // Солнце России. 1912. № 145. С. 23.

³⁷ См.: Отчет Общества Толстовского музея в Санкт-Петербурге. 1912—1913. СПб., 1914. С. 3, 7—8.

³⁸ Бубеникова М., Горяинов А. Н. О невосполнимых потерях: Альфред Людвигович Бем и Всеволод Измайлович Срезневский // Бем А. Л., Срезневский В. И. Переписка, 1911—1936. Брно, 2005. С. 8.

³⁹ Бем А. Л. После Толстого... С. 425.

⁴⁰ См.: Горяинов А. Н., Робинсон М. А. Шесть писем А. Л. Бема и о А. Л. Беме // Славяноведение. 1998. № 4. С. 95.

⁴¹ Анциферов Н. П. Из дум о былом: Воспоминания. М., 1992. С. 190—192.

⁴² Бем А. Л. Письма о литературе. Praha, 1996. С. 116.

⁴³ ОР и РК РНБ. Ф. 1304. Д. 23. Л. 20.

⁴⁴ Сурат И., Бочаров С. Альфред Людвигович Бем // Вопросы литературы. 1991. № 6. С. 68—69.

⁴⁵ Горяинов А. Н. Некоторые новые материалы об А. Л. Беме // Международная конференция «Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами: результаты и перспективы исследований. Фонды Славянской библиотеки и пражских архивов». Прага, 14—15 августа 1995 г.: сб. докладов. Прага, 1995. [Т. 1.] С. 344, 349.

⁴⁶ Бем А. Л. К вопросу о влиянии Шатобриана на Пушкина // Пушкин и его современники. СПб., 1911. Вып. 15. С. 146—163.

⁴⁷ Бочаров С. Г., Сурат И. З. Альфред Людвигович Бем // Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе. С. 9.

⁴⁸ Бем А. Л. К уяснению понятия историко-литературного влияния: (по поводу статьи А. С. Полякова «Пушкин и Пнин») // Пушкин и его современники. П., 1916. Вып. 23/24. С. 23—44.

⁴⁹ Срезневский В. И., Бем А. Л. Издания церковной печати времени Императрицы Елизаветы Петровны, 1741—1761. СПб., 1914. 552 с. (Выставка «Ломоносов и Елизаветинское время». Т. 4).

⁵⁰ Бем А. Л. После Толстого... С. 425.

⁵¹ Анциферов Н. П. Указ. соч. С. 183—186.

⁵² Горяинов А. Н., Робинсон М. А. Указ. соч. С. 94—95.

⁵³ Там же. С. 94.

- ⁵⁴ ОР и РК РНБ. Ф. 1304. Д. 23. Л. 5 и др.
- ⁵⁵ Там же. Л. 8.
- ⁵⁶ *Горяинов А. Н.* Указ. соч. С. 345—346.
- ⁵⁷ Там же. С. 346.
- ⁵⁸ *Горяинов А. Н., Робинсон М. А.* Указ. соч. С. 98.
- ⁵⁹ Там же. С. 95.
- ⁶⁰ ОР и РК РНБ. Ф. 1304. Д. 213. Л. 13—13 об.
- ⁶¹ *Горяинов А. Н., Робинсон М. А.* Указ. соч. С. 99.
- ⁶² ОР и РК РНБ. Ф. 1304. Д. 23. Л. 22—23 об.
- ⁶³ Там же. Д. 213. Л. 9—10.
- ⁶⁴ Там же. Л. 12.
- ⁶⁵ Там же. Д. 23. Л. 20.
- ⁶⁶ Там же. Л. 26, 28.
- ⁶⁷ Там же. Л. 22.
- ⁶⁸ Там же. Л. 25 об.
- ⁶⁹ Там же. Л. 20 об.
- ⁷⁰ *Горяинов А. Н.* Указ. соч. С. 349.
- ⁷¹ *Горяинов А. Н., Робинсон М. А.* Указ. соч. С. 96; *Рейзер (Бем) Т.* Украденное счастье // *Veber V. a kol. Ruska a ukrajinska emigrace v ĆSR v letech 1918—1945. Praha, 1995. Sbornik studii — 3. S. 93.*
- ⁷² ОР и РК РНБ. Ф. 1304. Д. 23. Л. 49 об.
- ⁷³ *Бем А. Л.* После Толстого... С. 426—428.
- ⁷⁴ *Бем А. Л.* Библиография славяноведения // Библиологический сб. СПб., 1915. Т. 1. Вып. 1. С. 40—46.
- ⁷⁵ *Бем А. Л.* К истории изучения Толстого. 1. Толстовские общества и их издательская деятельность. 2. Обзор библиографических работ о Толстом. Пг., 1916. 63 с. (Библиологический сб. Т. 1. Вып. 2).
- ⁷⁶ *Машкова М. В.* История русской библиографии начала XX века (до Октября 1917 г.). М., 1969. С. 273.
- ⁷⁷ *Горяинов А. Н.* Указ. соч. С. 349; *Бочаров С. Г., Сурат И. З.* Альфред Людвигович Бем... С. 12.
- ⁷⁸ ОР и РК РНБ. Ф. 1304. Д. 23. Л. 53.
- ⁷⁹ Там же. Ф. 326. Д. 168. Л. 1, 5.
- ⁸⁰ Там же. Л. 4.
- ⁸¹ *Горяинов А. Н.* Указ. соч. С. 349—350.
- ⁸² *Бем А. Л.* К уяснению историко-литературных понятий // Известия Отделения русского языка и словесности РАН. 1919. Т. 23. Кн. 1. С. 225—245.

- ⁸³ Анциферов Н. П. Указ. соч. С. 187—188.
- ⁸⁴ ОР и РК РНБ. Ф. 1304. Д. 24. Л. 1.
- ⁸⁵ ОР РГБ. Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 55.
- ⁸⁶ Горяинов А. Н. Указ. соч. С. 350.
- ⁸⁷ Бонч-Бруевич В. Д. В. И. Ленин и Библиотека Академии наук // Бонч-Бруевич В. Д. Избр. соч. М., 1961. Т. 2. С. 453—461.
- ⁸⁸ Горяинов А. Н., Робинсон М. А. Указ. соч. С. 99—100.
- ⁸⁹ Зеньковский В. В. Мои встречи с выдающимися людьми // Зап. Русской академической группы в США. New York, 1994. Т. 36. С. 10.
- ⁹⁰ Зеньковский В. В. Пять месяцев у власти (15 мая — 19 октября 1919 г.): Воспоминания. М., 1995. С. 190—192.
- ⁹¹ LA PNP. F. A. Vcm. Kart. 1.
- ⁹² Бем А. Л. Письма о литературе... С. 16.
- ⁹³ О «русской акции» подробнее см.: Сладек З., Белошевская Л. и кол. Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918—1939). Прага, 1998. 343 с. и др.
- ⁹⁴ Впервые в письмах В. И. Срезневскому А. Л. Бем упоминает о приезде к нему жены и дочерей 3 марта 1923 г. (Л. 41—41 об.)
- ⁹⁵ А. Л. Бем намекает здесь на отсутствие у него ученой степени. В двухтомных мемуарах «То, что вспоминается...», вышедших в Таллине в 1996 г., Н. Е. Андреев также пишет о «разных интригах в Карловом университете», помешавших Бему стать профессором (т. 2, с. 194), и о том, что «дорогие коллеги за границей всеми силами мешали ему получить пост» (т. 1, с. 260).
- ⁹⁶ РГАЛИ. Ф. 436. Оп.1. Д. 2580 а. Л. 2—2 об.
- ⁹⁷ Историко-литературный сборник: посвящается В. И. Срезневскому, 1891—1916. Л., 1924. С. 268—290.
- ⁹⁸ РГАЛИ. Ф. 436. Оп.1. Д. 2580 а. Л. 2—2 об.
- ⁹⁹ Подробнее о «Ските» см.: Белошевская Л. Пражский «Скит»: попытка реконструкции // *Rossica. Praha*, 1995. № 1. С. 61—71; Вокруг «Скита» / Публ. О. М. Малевича // Ежегодник Рукописного отд. Пушкинского дома. СПб., 1998. С. 145—247; Белошевская Л. Молодая эмигрантская литература в Праге: (Объединение «Скит»: творческое лицо) // Духовные течения в русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике. Прага, 1999. С. 164—203.
- ¹⁰⁰ Плетнев Р. Воспоминания о первом Международном обществе им. Ф. Достоевского // Зап. Русской академической группы в США. New York, 1981. Т. 14. С. 9.
- ¹⁰¹ «Воспоминания» Вадима Морковина / Публ. Д. В. Базановой // Русская литература. 1993. № 1. С. 213.

¹⁰² О деятельности А. Л. Бема в Пражском лингвистическом кружке подробнее см.: Эмигрантский период жизни и творчества Альфреда Людвиговича Бема: Каталог выставки. СПб., 1999. С. 8—9.

¹⁰³ Бем А. Л. Письма о литературе. 366 с.

¹⁰⁴ Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001. С. 331—440.

¹⁰⁵ *Puškín A. S. Vybrané spisy A. S. Puškína. Praha, 1936—1938. Sv. 1—4.*

¹⁰⁶ Бем А. Л. О Пушкине: Статьи. Ужгород, 1937. 111 с.

¹⁰⁷ Бочаров С. Г., Сурат И. З. Альфред Людвигович Бем... С. 27.

¹⁰⁸ Подробнее см.: Бубеникова М. «Русско-чешская еднота» в собраниях пражских архивов // *Russia in Czech Historiography. Prague, 2002. P. 375—396.*

¹⁰⁹ Подробнее об О. Л. Беме см.: Буня М. Он был среди первых // Красное знамя. Глазов, 1966. 28. XI; Глушков В. Согласие // Учительская газета. 1980. 19. IV.

¹¹⁰ ОР РГБ, Ф. 369. Карт. 296. Ед. хр. 7. Л. 39.

¹¹¹ Там же. Л. 41.

¹¹² Бонч-Бруевич В. Д. Владимир Ильич и Всесоюзная Академия наук... С. 23—26.

¹¹³ ОР РГБ, Ф. 369. Карт. 206. Ед. хр. 7. Л. 2.

¹¹⁴ С. Ф. Платонова близкие к В. И. Срезневскому люди называли «постоянным врагом» ученого (См.: ОР РГБ, Ф. 369. Карт. 252. Ед. хр. 51. Л. 4).

¹¹⁵ Бем А. Л., Срезневский В. И. Переписка, 1911—1936. Брно, 2005. С. 108—109.

¹¹⁶ Там же. С. 111.

¹¹⁷ Академическое дело, 1929—1931 гг. СПб, 1993. Вып. 1. С. XXVI — XXVII.

¹¹⁸ РГАЛИ. Ф. 436. Оп.1. Д. 2533. Л. 4.

¹¹⁹ ОР РГБ, Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 17. Л. 103—104.

¹²⁰ Там же. Л. 115—116.

¹²¹ Академическое дело... Вып. 1. С. XXIX.

¹²² ОР РГБ, Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 1.

¹²³ Копанев А. И. Указ. соч. С. 140.

¹²⁴ ОР РГБ, Ф. 369. Карт. 338. Ед. хр. 18. Л. 9—10об.

¹²⁵ Там же. Карт. 252. Ед. хр. 7. Л. 4об.

¹²⁶ Там же. Карт. 338. Ед. хр. 17. Л. 115—116.

¹²⁷ Там же. Л. 108.

¹²⁸ Там же. Л. 119.

¹²⁹ Там же. Л. 108.

¹³⁰ Бем А. Л., Срезневский В. И. Переписка... С. 119.

¹³¹ Там же. С. 121—122. Большинство из указанных в письме работ опубликовано. См.: *Добролюбов Н. А.* Переписка с И. И. Срезневским / (С вступит. ст. и примеч. Вс. Срезневского) // *Звенья*. М., 1934. Т. 3/4. С. 520—551; Письма Н. А. Некрасова и А. В. Никитенко к И. И. Срезневскому о цензуре «Современника» (1848—1850) / Вводная ст. и примеч. В. И. Срезневского // *Звенья*. М.; Л., 1935. Т. 5. С. 489—503; Переписка В. И. Срезневского с В. И. Григоровичем // *Списание на Българската Академия на науките*. София, 1937. Кн. 54. С. 1—94.

¹³² *Бем А. Л., Срезневский В. И.* Переписка... С. 128.

¹³³ *Копанев А. И.* Указ. соч. С. 214—245. См. также: *Горяинов А. Н.* Всеволод Измайлович Срезневский и Библиотека Академии наук // И. И. Срезневский и современная славистика: наука и образование. Сб. научных трудов. Рязань, 2002. С. 50—57; *Он же.* Всеволод Измайлович Срезневский — археограф, славяновед и общественный деятель // *Славянский альманах*, 2002. М., 2003. С. 237—252.

¹³⁴ «Воспоминания» Вадима Морковича. С. 215.

¹³⁵ *Русское слово: Učebnice pro školu a dům*. Прага, 1940. 323 с.

¹³⁶ *Лермонтов М. Ю.* Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Прага, 1941. 60 с.

¹³⁷ *Бем А. Л.* Церковь и русский литературный язык. Прага, 1944. 65 с.

¹³⁸ *Bubeniková M. K osudu Alfréda Béma za druhé světové války // Bystrov V. Z Prahy do GULAG'u aneb překáželi*. Praha, 1999. S. 317—322; *Бочаров С. Г., Сурат И. З.* Альфред Людвигович Бем... С. 28—30.

¹³⁹ *Бем А. Л., Срезневский В. И.* Переписка... С. 93, 130.

Советский режим и судьба двух славистов: М. Г. Попруженко и Г. А. Ильинский

Один из «героев» предыдущего очерка А. Л. Бем отправил 30 января 1939 г. открытку в Софию историку-эмигранту М. Г. Попруженко. Поздравляя ученого с избранием его доктором *honoris causae* Софийского университета, Бем отмечал: «В наше время признание заслуг русского ученого, за которым ничего не стоит, кроме его научной деятельности, явление столь редкое, что невольно хочется на него откликнуться»¹.

В открытке зафиксировано довольно необычное для представителя русской эмиграции положение Попруженко в научных кругах.

На родине он был усердно работавшим, но вполне средним ученым. Заслугой Попруженко крупнейшие отечественные слависты А. И. Соболевский, П. А. Лавров и другие считали, прежде всего, ознакомление научной общественности с труднодоступными памятниками южнославянской истории, отмечая, вместе с тем, недостаточно высокий научный уровень его работ².

В Болгарии Михаил Георгиевич, наоборот, получил всеобщее признание как крупный ученый, причем не только как славист широкого профиля, но и как болгарист. Вскоре по приезде в 1920 г. в Болгарию он стал профессором Софийского университета, в 1923 г. был избран членом-корреспондентом Болгарской академии наук, а в 1941 г., за три года до смерти (он скончался 30 марта 1944 г.), стал действительным членом Академии³.

Прочности положения ученого в Болгарии способствовали, по всей вероятности, как многолетние научные контакты с болгарскими коллегами, так и преподавательская работа в Софийском университете, где Попруженко, заняв нишу, не освоенную болгарскими специалистами, читал курсы по русской литературе. И еще одно немаловажное обстоятельство помогло русскому эмигранту без особых усилий добиться научного авторитета в приютившей его стране: в Болгарии ученый издавал преимущественно свои переработанные болгаристические труды, уже публиковавшиеся ранее в России.

М. Г. Попруженко родился 25 июля 1866 г. в Одессе⁴. После окончания в 1889 г. историко-филологического факультета Новороссийского университета он преподавал сначала в коммерческом училище, а затем на родном факультете⁵, где сменил на кафедре славянской филологии своего учителя А. А. Кочубинского. Одновременно с 1896 г. ученый заведовал Одесской городской публичной библиотекой⁶. До 1917 г. Попруженко занимался также историей Новороссийского края⁷, исполнял обязанности секретаря Одесского общества истории и древностей⁸, написал несколько статей по вопросам педагогики⁹.

Впервые М. Г. Попруженко побывал в Болгарии в 1896 г. — по инициативе академика Ф. И. Успенского он занялся исследованием хранящегося в Болгарской национальной библиотеке Палаузовского списка «Синодика царя Борила» — памятника XIII в., содержащего ценные сведения о богомилах¹⁰. В 1899 г. монография о Синодике¹¹ была защищена Попруженко в качестве докторской диссертации¹².

Впоследствии, по свидетельству самого М. Г. Попруженко, он бывал в Болгарии почти каждые два-три года¹³, а в промежутках между поездками работал в архивах Одессы, Кишинева, Петербурга, Варшавы и Москвы¹⁴. В Одессе он познакомился с И. Вазовым, с часто бывавшими там болгарскими революционерами и молодыми писателями¹⁵, в Софии — с болгарскими учеными.

Под руководством Кочубинского, занимавшегося как южными, так и западными славянами, М. Г. Попруженко формировался как славист широкого профиля. Он начал печататься еще в студенческие годы, выступая с корреспонденциями, рецензиями, заметками в одесских газетах и воронежском журнале «Филологические записки». Скоро среди его газетных материалов на самые разные темы стали появляться статьи о зарубежных славянах. В 1899 г. Попруженко напечатал, например, в газете «Одесский вестник» статьи о В. Е. Априлове¹⁶, о деятельности Сербской академии¹⁷, о культурном единстве славян¹⁸, о школьном образовании в Черногории¹⁹.

Первая научная работа начинающего слависта была напечатана в журнале «Филологические записки»²⁰, он перевел для этого издания заключительную главу книги чешского исследователя В. Брандля о Йозефе Добровском²¹. На вступительную приват-доцентскую лекцию М. Г. Попруженко «Прошлое глаголицы», прочитанную в Новороссийском уни-

верситете 4 сентября 1891 г.²², кратко, но весьма положительно откликнулся И. В. Ягич²³. Магистерскую диссертацию Попруженко защитил о сербской рукописи «Книги царств» (XV в.)²⁴.

Основные интересы М. Г. Попруженко были связаны с Болгарией. Наибольший вклад в болгаристику ученый внес в трех областях: изучение древних памятников письменности, относящихся к истории и литературе Болгарии, прежде всего источников по истории богомилства; история болгарского Возрождения; кирилло-мефодиевская проблематика. Всеми этими проблемами Попруженко начал заниматься в России. В Болгарии он, как правило, лишь дополнял свои исследования вновь найденными материалами, уточнял и развивал высказанные ранее взгляды, более солидно фундировал выводы.

Наибольшее научное значение имеет деятельность М. Г. Попруженко в Болгарии по изданию и исследованию памятников, связанных с богомилством. В 1928 г. Попруженко выпустил коренным образом переработанное второе издание своей докторской диссертации о «Синодике» царя Бориса²⁵. В 1936 г. он напечатал другую такую же переработку — книгу «Козма Пресвитер: Болгарский писатель X в.»²⁶ (первое издание вышло в 1907 г.). Его труд представляет собой критическое издание одного из основных источников по истории болгарского богомилства — «Беседы» против богомилской ереси Козмы Пресвитера.

Ученый продолжал также цикл своих работ по истории болгарского национального возрождения, начатый в 1902 г. серией статей «Очерки по истории возрождения болгарского народа»²⁷. В 1920—1930-е годы Попруженко опубликовал около 20 статей по данной проблематике. В них исследовались вопросы помощи России в 70-х годах XIX в. возрождению болгарской культуры и восстановлению болгарской государственности. Наконец, кирилло-мефодиевская проблематика, как и в «российский» период работы Попруженко, была представлена в его научном творчестве преимущественно библиографическими трудами.

Наряду с научными работами М. Г. Попруженко активно выступал в болгарской печати с публицистическими статьями, особенно по проблемам «славянской солидарности». Он разделял те взгляды на «славянскую взаимность», которые, как было уже показано в очерке о трактовке ее в России и в эмиграции, являлись наиболее широко распространенными в эмигрантской среде. По мнению Попруженко, Россия является потенциальным оплотом славянства, но выполнение Российским государством этой

миссии и связанное с этим достижение славянского единения на основе равноправия всех славян станет возможным только после свержения большевизма. Ученый считал также, что «славянскую взаимность» поддерживает «последовательно русофильски» настроенная болгарская интеллигенция, адекватно отражающая чаяния болгарского народа²⁸.

М. Г. Попруженко активно популяризировал в Болгарии русскую классическую литературу. Вскоре после начала своей эмиграции он напечатал статьи об А. С. Пушкине, Ф. М. Достоевском, А. Н. Майкове в журнале «Сълнце»²⁹.

Во второй половине 1920-х годов Михаил Георгиевич опубликовал научно-популярные работы о В. М. Гаршине, Н. В. Гоголе, М. Ю. Лермонтове, Л. Н. Толстом³⁰, в 1930-е написал краткий очерк о творчестве А. П. Чехова³¹. Некоторые выступления М. Г. Попруженко в печати были связаны с событиями общекультурного значения, например со 175-летием Московского университета³².

Еще одним направлением деятельности ученого было ознакомление широких кругов болгарской общественности с жизнью и деятельностью славистов прошлого и настоящего, с их работами о Болгарии. В болгарских научных и научно-популярных изданиях, в газетах он рассказал о своих учителях и старших товарищах, многих из которых знал лично — об А. Н. Пыпине, В. И. Ламанском, Н. А. Попове, М. С. Дринове, И. В. Ягиче, Ф. И. Успенском, А. И. Соболевском, В. А. Францеве и др.³³

Подобно большинству русских эмигрантов, М. Г. Попруженко считал свое пребывание в Болгарии временным и мечтал о возвращении на родину. В своих письмах он отмечал, что живет «в душевной тоске и немощах телесных»³⁴, что его «все более и более тянет, болезненно тянет» в Одессу³⁵. Ученый всемерно старался сохранить связи с Россией, с оставшимися под властью большевиков коллегами. В эмигрантском архиве Михаила Георгиевича сохранились письма от крупнейших ленинградских и московских славистов Б. М. Ляпунова, А. М. Селищева, М. Н. Сперанского, от главы отечественных византинистов академика Ф. И. Успенского, в которых они благодарят М. Г. Попруженко за помощь в работе³⁶.

Обычно Попруженко всячески содействовал публикации в Болгарии славистических трудов оставшихся на родине ученых, сообщал им о выходе в свет их книг и статей (что имело немаловажное значение в условиях задержки зарубежных изданий советской цензурой), иногда осуществлял корректуру их работ, однажды послал Ф. И. Успенскому «пакет с древностями». Из писем Ф. И. Успенского видно также, что Попруженко вы-

ступил с инициативой налаживания постоянного научного сотрудничества советских и болгарских ученых на базе редактировавшегося Успенским «Византийского временника», которая, впрочем, не имела практических результатов³⁷.

Особенно тесные научные связи установились у М. Г. Попруженко с талантливейшим филологом-славистом, крупнейшим отечественным этимологом, выдающимся специалистом в области славянской письменности, автором знаменитой «Праславянской грамматики»³⁸, членом-корреспондентом АН СССР Григорием Андреевичем Ильинским (23. III.1876—14. XII.1937)³⁹.

Судя по некоторым письмам Ильинского к Попруженко, они были знакомы не только заочно, но и лично. В архиве Болгарской Академии наук сохранилось 68 писем Г. А. Ильинского к М. Г. Попруженко за январь 1926 — январь 1934 г.; 64 из них опубликованы в упоминавшемся выше сборнике документов «Българо-руски научни връзки...» По всей вероятности, письма не дошли до нас полностью: в первом из сохранившихся Ильинский сообщает о полученном им «последнем письме» Попруженко⁴⁰, из других его писем видно, что некоторые послания Ильинского Попруженко не получил. Два первых письма Ильинский отправил из Саратова, все же последующие письма написаны уже после переезда ученого в Москву, таким образом в них совсем не нашел отражения кратковременный период пребывания Г. А. Ильинского в Казани перед приглашением его на работу в Московский университет.

М. А. Робинсон справедливо отметил обширность проблематики писем Г. А. Ильинского и сообщил о том, что последний делился информацией, полученной от Михаила Георгиевича, с коллегами-учеными. Изложение одной такой информации приведено в книге Робинсона. Ильинский пишет академику Ляпунову как раз о том письме Попруженко, с ответа на которое начинаются сохранившиеся письма Ильинского. Письмо Г. А. Ильинского Б. М. Ляпунову датировано 12-м января 1926 г. «Недавно получил письмо из Софии от Попруженко. Он пишет, что материально устроился недурно [...]», — отмечает ученый⁴¹. К сожалению, о письмах Попруженко Ильинскому можно судить только по их изложениям, сами эти письма не сохранились⁴².

Письма Г. А. Ильинского представляют значительную ценность и для истории болгарско-русских научных связей 1920—1930-х годов и для изучения взаимодействия двух ученых, разделенных межгосударственными границами и идеологическими запретами. Следует иметь, однако, в виду,

что запреты в значительной степени сохранились и в публикации в болгарском сборнике. Письма напечатаны с многочисленными и весьма значительными купюрами. Публикаторы постарались изъять те строки, в которых давались нелестные отзывы Григория Андреевича об отношении советских партийных и государственных органов к фундаментальной науке вообще и к славяноведению в частности, а также к ученым, занявшим руководящие посты в научных структурах Советского Союза. «У нас, в университете, как будто повеяло новым духом. Влияние студентов понемногу ограничивается; в принципе решено ввести научные степени и поднять квалификацию преподавательского состава», — обрывают, например, публикаторы предпоследний абзац письма Ильинского от 23 июня 1926 г. Далее следует отточие, однако вместо него в тексте письма имеется фраза, в корне меняющая смысл написанного.

«[...] Но частая и иногда бессмысленная смена учебных программ и засилье небогословских, то есть марксистских предметов, а также плохая подготовка студенчества, — пишет Ильинский, — часто превращают нашу работу в толчение воды в ступе». И, сообщив о «незавидном» материальном положении профессоров, продолжает: «Но не о хлебе едином жив будет человек. Я бы охотно согласился получать еще меньший оклад, если бы только были предоставлены возможности свободного исследования и печатания. Но, — увы! — русская филология представляет теперь лишь поле, усеянное мертвыми костями»⁴³.

Из публикации письма от 9 января 1931 г. исключены взятые в скобки слова Ильинского о Державине, Каринском и Орлове — «трех наших новых академиках (и Подхалузиных от науки)»⁴⁴.

В письме от 16 сентября 1932 г. выброшены слова с выражением удивления, что «в список ее (Болгарской Академии наук — А. Г.) членов» попал и Н. С. Державин. «Едва ли можно поздравить Болгарскую академию, — писал Ильинский, — что в ее члены вошел этот беспардонный карьерист [...]»⁴⁵.

Впрочем, составители хотя и пытались, но не смогли совсем избавить читателя от знакомства с высказываниями Ильинского о советской действительности, которые достаточно отчетливо выражают взгляды ученого на положение отечественной науки.

Уже в первом из сохранившихся писем Г. А. Ильинский, поздравляя М. Г. Попруженко с Рождеством и Новым годом, желает ему, «чтобы “русская печаль”... которая для многих из нас уже давно является миллионом терзаний, увидела хоть слабый просвет»⁴⁶.

В других письмах выражено резко отрицательное отношение к «яфетической теории» Н. Я. Марра, которую Ильинский называет «бредом сумасшедшего» и характеризует как «своеобразную смесь невежества, святой наивности и самой дикой фантазии»⁴⁷.

Одним из самых неприглядных актов сталинского режима была фабрикация ГПУ неоднократно упоминавшегося уже в предыдущих очерках «Академического дела». По очеркам о Д. Н. Егорове и В. И. Пичете можно судить, как власти травили ученых во время подготовки этой возмутительной акции. Г. А. Ильинский неоднократно информирует коллегу из Софии о фактах травли властями своих коллег. Он с горечью отмечает, что в Академию наук на выборах 1928 г. не был избран известный специалист в области славянской филологии А. И. Томсон, что за попытку обратить внимание общественности на трагическое положение науки в Советской России травле подвергся историк античности академик С. А. Жебелев. В том же письме Ильинский указывает на неприглядную роль в травле ученых бывшего секретаря Славянского благотворительного общества В. Н. Кораблева, принадлежавшего до Октября 1917 г. к крайне правым⁴⁸.

В других письмах в иносказательной форме сообщается об аресте византиниста В. Н. Бенешевича, который «любуется сейчас северными сияниями», и о вынужденном отказе от руководства Институтом языкознания в Минске ученика Попруженко П. А. Бузука (впоследствии он тоже был репрессирован)⁴⁹.

Во многих письмах Ильинский намекает на затруднения переписки с заграницей, возникающие ввиду действий советской цензуры. Он часто сообщает, что до него или совсем не доходят письма Попруженко, или что они приходят с большим опозданием, что ему из разных источников становится известно о пропаже своих адресованных Попруженко писем.

Однако цензурные запреты каким-то образом все же преодолевались. Об этом свидетельствует упомянутое уже выше письмо от 23 июня 1926 г. Заклучая его, Г. А. Ильинский сетует на неполучение от Попруженко нескольких писем и просит узнать у редактора журнала «Славянский глас» С. Бобчева, получил ли тот его статьи для этого болгарского журнала. Беспокойство московского ученого было не случайным. Среди посланных Ильинским в Болгарию статей имелся полный текст его работы «Что такое славянская филология?», опубликованной в 1923 г. в «Ученых записках Саратовского университета», о содержании и искажении которой советской цензурой читателю уже известно из первых двух очерков.

Приведенные выше высказывания Ильинского в письме от 23 июня свидетельствуют о том, что ученый мечтал о свободе научного творчества, и в этом контексте вполне понятно его стремление порвать путы идеологического контроля путем посылки за границу не искореженной цензурой статьи. Статья благополучно дошла до Болгарии и появилась в 1926 г. на страницах «Славянского гласа»⁵⁰. В редакционном примечании были преданы огласке неблагоприятные действия советских цензоров. Там отмечалось, что «интересную и высоконаучную статью известного русского слависта» редакция журнала рассматривает в качестве ее второго издания, поскольку напечатанный в Саратове текст был обнародован «с сокращениями со стороны цензуры, у нас она дается с восстановлением этих сокращений».

К сожалению, малотиражный журнал Славянского общества Болгарии, рассчитанный на болгарских ревнителей «славянской идеи», а не на ученых, им остался неизвестен, и в научный оборот вошел «саратовский» вариант статьи. Именно его знают и широко цитируют историки славистики, наиболее же исправный бесцензурный вариант остался невостребованным. Цензурные купюры удалось опубликовать только в 1992 г. в журнале «Славяноведение»⁵¹, между тем статья Ильинского представляет значительный интерес и заслуживает повторного опубликования (она воспроизводится в Приложении по варианту «Славянского гласа»).

Подавляющее большинство писем Г. А. Ильинского к М. Г. Попруженко содержат важные сведения для характеристики научного сотрудничества двух ученых. Прежде всего, в них затрагиваются вопросы издания трудов Ильинского в Болгарии. Попруженко не только содействовал продвижению книг и статей своего московского коллеги в болгарскую печать, но и постоянно оказывал ему помощь в подготовке к изданию представленных рукописей. Он также регулярно посылал Ильинскому не только свои работы, но и другие болгарские научные издания. В ответ из Москвы приходили письма с благодарностями и просьбы о присылке корректур.

Г. А. Ильинский благодарил за хлопоты, связанные с подготовкой и продвижением в печать издававшегося в Софии памятника XI в. — «Златоструя» из собрания А. Ф. Бычкова⁵².

Готовя в конце 1920 — начале 1930-х годов публикацию древнейшего сборника канонического права — Номоканона Иоанна Схоластика, он выражал коллеге благодарность за поддержку в вопросе о публикации этого памятника в Болгарии и до марта 1933 г. регулярно сообщал о ходе

своей работы (она не была завершена). По инициативе М. Г. Попруженко Ильинский стал сотрудничать в журнале «Български преглед». В письмах Ильинского сообщается о посылке для журнала статей, высказываются замечания об его содержании и оформлении, звучит тревога за судьбу издания в связи с задержкой его выхода.

С февраля 1932 г. в письмах Ильинского начинают появляться сведения о работе над «Опытом систематической кирилло-мефодиевской библиографии». Об этом своем труде московский славист впервые упоминает в письме к М. Г. Попруженко от 27 марта 1932 г., когда библиография, с которой Ильинский, по его словам, возился свыше десяти лет, была вчера уже готова⁵³.

Сначала Ильинский предполагал опубликовать «Опыт» в Чехословакии, однако директор Славянского института в Праге М. Мурко вернул рукопись, посланную в Институт, в связи с отсутствием финансовых возможностей для ее напечатания.

М. Г. Попруженко в очередной раз пришел на помощь Г. А. Ильинскому. 23 сентября 1933 г. Ильинский сообщил Попруженко, что хотел обратиться с «личным ходатайством» об издании библиографии к президенту Болгарской академии наук Л. Милетичу, но «был почти уверен», что из этого ничего не выйдет. «Горячо Вас благодарю за Вашу готовность помочь устроить мою работу “Опыт кирилло-мефодиевской библиографии” в одном из изданий Болгарской академии наук или Македонского института», — писал он далее⁵⁴.

Спустя месяц в Москве уже был получен положительный ответ и от Попруженко, и от Милетича, а с 22 октября 1933 г. Г. А. Ильинский начал частями посылать рукопись «Опыта» в Софию⁵⁵. 5 ноября в Болгарию была послана последняя часть рукописи⁵⁶, а 1 декабря Ильинский извещал, что получил два письма М. Г. Попруженко, «содержавшие радостное известие о благосклонном приеме Болг[арской] академией моего “Опыта...” Я нисколько не сомневаюсь, что дело не кончилось бы так скоро, если бы Вы, милый и дорогой Михаил Георгиевич, не приняли в моей работе такого теплого участия. Но я с ужасом думаю, сколько новых забот и хлопот упало на Ваши и без того обремененные и больные плечи в связи с возложенным на Вас редактированием моего “Опыта...” и наблюдением за его печатанием!» — писал Ильинский. Далее он предлагал, чтобы Попруженко оставил себе «значительную часть гонорара [...]» за «усовершенствования», сделанные им в работе. Он благодарил за «многочисленные исправления в самом тексте и за Ваши новые библиографические

“Nachträge”», заявлял о желании посвятить книгу ее редактору и называл М. Г. Попруженко «духовным отцом» своего библиографического труда⁵⁷.

Неумеренные похвалы и всяческое подчеркивание самоотверженности Попруженко характерны для всех писем Ильинского. Может быть, именно они способствовали тому, что набор и печатание «Опыта» шли исключительно быстрыми темпами. 28 декабря 1933 г. Г. А. Ильинский сообщил М. Г. Попруженко об отправке ему «дня четыре тому назад» второй корректуры первого листа библиографии (первую корректуру читал Попруженко)⁵⁸; 3 января 1934 г. он отправил в Болгарию корректуру второго листа⁵⁹; в письме, датированном 11 января, Ильинский благодарит за «новые усовершенствования», сделанные Попруженко в его работе, и пишет о «странном отсутствии в Москве» выпущенного Болгарской академией наук сборника в честь Л. Милетича, которым «уже давно восторгаются ленинградские слависты»⁶⁰.

Посланной Г. А. Ильинским 3 января корректуры Попруженко не получил⁶¹, а письмо Ильинского от 11 января оказалось последним: в тот же день⁶² он был арестован по так называемому «Делу славистов», о котором было уже было рассказано в других очерках. 13 января 1934 г. к М. Г. Попруженко обратилась с письмом супруга московского слависта Александра Яковлевна. Возвращая корректуру третьего листа «Опыта», полученного ею накануне, она писала, что «Григория Андреевича сейчас нет дома, и когда он вернется, — не знаю. Уходя, Григорий Андреевич просил меня написать Вам, что он умоляет Вас вести и последнюю корректуру листов Кирилло-мефодиевской библиографии, дабы не приостанавливать печатание книги. Когда он будет снова дома, на свободе, он Вас известит [...]»⁶³.

Г. А. Ильинский домой не вернулся: он был осужден на десять лет лагерей. В 1937 г., когда наказание ученому уже смягчили и он жил в Томске, где работал библиотекарем в краеведческом музее, он вновь подвергся аресту и по внесудебному приговору «тройки» областного управления НКВД его расстреляли 14 декабря 1937 г.⁶⁴

Попруженко принял в судьбе Г. А. Ильинского живейшее участие. В письме В. А. Францеву от 6 февраля он сообщил о решении Болгарской академии наук принять к печати «Опыт» Ильинского, процитировал письмо А. Я. Ильинской от 13 января и правильно оценил содержащийся в нем прозрачный намек. «Вы, Владимир Андреевич, конечно, видите, что случилось с моим бедным другом: он арестован... Что будет дальше с ним? Я совершенно до крайности подавлен этим событием. Что делать?

Как помочь? Не придумаете ли Вы, к кому обратиться с просьбой [...]. Я просил Милетича написать Державину... Если можете, — помогите, дорогой Владимир Андреевич! Ужасно тяжело!» — с отчаянием писал Попруженко⁶⁵.

По просьбе Попруженко президент Болгарской академии наук Л. Милетич действительно обратился к Н. С. Державину, которого болгары, видимо, считали наиболее авторитетным в глазах советских властей славистом, с просьбой о помощи Ильинскому. 21 апреля Попруженко писал Францеву, что «о Григ[ории] Анд[реевиче] нет никаких известий. До боли сердечной мне жаль его. Милетич писал Державину. Но сей советский сановник не удостоил Милетича ответом по данному вопросу». Далее Попруженко писал, что вместе со своим коллегой, академиком Болгарской академии наук С. Романским дорабатывает «Опыт». Он отмечал, что в рукописи Ильинского «очень много справок нужно делать и изменений»⁶⁶. 19 мая Попруженко вновь писал Францеву об Ильинском. Он сообщал, что имеет «точные сведения, что вместе с Гр[игорием] Анд[реевичем] посажен и А. М. Селищев» и недоумевал, почему в СССР организован «поход на славистов»⁶⁷.

В 1934 г. книга Г. А. Ильинского вышла в свет, но М. Г. Попруженко и после этого пришлось заниматься делами, связанными с «Опытом». Благодаря его усилиям 26 февраля 1935 г. супруге Ильинского был послан авторский гонорар за книгу (помета об этом рукой Попруженко имеется на письме А. Я. Ильинской к М. Г. Попруженко от 26 января 1935 г.)⁶⁸. «Бедный Ильинский томится в заключении, — писал в связи с этим Попруженко Францеву, а жена его голодает... С великим трудом Академия переслала через чешское посольство его гонорар за кирилло-мефодиевскую библиографию, но не знаем, дошли ли деньги. Писать ей я не решаюсь»⁶⁹.

Помогая коллеге, оставшемуся в России, М. Г. Попруженко, в свою очередь, получал от него ценную информацию и помощь в работе над изданиями памятников и исследованиями. Уже в первом из дошедших до нас писем Г. А. Ильинский, интересовался ходом работы Попруженко над новым изданием книги «Козма Пресвитер» и очерком истории Болгарии, а также предлагал ему свое содействие. Подобные мотивы повторяются в большинстве писем: Ильинский постоянно пишет коллеге о своем знакомстве с его новыми статьями, сообщает о подготовке рецензии на его книгу о «Синодике царя Борила»⁷⁰, высоко оценивает «грандиозную

пирамиду» в виде составленного им тома «Документы по болгарской истории»⁷¹.

В тех случаях, когда Ильинскому были известны отклики на работы Попруженко в печати или высказывания советских ученых о его творчестве, он обязательно сообщал об этом в Софию. При переиздании «Синодика царя Борила» Попруженко, например, имел основания опасаться отрицательного отзыва П. А. Лаврова, негативно оценившего первое издание книги⁷². В письме от 18 августа 1929 г. Ильинский поспешил успокоить коллегу, сообщив, что П. А. Лавров просил ему кланяться и передать — он готовит «краткий и доброжелательный отзыв»⁷³.

Через многие письма Г. А. Ильинского проходит тема работы Попруженко над текстами «Беседы» Козмы Пресвитера. В письме от 5 ноября 1926 г. Григорий Андреевич благодарил его за «ценный подарок» (очевидно, в виде книг) и предлагал «отслужить» путем снятия копий с отсутствующих в Софии списков «Беседы»⁷⁴. 11 декабря 1927 г. он сообщал, что «рад был бы» быть полезным Михаилу Георгиевичу «всякими справками и другими услугами»⁷⁵.

Подобные предложения Г. А. Ильинский повторял неоднократно, и Попруженко ими активно пользовался. Для выполнения заданий из Софии Ильинскому пришлось приложить значительные усилия. Он выяснял местонахождение интересовавших Попруженко рукописных собраний и отдельных рукописей, изменившееся после революции в России, делал выписки из разных текстов, хранящихся в московских архивах и библиотеках, даже ездил с этой целью в Сергиев Посад, добился присылки в Москву нескольких рукописей из иногородних хранилищ.

С середины 1929 г. в письмах Г. А. Ильинского сначала чуть заметно, а затем все более отчетливо звучат нотки беспокойства в связи с задержкой окончания работы Попруженко над «Козьмой Пресвитером». В письме от 16 ноября Ильинский уже вполне отчетливо выражает сожаление, что «Козьма упорно не хочет окончательно восстать из гроба»⁷⁶, а в письме от 20 декабря 1930 г. удивляется «медлительности в обработке монографии о Козьме». «Я уверен, — писал Ильинский, — что даже в том фазисе, в каком находится Ваша работа в данный момент, она представляет громадный интерес для славистики. И очевидно, что только Ваша исключительная добросовестность не позволяет Вам сдать в печать Вашу книгу, чреватую столькими откровениями в области древнейшей славянской письменности»⁷⁷.

Видимо, кроме добросовестности, ученому из Софии мешали и другие обстоятельства, в том числе финансовые⁷⁸. В результате высказанное осенью 1932 г. М. Г. Попруженко намерение отправить книгу в печать в ближайшее время вновь не было осуществлено. Г. А. Ильинский так и не смог ознакомиться с трудом Попруженко — он, как было сказано выше, вышел в свет лишь в 1936 г., а в это время Ильинский уже находился в сибирской ссылке. Естественно, что довольно частые в его письмах высказывания об огромной ценности работы Попруженко по исследованию и изданию «Беседы» Козмы Пресвитера являются лишь эмоциональным выражением уверенности московского слависта в творческих возможностях софийского ученого.

Взаимоотношения Г. А. Ильинского и М. Г. Попруженко в 1920—1930-е годы — яркий пример конкретного научного сотрудничества двух ученых в условиях вынужденной разобщенности. Если переписка А. Л. Бема и В. И. Срезневского, о которой рассказано в предыдущем очерке, интересна как попытка преодоления искусственно созданных барьеров на пути личного общения и свидетельствует о тесных человеческих контактах, то в письмах Г. А. Ильинского наиболее отчетливо прослеживается практическое сотрудничество отечественных славяноведов, оказавшихся в эмиграции и продолжавших работу на родине. Г. А. Ильинский остался в России, М. Г. Попруженко оказался в Болгарии. Первого угнетали реалии советской действительности, второй тосковал по покинутой им Одессе, по работе в России, по оставшимся там друзьям и коллегам. Письма Ильинского показывают, каким образом характерная для большевиков политика идеологизации науки, их постоянное стремление ограничить научные исследования рамками чисто прикладных задач губили науку вообще и славяноведение в частности, какой чувствительный удар был нанесен славяноведению репрессиями советских властей в отношении славистов. Однако два коллеги, вынужденные преодолевать те же искусственно созданные барьеры, что и Бем со Срезневским, сумели наладить практическое сотрудничество, принесшее плодотворные результаты. Они, несмотря на огромные трудности, поставленные на их пути советским режимом, достойно пронесли через свою жизнь звание русских ученых.

В заключение отметим, что М. Г. Попруженко не только завершил, но и продолжил труд Г. А. Ильинского по библиографированию кирилло-мефодияны. В 1942 г. в Софии была опубликована «Кирилло-мефодиевская библиография за 1944—1940 годы», составленная Попруженко в со-

трудничестве с академиком С. Романским. Она произвела хорошее впечатление и вызвала благожелательные отклики за пределами Болгарии⁷⁹.

Сотрудничество двух славистов, вынужденных осуществлять научное общение через естественные и искусственно созданные границы, принесло хорошие плоды.

Примечания

¹ Арх. БАН. Ф. 61 к. Д. 158. Л.2.

² См.: *Митряев А. И.* Попруженко // Славяноведение в дореволюционной России: Библиограф. словарь. М., 1979. С. 279.

³ См.: *Аксенова Е. П., Горяинов А. Н.* Русская научная эмиграция 1920—1930-х годов: По переписке М. Г. Попруженко и А. В. Флоровского // Славяноведение. 1999. № 4. С. 3—4.

⁴ Българско-руски научни вързки. XIX—XX век: Документи / Съст. Л. Костадинова, В. Флорова, Б. Димитрова. София, 1968. С. 253.

⁵ Арх. БАН. Ф. 61 к. Д. 1. Л. 4—4 об.

⁶ *Митряев А. И.* Указ. соч. С. 278.

⁷ См.: *Попруженко М. Г.* Из материалов для истории одесских просветительных учреждений: Публичная библиотека // Зап. Имп. Одесского общества истории и древностей. 1896. Т. 19; *Он же.* К истории археологических разысканий и открытий в Южной России // Там же. 1907. Т. 28 и др.

⁸ См.: Записки Имп. Одесского общества истории и древностей. 1913. Т. 31. С. 1, 108 (паг. 2-я).

⁹ *Попруженко М. Г.* Басни Крылова как педагогический материал // Новороссийский телеграф. 1894. 9. XI; *Он же.* К. Д. Ушинский и его учебные книги // Одесский листок. 1900. 19—20. XII.

¹⁰ Арх. БАН. Ф. 61 к. Д. 168. Л. 1; Доклад за избор на проф[есор] М. Г. Попруженко за действителен член на Българската академия на науките // Българо-руски научни вързки... С. 254.

¹¹ *Попруженко М. Г.* Синодик царя Борила. Одесса, 1899. [Вып. 1—2.] — [Вып. 1]. Текст XV, 82 с. [Вып. 2]. Исследование. 4, XVIII, 176, 56 с.

¹² Арх. БАН. Ф. 61 к. Д. 1. Л. 4—4 об.

¹³ *Попруженко М. Г.* Писма из България // България. София, 1920. 14. VII.

¹⁴ БАН. Ф. 61 к. Д. 1. Л. 4—4 об.

¹⁵ Проф. Д-р М. Попруженко // Славянски вести. София, 1939. 1. I.

¹⁶ *Попруженко М. Г.* В. Е. Априлов: (по случаю 100-летия со дня его рождения) // Одесский вестник. 1889. 21. VI.

¹⁷ *Попруженко М. Г.* О деятельности Сербской Академии наук // Одесский вестник. 1889. 26. IV. Без подп.

- ¹⁸ Попруженко М. Г. О культурном единстве славян // Одесский вестник. 1889. 11.V. Без подп.
- ¹⁹ Попруженко М. Г. Школа и жизнь в Черногории // Одесский вестник. 1889. 21.V. Подп.: М.П.
- ²⁰ Попруженко М. Г. Иосиф Добровский в новейшей характеристике В. Брацля // Филологические зап. Воронеж, 1887. Вып. 3/4. С. 1—23 (паг. 9-я).
- ²¹ Brandl V. Život Jozefa Dobrovského. Brno, 1883. II, 296, VI s.
- ²² Попруженко М. Г. Прошлое глаголицы // Филологические зап. 1891. Вып. 6. С. 1—12 (паг. 4-я).
- ²³ Archiv für slavische Philologie. Berlin, 1893. Bd. 15.N. 1. S. 137.
- ²⁴ Попруженко М. Г. Из истории литературной деятельности в Сербии XV века: «Книга царств» в собрании рукописей библиотеки Имп. Новороссийского университета. Одесса, 1894. 4, II, 185 с.
- ²⁵ Попруженко М. Г. Синодик царя Борила. София, 1928. CI, XXIX, 95 с.
- ²⁶ Попруженко М. Г. Козма Пресвитер: болгарский писатель X века. София, 1936. 299, 92 с.
- ²⁷ ЖМНП. 1902. Ч. 344. № 11. С. 1—34. 1903. Ч. 349. № 10. С. 327—346. 1906. Ч. 2. № 4. С. 337—352 (всюду — Отд. наук).
- ²⁸ Попруженко М. Г. Письма из Болгарии // Славянская заря. Париж, 1920. 19.VII. № 54.
- ²⁹ Попруженко М. Г. Стогодишнината на Пушкиновата поема «Руслан и Людмила» // Сълнце. София, 1920. Кн. 3. С. 196—203; Он же. Ф.М. Достоевски: По случай стогодишнината от рождението му // Там же. 1921. Кн. 9. С. 125—129; Он же. А. Н. Майков // Там же. 1921. Кн. 1. С. 16—29.
- ³⁰ Попруженко М. Г. Духовното завещание на Гоголя // Зов. София, 1927. Кн. 1. С. 90—92; Он же. Всеволод Гаршин // Българска мисъл. София, 1927. Кн. 2., С. 109—117; Он же. Лермонтов и неговият «Демон» // Там же. 1928. Кн. 1. С. 44—51; Он же. Великият писател на руската земя // Там же. Кн. 7/8. С. 485—492.
- ³¹ Попруженко М. Г. А. П. Чехов // Духовна култура. София, 1935. Кн. 60. С. 114—116.
- ³² Попруженко М. Г. Московски университет и негово културно значение // Българска мисъл. София, 1930. Кн. 2. С. 153—162.
- ³³ См.: Попруженко М. Г. Памяти трех русских славяноведов // Славянски календар на 1934 г. София, 1933. С. 43—48; Он же. Памяти академика А. И. Соболевского // Славянски глас. София, 1929. Кн. 4. С. 132—135; Он же. М. С. Дринов: По случай стогодишнината от рождението му // Училищен преглед. София, 1938. Кн. 1. С. 3—16; Он же. Ватрослав Ягич и българознание // Родина. София, 1939. Кн. 1. С. 134—136; Он же. В. А. Францев // Славянски вести. София, 1942. № 74. С. 8 и др.
- ³⁴ LA PNP. F. 695. V. Francev. Письмо М. Г. Попруженко В. А. Францеву от 30 апреля 1935 г.
- ³⁵ Аксенова Е. П., Горяинов А. Н. Указ. соч. С. 5.
- ³⁶ Все они кроме писем М. Н. Сперанского (Арх. БАН. Ф. 61 к. Д. 115. Л. 1—3) вошли в сборник: Българо-руски научни вързки...
- ³⁷ Българо-руски научни вързки... С. 333—334.

³⁸ Об этой книге, вышедшей в Нежине в 1916 г., и о печальной судьбе ее второго издания см.: *Журавлев В. К.* Профессор Григорий Андреевич Ильинский // Из истории отечественной филологической науки, 20—30-е годы: Тезисы докладов конференции... М., 1994. С. 30; *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 — начало 1930-х годов). М., 2004. С. 165—168.

³⁹ О его вкладе в славяноведение см.: *Журавлев В. К.* Григорий Андреевич Ильинский (1876—1937). М., 1962. 78 с.; *Булахов М. Г.* Восточнославянские языковеды: Биобиблиогр. словарь. Минск, 1977. Т. 2. С. 229—236.

⁴⁰ Българо-руски научни вързки... С. 131.

⁴¹ *Робинсон М. А.* Указ. соч. С. 207—208.

⁴² В этой связи следует признать не совсем удачной формулировку замечания М. А. Робинсона, что с начала января 1925 г. Г. А. Ильинский «начинает свою активную переписку с Попруженко» (*Робинсон М. А.* Указ. соч. С. 207). Переписку, скорее всего, начал как раз не Ильинский, а эмигрант Попруженко, письма же его корреспондента вполне могли послаться в Софию еще в первой половине 1920-х годов, но не доходить до Болгарии.

⁴³ Арх. БАН. Ф. 61 к. Д. 164. Л. 3—4.

⁴⁴ Там же. Л. 73—74.

⁴⁵ Там же. Л. 87—88.

⁴⁶ Българо-руски научни вързки... С. 131.

⁴⁷ Там же. С. 133, 142.

⁴⁸ Там же. С. 143.

⁴⁹ Там же. С. 156, 185.

⁵⁰ Славянски глас. 1926. Кн. 1/2. С. 8—18; Кн. 3. С. 15—22.

⁵¹ Подробнее см.: *Горяинов А. Н.* Из забытых «мелочей» журнала «Славянски глас» (1919—1933): 3. Бесцензурный вариант ст. Г. А. Ильинского // Славяноведение. 1992. № 4. С. 61—64.

⁵² *Ильинский Г. А.* Златоструй А. Ф. Бычкова XI века. София, 1929. 63 с. (Български старици. Кн. 10).

⁵³ Българо-руски научни вързки... С. 169.

⁵⁴ Там же. С. 184.

⁵⁵ Там же. С. 185.

⁵⁶ Там же. С. 186.

⁵⁷ Там же. С. 188—189.

⁵⁸ Там же. С. 189—190.

⁵⁹ Там же. С. 190.

⁶⁰ Там же. С. 191.

⁶¹ LA PNP. F. 695. V. Францев. Письмо М. Г. Попруженко В. А. Францеву от 6 февраля 1934 г.

⁶² Авторы книги «Дело славистов: 30-е годы» (М., 1994) Ф. Д. Ашнин и В. М. Алпатов, по всей вероятности ошибаются, когда утверждают, что Г. А. Ильинский был арестован «в ту же ночь на 13 января», что и В. С. Трубецкой (см. с. 14), датой задержания которого названо, кстати, 11 января без указания более точного времени. Аресты как В. С. Трубецкого, так и Г. А. Ильинского были произведены, скорее всего, вечером 11 января.

⁶³ Арх. БАН. Ф. 61 к. Д. 164. Л. 123—124.

⁶⁴ Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. Указ. соч. С. 198.

⁶⁵ LA PNP. F. 695. V. Francev.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Там же.

⁶⁸ Арх. БАН. Ф. 61 к. Д. 164. Л. 128.

⁶⁹ LA PNP. F. 695. V. Francev. Письмо М. Г. Попруженко В. А. Францеву от 30 апреля 1935 г.

⁷⁰ Рецензия опубликована в журн.: *Slavia*. 1928. Roč. 7. Seš. 3. S. 633—635.

⁷¹ Българо-руски научни вързки... С. 175. Ильинский имеет в виду, видимо, второй том составленного М. Г. Попруженко двухтомника «Документи по българска история» (София, 1932). Первый том этого сборника документов вышел в свет в Софии в 1930 г.

⁷² Лагров П. А. К вопросу о Синодике царя Борила // *Летопись Историко-филологического общества при Новороссийском университете*. Одесса, 1900. Т. 8. С. 35—135 (паг. 2-я).

⁷³ Българо-руски научни вързки... С. 153—154.

⁷⁴ Там же. С. 133.

⁷⁵ Там же. С. 134.

⁷⁶ Там же. С. 156.

⁷⁷ Там же. С. 166.

⁷⁸ Там же. С. 189.

⁷⁹ Подробнее см.: Аксенова Е. П., Горяинов А. Н. Указ. соч. С. 8—9.

Кремация в Праге, или Как профессор А. Л. Петров превратился в «академика»

«[...] Это был большой, сильный, грузный человек с копной густых седых волос и нависшими бровями [...]. Голос у него был рокочущий и глубокий, мысли он выражал коротко и точно [...]. Его голубые глаза могли улыбаться так, что никто ни в чем не мог ему отказать [...]. Он обладал свойством вызывать мгновенные симпатии [...]. В нем не было ничего от изысканного ученого. Он не заботился о своей внешности, видимо, не сознавая, что представляется почти видением солдата суворовских времен [...]». Так описывал чешский филолог Й. Бечка колоритную внешность российского слависта-карпатоведа, до начала 1920-х годов профессора Петроградского университета, а затем формально находившегося в научной командировке в Чехословакии советского ученого Алексея Леонидовича Петрова¹. По словам Бечки, Петров был необыкновенно скромен в быту и экономил на всем, чтобы посылать средства на жизнь оставшейся в России семье. Другой автор, эмигрантский журналист С. Варшавский, тоже подтверждал эту жертвенность Петрова. Чтобы поддерживать существование семьи (писал Варшавский), «свои потребности, он свел до самого крайнего минимума, живя почти в нищете, питаясь впроголодь и одеваясь так бедно, что на улице вызывал сострадание сердобольных прохожих»².

В 1995 г. мною в сотрудничестве с Мариной Юрьевной Досталь были опубликованы некоторые письма и документы о научной деятельности Петрова — исследователя, почти забытого современными славяноведами³.

Изложив во введении имевшиеся в нашем распоряжении довольно скудные сведения о жизни и научной деятельности Петрова⁴, мы обратили внимание на некоторые необычные для конца 1920-х и начала 1930-х годов материалы об ученом, появившиеся в советской печати в связи с его кончиной. Отметив, что нам остались неизвестными обстоятельства их появления, мы писали: «А. Л. Петров заслуживает внимания историков не только как исследователь, но и как общественно значимая лич-

ность с неясными пока связями и, в силу этого, несколько даже таинственной биографией. Представляется, что раскрытие загадок, связанных с личностью А. Л. Петрова, может оказаться чрезвычайно интересным и поучительным»⁵.

О загадках биографии ученого и раскрытии некоторых из них в результате работы автора настоящего очерка будет рассказано в ходе дальнейшего изложения. Начать же следует с повторения и уточнения сведений об А. Л. Петрове, которые содержались в нашей с М. Ю. Досталь публикации, вышедшей тиражом всего в 200 экземпляров и сейчас почти недоступной исследователям.

Алексей Леонидович Петров родился 4 (16) марта 1859 г. в Петербурге. Он был сыном магистра богословия Леонида Петровича Петрова, известного деятеля духовного просвещения и популярного автора духовной литературы⁶. На протяжении более 50 лет (с 1862 г.) отец Алексея Леонидовича преподавал Закон Божий в Шестой петербургской гимназии⁷, где Алексей и получил среднее образование⁸.

Вместе с А. Л. Петровым гимназию кончали будущие крупные российские историки И. А. Бычков и Г. В. Форстен⁹. В гимназические годы Петров увлекался математикой, но события 1875—1876 гг. на Балканском полуострове изменили его пристрастия. Окончив гимназию в 1876 г. с золотой медалью, юноша поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где специализировался по истории славянских народов. Он занимался у славистов В. И. Ламанского и И. И. Срезневского, у византиниста В. Г. Васильевского, у востоковеда И. П. Минаева. Учителя, обладавшие широким научным кругозором, привили студенту вкус к изучению славянских народов как частей единого «славянского мира». Учился Алексей Леонидович хорошо, и на последнем курсе за источниковедческую работу «Гербордова биография Оттона, епископа Бамбергского» был удостоен золотой медали. Объемное студенческое сочинение опубликовал в нескольких номерах авторитетный «Журнал Министерства народного просвещения»¹⁰, оно стало первой печатной работой молодого исследователя.

Окончив в 1880 г. университет, Петров преподавал историю в средних учебных заведениях Петербурга. В 1887 г. он начал читать лекции по славяноведению на Высших женских (Бестужевских) курсах. За некоторые годы лекционные курсы А. Л. Петрова были опубликованы¹¹. В этот период он напечатал также несколько исследований по сербской, болгар-

ской и чешской средневековой истории. Работа, в которой рассматривались источники периода правления чешского короля Пршемысла Отокара II (1253—1278)¹², была им в 1911 г. защищена в качестве магистерской диссертации.

В 1884 г. А. Л. Петров предпринял первое свое заграничное путешествие, а в следующем году впервые посетил Закарпатье (его называли тогда «Угорской Русью»), почти неизвестной историей населения которого заинтересовался еще на студенческой скамье. В 1890 г., вторично посетив Закарпатье, он начал систематически собирать материалы об этом крае.

Петров несколько раз путешествовал по Закарпатыю, работал над документами по его истории в архивах Венгрии и Словакии. По свидетельству украинского историка-слависта Д. И. Дорошенко, Алексей Леонидович «исходил Карпатскую Русь всю — вдоль и поперек, ему были знакомы в ней каждое селение, каждая церковь, каждый монастырь. Он знал прекрасно состав всех ее библиотек и архивов. Конечно, он знал всю литературу, касающуюся Подкарпатской Руси и внимательно следил за всеми ее новинками. Он изучил специально мадьярский язык, а славянские языки он знал почти все. Вообще редко кто был так подготовлен — именно к изучению Закарпатской Руси, как Алексей Леонидович»¹³.

Первые статьи о Закарпатые А. Л. Петров опубликовал в начале 1890-х годов. С 1905 г. он объединяет отгиски своих весьма разноплановых исследований и публикаций, посвященных различным вопросам истории, этнографии, языка, религии и культуры населения Закарпатья, в серию «Материалы для истории Угорской Руси». В России до 1911 г. вышло семь выпусков «Материалов...». В них ученый опубликовал целый ряд ценных исторических источников, среди которых открытая Петровым древнейшая грамота на церковнославянском языке (1404). В архивах Будапешта А. Л. Петров обнаружил неизвестный ранее рукописный «Словарь населенных мест Венгрии», относящийся к 1773 г., который лег в основу его трудов о языковых границах между карпатскими русинами и их соседями. Итоги изучения этой проблемы Петров подвел в подробном исследовании о «пределах угрорусской речи в 1773 г. по официальным данным», составившем шестой выпуск «Материалов...» (1911). За него в 1912 г. А. Л. Петров получил в Петербургском университете степень доктора. В 1911 г. он стал доцентом университета, а затем занял должность профессора кафедры славянской филологии и истории.

Первая мировая и Гражданская войны изолировали Петрова от Закарпатья, но он не оставил мыслей о продолжении карпатских исследований. Ученый не принял советский режим: в 1920-е годы в письмах к чешскому слависту Й. Поливке он писал о том, что, выехав осенью 1922 г. из России и оказавшись в Праге, «как выпущенный из тюрьмы, ничего не соображал, кроме того, что я свободен», отмечал вред, наносимый России большевиками, осуждал атмосферу в СССР, в которой «жить [...], конечно, невозможно»¹⁴.

Критически относясь к большевистским властям, ученый, тем не менее, по каким-то, не выясненным пока причинам (скорее всего, по семейным обстоятельствам), не хотел рвать с ними окончательно. Отсюда неоднозначность политической позиции Алексея Леонидовича, оцененной впоследствии эмигрантским журналистом С. Варшавским как недопустимый компромисс, обернувшийся для ученого трагическими последствиями.

А. Л. Петров, действительно, нашел компромиссный вариант: он попросился в зарубежную научную командировку, которая позволила бы продолжить исследования Закарпатья, пережить трудные для России времена и одновременно помогать оставшейся на родине семье. Просьба ученого была поддержана руководителями Академии наук и Петроградского университета академиками С. Ф. Ольденбургом и В. М. Шимкевичем, с которыми, судя по сохранившимся письмам к ним Петрова¹⁵, он был хорошо знаком; особенно значительную помощь оказал ученому академик Е. Ф. Карский¹⁶. Судя по письму на имя В. М. Шимкевича, А. Л. Петров использовал также имевшиеся у него связи с представителем Наркомпроса в Петрограде М. П. Кристи.

Как видно из упомянутого выше письма, оплатить командировку за границу из выделяемых ей средств (что было в те трудные годы совершенно необычным, ведь заграничными командировками в очереди тогда стояли академики!)¹⁷ согласилась Академия наук. Ходатайство о командировании Петрова за границу было поддержано также университетом, который обязался сохранить за профессором его оклад. Однако Наркомпрос, рассмотрев вопрос о командировании Петрова за границу, дал на нее лишь принципиальное согласие и направил дело в научный сектор с предложением «обсудить вопрос с точки зрения научного интереса данной командировки, ее неотложности, а также и с финансовой стороны». Дело затянулось, и Петров решил использовать освободившееся время для поездки в провинцию, где жилось легче, чем в голодающем

Петрограде. 21 мая 1920 г. ученому была разрешена командировка в Поволжье и на Северный Кавказ «для изучения племенного состава этих местностей на основе национального самоопределения». Наезжая иногда в Петроград, А. Л. Петров пробыл в провинции до осени 1921 г.¹⁸ В августе 1920 г. он оказался в Козьмодемьянске, городке на Волге, входившем тогда в состав Казанской губернии. Здесь ученый случайно узнал о кончине А. А. Шахматова. «Лично я ему всем обязан, — писал он в связи с горестной вестью С. Ф. Ольденбургу. — Он только и интересовался моими работами по Угорской Руси, благодаря ему я мог вынырнуть из поглотившей меня учительской среды, к нему я обращался в каждом научном и жизненном вопросе. Право, руки опускаются. С 1899 года вся моя ученая деятельность связана с ним»¹⁹.

Осенью 1920 или зимой 1920/1921 гг. А. Л. Петров посетил Самару. Академик В. Н. Перетц; в годы Гражданской войны работавший в Самарском университете, отметил его приезд в письме академику В. М. Истрину от 9 февраля 1921 г. Его удивил высокий уровень, на котором местные власти принимали Петрова. «Я, по крайней мере — совсем не чувствую по себе, чтобы звание члена Академии — вызывало в провинции уважение, — писал он. — А вот был тут в командировке Алексей Леонидович Петров, так его возили в отдельных каютах и пр[очее] — стало быть, умел внушить страх и трепет». М. А. Робинсон, процитировавший в своей книге это письмо, считает, что Петров, по всей вероятности, «обладал особым талантом в организации своих командировок»²⁰ и приводит в этой связи наше с М. Ю. Досталь соображение о возможном влиянии на положение ученого его связей с М. П. Кристи. Действительно, объяснить внимательное отношение местных властей к Петрову иначе, чем воздействием на них каких-то сведений о связях ученого в высших партийных и советских кругах, очень трудно.

В марте 1922 г. А. Л. Петрову приказом Наркомпроса была предоставлена научная командировка в Венгрию и Чехословакию сроком на восемь месяцев с сохранением содержания и выдачей субсидии в 500 золотых рублей. В конце сентября или в начале октября 1922 г. А. Л. Петров выехал за границу морским путем. 7 октября он писал С. Ф. Ольденбургу из Праги, что через четыре дня был в Штеттине, затем останавливался в Берлине, Дрездене и Будишине, где встретился с известным лужицким ученым Э. Мукой. В письме речь идет преимущественно о книгах, которые предназначены чешскими научными учреждениями для отправки в адрес Российской академии наук, и о путях их доставки в Петроград.

Вместе с тем уже в этом, самом первом своем сообщении из-за границы, А. Л. Петров ставит вопрос о продлении командировки на четыре месяца с тем, чтобы превратить ее в годичную. Поразительно, что эта часть письма дышит уверенностью в том, что соответствующее разрешение будет получено: указывая, что ему, по-видимому, «возможно будет прожить за границей [...] до октября 1923 г.», ученый просит «заблаговременно возбудить в Наркомпросе ходатайство о продлении срока командировки (с сохранением содержания) до этого срока (без субсидии)»²¹.

Забегая вперед, скажем, что командировка Петрову была продлена не только до года. Ему (что было редчайшим исключением!) удалось добиваться ее пролонгации в течение целых десяти лет. Хотя с 1 сентября 1923 г. Алексей Леонидович был «отведен от преподавания» в Петроградском университете и лишился профессорского оклада, а вместе с ним и всякой финансовой поддержки из Советской России²², советские власти в остальном почему-то всегда шли ему навстречу. С. Варшавский свидетельствовал, что Петров постоянно ходил «на поклон» в советское полпредство и добивался своего²³. Не оказала воздействия на Академию наук и Наркомпрос даже публичная критика в их адрес в ленинградской «Красной газете». В связи с предоставлением Петрову возможности длительное время жить за границей, газета опубликовала заметку, в которой в качестве примера выдачи Наркомпросом заграничных командировок «некомпетентным лицам» с неизвестной «классовой физиономией» назывался «профессор Петров»²⁴. «Теперь я нахожусь под тяжестью мысли, — писал Алексей Леонидович Поливке, — что меня скоро потребуют в СССР — понимаете, как мне легко бросить работу и ехать умирать!»²⁵ Однако опасения Петрова не сбылись: ученого в СССР возвращаться не заставляли до его кончины.

Пребывание А. Л. Петрова в Чехословакии оказалось плодотворным в научном отношении. Сознывая значение изучения источников на месте их нахождения, ученый много путешествовал. Он продолжил начатое до войны изучение «Словаря населенных мест Венгрии» и составил на его основе подробную этнографическую карту страны, опубликовал много статей и несколько монографий, в том числе 8-й и 9-й выпуски «Материалов для истории Угорской Руси» (1923—1930).

В подготовленных в Праге историографических работах ученый критически проанализировал существовавшие в литературе взгляды на историю Закарпатья в средние века, обнаружив в них много несуразного. «Вообще заниматься историографией Карпатской Руси — дело чрезвы-

чайно скучное, — жаловался Петров в 1928 г. в письме Й. Поливке. — Такой скучной и в конце концов бесполезной работой я еще никогда не занимался! Добросовестность требует, чтобы я ознакомился с прошлой литературой об истории К[арпатской] Р[уси] — а это по большей части совершенно никуда не годные вещи, совершенные глупости [...]»²⁶.

В Чехословакии написаны многие работы А. Л. Петрова о закарпатской церкви. Значительное место в них занимают история унии и распространения униатства. В 1930 г. вышла книга ученого «Древнейшие грамоты по истории карпаторусской церкви и иерархии, 1391—1498 гг.», где он подвел итоги своим многолетним исследованиям и наметил программу дальнейшего изучения Закарпатья.

Отчеты об исследованиях А. Л. Петров регулярно посылал на родину. Особенно интересен отчет ученого, датированный 23-м июня 1923 г. В нем подведены итоги первых месяцев работы Петрова. Там названы вышедшие и печатающиеся в Праге его работы, кратко рассказано об итогах поездки в Будапешт (Алексей Леонидовичзнакомился в этом городе с послевоенной венгерской научной литературой о Закарпатье и работал в архивах), о полуторамесячном путешествии по Югославии для «ознакомления с современным положением страны»²⁷.

Как видно из отчета, ученый трудился очень напряженно: в Будапеште он, например, полностью скопировал огромный (240 с. in folio) трактат словацкого историка и педагога Матьяша Беля (1684—1749) «De re rustica regni Hungariae», содержащий важные сведения о населении Словакии и Закарпатья.

Финансировали научные проекты А. Л. Петрова Чешская академия наук, Чешское королевское научное общество, другие научные учреждения Чехословакии и даже непосредственно Президент Чехословацкой республики Т. Г. Масарик. Эти структуры для поддержки ученого не останавливались перед значительными затратами, поскольку научное исследование вошедшего в 1919 г. в состав Чехословакии Закарпатья считалось одним из важнейших государственно-политических приоритетов.

По свидетельству С. Варшавского, А. Л. Петрову была предложена профессорская кафедра; он, однако, отказался от нее, поскольку, как считает Варшавский, «это означало бы разрыв с советской властью»²⁸.

До конца своих дней ученый оставался советским гражданином. Он (как и некоторые другие русские в Чехословакии, сохранявшие советское гражданство, например П. Г. Богатырев²⁹) вел себя в отношении СССР, по мнению Варшавского, лояльно, и мало общался с представителями

русской эмиграции. Петров посещал советское посольство, присутствовал на всех официальных советских празднествах. Многие современники отмечали, что он всячески сторонился политики и не любил высказываться по этому поводу. Такая позиция, видимо, объясняется тем, что Алексей Леонидович, во-первых, не хотел своими публичными высказываниями обострять отношений с советскими властями и, во-вторых, разочаровался как в эмигрантской, так и в оставшейся в России интеллигенции. Гораздо откровеннее был А. Л. Петров в частных письмах Й. Поливке. Он писал в одном из этих писем, что отечественная интеллигенция *«совершенно не способна к восстановлению России, совершенно не способна поправить тот вред, который нанесли и наносят бывшей России ее нынешние господа»*. Будучи религиозным человеком (это отмечает в своей статье С. Варшавский³⁰), Петров видел наибольшую опасность для родины в преследовании советскими властями религии. Другой, не менее грозной опасностью он считал уступку *«будущей Украине — будущему вассалу Германии или Англии — берегов Черного моря»*. *«Тяжело человеку, верившему в величие своего народа и государства, примириться с его исчезновением, тяжело сознавать себя малым и униженным, тяжело чувствовать у иностранцев или просто презрение, или презрительное сожаление к “несчастливым русским” [...] русская интеллигенция и малодушная династия ухитрились разрушить тысячелетнее великое государство!»* — горько сетовал ученый³¹.

Политический пессимизм Петрова сочетался и, видимо, подпитывался в последние годы жизни ученого одолевавшими его болезнями (по свидетельству его друга из Закарпатья о. Иринаея Кондратовича, Алексей Леонидович страдал болезнью сердца, осложненной астмой³²), смертью вдалеке от него жены³³, а также неудовлетворенностью своей научной деятельностью. *«К чему же наша жизнь, к чему мои занятия Карп[атской] Русью? Это ведь только самообман, искусственное создание цели жизни!»* — изливал свои пессимистические настроения ученый Поливке³⁴. Жалуясь коллеге на недомогания, А. Л. Петров с тоской сознавал, что быстро постарел, очень устал и что скоро придется *«все бросить, всякую науку и ехать домой умирать — звери перед смертью уходят в свои берлоги»*³⁵.

Тем не менее Алексей Леонидович, преодолевая болезни, трудился до конца жизни. И. О. Панас писал в некрологе об ученом, что *«еще осенью 1931 г. он отправился в Сербию на поиски так называемого Евангелия О. М. Бодянского, и ему удалось его найти, хотя Петров уже не смог написать известие об этом открытии [...]»*³⁶.

В конце 1931 г. ученый оказался в больнице Российского Красного Креста. Его посещал там А. Л. Бем, о котором уже было подробно рассказано в одном из предыдущих очерков. В письме от 7 января 1932 г. Бем извещал своего оставшегося в России друга В. И. Срезневского: «5-го скончался А. Л. Петров. Я был у него в больнице за неделю до смерти. Он говорил с трудом и сказал, что не надеется выжить. Ему, видно, и жилось трудно (не материально, а душевно), и умирал он одиноким и заброшенным»³⁷.

Сообщение Бема слишком кратко. Подробнее описывает последние дни ученого С. Варшавский: по его словам, А. Л. Петров «вел одинокую, замкнутую, тяжелую жизнь [...]. Но вот подкралась болезнь, и старик свалился. Русский молодой ученый, один из немногих его знакомых в эмиграции позаботился, чтобы его свезли в краснокрестную больницу. Болезнь развивалась быстро, и старик почувствовал приближение конца [...]. Через самое короткое время Петров скончался. Тут же его молодой друг позаботился об организации похорон. Тело умершего перевезли в крипту, что под Успенским собором на кладбище и оставили здесь до погребения, которое было назначено на 9 января». Варшавский подчеркивает, что напоследок Петров проявил «нелояльность» к советским властям: как глубоко верующий человек, часто посещавший церковь и много молившийся, он перед смертью позвал к себе русского эмигранта-епископа³⁸. В другой своей статье о кончине Петрова журналист делает несколько уточнений. Не называя фамилии ученого, заботившегося о больном перед его смертью, он сообщает, что это был «один русский приват-доцент», пишет, что к А. Л. Петрову пришел для совершения обрядов настоятель созданного русскими эмигрантами Успенского православного храма епископ Сергей, указывает, что тело покойного было помещено в крипту на Ольшанском кладбище³⁹.

Казалось бы, на этом можно поставить точку: жизнь закончена, тело ученого лежит в ожидании погребения...

Но именно здесь и возникают главные вопросы. Выше уже был отмечен ряд фактов, свидетельствующих о необычном поведении советских властей в отношении А. Л. Петрова. Признаемся, что объяснить их мы пока не в состоянии. Но странности продолжились и во время предсмертной болезни Алексея Леонидовича, и даже после его кончины. Возникает, в частности, вопрос, кто был тот «русский молодой ученый», тот «приват-доцент», который заботился о Петрове в последние дни его жизни и почему Варшавский не называет его фамилию?

Ключ к раскрытию фамилии дает, по моему мнению, процитированное выше письмо А. Л. Бема, его относительно молодой возраст (46 лет) и его положение в мире русской эмиграции. Как уже отмечено выше, Петров имел мало знакомых среди эмигрантов. Бем же был, конечно, с Петровым знаком, иначе он не посещал бы его в больнице. В то же время Бем, хотя и не был «приват-доцентом», преподавал в Карловом университете. Наконец, именно Бем посетил А. Л. Петрова «за неделю до смерти». Это наводит на мысль, что именно Бем и заботился об А. Л. Петрове в последние дни его жизни. Фамилию же его журналист С. Варшавский скорее всего не раскрыл потому, что в связи с погребением покойного советского гражданина возникла скандальная ситуация.

О скандале при прощании с ученым придется рассказать подробнее, ибо именно он объясняет появление в советской печати тех материалов, которые были напечатаны в СССР после смерти Петрова. И эта история, действительно, чрезвычайно поучительна, поскольку ярко характеризует отношение советских руководящих органов и функционеров к советским гражданам вообще и к представителям советской науки в частности.

Выше мы отметили, что, по сообщению С. Варшавского, тело скончавшегося А. Л. Петрова было перевезено в крипту на Ольшанском кладбище, и похороны были назначены на 9 января. Далее журналист пишет, что неожиданно «случилось нечто, совершенно непредвиденное, тягостное и омерзительное». Узнав (по мнению Варшавского, «из некрологов чешской прессы»), какое значение «придается ученым трудам покойного», советские представители в Чехословакии неожиданно заявили чешским властям, что берут на себя погребение советского гражданина Петрова и что советская миссия «настаивает на устранении всех посторонних». Поскольку Петров не оставил на случай смерти никаких распоряжений, это требование было удовлетворено⁴⁰. Академические круги Русского Зарубежья и представители православного духовенства, уже готовые похоронить покойного профессора по православному обряду, вынуждены были отступить. Тут и разразился скандал: несмотря на то что похороны Петрова осуществлялись на средства чехословацкого Славянского института⁴¹, «тело умершего, доброго верующего христианина, было увезено из церкви и препровождено в крематориум, где и подверглось сожжению, без всякого церковного обряда!» «Но «они», — пишет далее Варшавский, — сделали нечто худшее: они постарались оклеветать его. Советский полпред Аросев произнес у гроба речь, где пытался доказать, что умерший был «советским» ученым, проникшимся коммунистиче-

скими идеями [...]»⁴². Таким образом, советское полпредство извратило взгляды А. Л. Петрова и политизировало прощание с ним, превратив панихиду в пропагандистскую акцию.

Отголоски происшедшего мы с М. Ю. Досталь и обнаружили в советской печати. 11 января 1932 г. на первой странице газеты «Известия» появилось следующее официальное сообщение ТАСС под названием «Похороны академика Петрова»: «Прага, 9 января (ТАСС). Сегодня состоялись похороны члена Академии наук СССР Петрова, умершего в Праге 5 января. От имени СССР с надгробной речью выступил полпред СССР тов[арищ] Аросев, подчеркнувший, что Петров был одним из тех ученых, которые помогали строить советскую культуру. После этого выступили представители Пражской колонии советских студентов, ректор Пражского университета, представители Славянского института и многих культурных организаций Закарпатской Украины. Все они отметили научную деятельность Петрова, особенно в области истории Закарпатской Украины». Сообщение «Известий» с исправлением допущенных там фактических ошибок и перечнем некоторых трудов А. Л. Петрова было воспроизведено впоследствии в первом томе «Трудов» ленинградского Института славяноведения⁴³.

В сообщении «Известий» просматривается желание представить покойного как крупнейшую фигуру, пользовавшуюся уважением властей СССР и советской общественности. Недаром Петров возведен в ней в ранг академика, а далее перечислены выступления представителей самых уважаемых научных учреждений Чехословакии и населения Закарпатья. Видимо для того, чтобы подчеркнуть «просветительскую» деятельность А. Л. Петрова, среди выступавших названы «представители пражской колонии советских студентов». В предыдущей публикации мы с М. Ю. Досталь недоумевали, каким образом могло иметь место такое выступление, поскольку «в межвоенное двадцатилетие ни обмен студентами с зарубежными странами, ни стажировки студентов из СССР в зарубежных вузах не практиковались». Мы предположили, что в тексте сообщения неточно изложены или искажены факты: либо речь идет о представителях эмигрантского студенчества, либо о небольшой группе детей сотрудников советского полпредства, «которые, однако, вряд ли могли проявить какой-либо интерес к личности Петрова»⁴⁴.

Наши предположения подтвердились: от имени советских студентов выступило не несколько студентов, а всего один, причем, как пишет Варшавский, человек, совершенно неизвестный собравшимся. «Этот выпол-

нил «социальный заказ» совсем плохо: он забыл, как звали покойного, и не сообразил, что нельзя было благодарить «моего учителя», раз все присутствовавшие знали, что покойный никак не мог быть его учителем, ибо давно уже оставил преподавательскую деятельность», — отметил журналист⁴⁵.

Правдивой в сообщении «Известий» оказалась, таким образом, только информация об участии в похоронах представителей чехословацкой общественности. Это подтверждается и эмигрантской печатью, и чешскими некрологами об ученом. Й. Бечка, например, отмечает, что на панихиде по Петрову присутствовали представители Карлова университета Й. Пекарж и Й. Матейка, председатель Славянского института Л. Нидерле, известный пражский лингвист М. Вейнгарт⁴⁶. С. Варшавский пишет, что о покойном «горячо и задушевно» говорили представители Закарпатья — от студенческих организаций Ковач, от учительских организаций Антоловский, сенатор Цурканович. Из речей чешских ученых он отмечает траурные речи ректора Пражского университета, историка Й. Пекаржа и лингвиста М. Вейнгарта. Последний, по словам Варшавского, намекнул на лживость выступления А. Я. Аросева, указав на то, что покойный «вынужден был» продолжать свою работу вне родины. «Чехословацкие правительственные круги» были представлены, по словам журналиста, «очень многими лицами», в том числе управляющим канцелярией Президента республики, представителями министерств иностранных дел и народного просвещения, присутствовали также многие представители чешской профессуры. Из русских, отмечает Варшавский, было «только несколько человек, лично знавших покойного, и представители печати». Варшавский сообщает также, что на гроб А. Л. Петрова были возложены венки от Правительства СССР (с надписью «От Правительства СССР советскому ученому, профессору Петрову Алексею Леонидовичу, оставшемуся верным до конца пролетарскому государству»), от сотрудников советских учреждений в Праге (с надписью «Ученому сотруднику строительства социализма [...]»), от чешских и закарпатских просветительных учреждений. Был также венок с надписью «Дорогому папе», заказанный по телеграфу детьми покойного⁴⁷.

В обстановке панихиды по ученому невозможно было возражать на речь советского дипломата, извращавшего взгляды покойного, хорошо известные присутствовавшим. Отповедь Аросеву была дана на собрании памяти А. Л. Петрова 11 марта 1932 г. в Чешско-русском обществе («Чешско-русской Едноте»). С воспоминаниями о Петрове на собрании выступ-

пили известный чешский писатель и фольклорист Людвик Куба, который был знаком с Петровым с 1885 г., и профессор, исследователь истории Закарпатья Ю. Яворский. Последний говорил, в частности, о религиозности покойного и подчеркнул, что Петров был монархистом. В отчете о заседании «Чешско-русской Едноты» сообщалось также, что, вопреки высказыванию Аросева в траурной речи о высокой оценке большевистским руководством деятельности Петрова, по сведениям «чешских академических кругов», праху покойного, отправленному в Советскую Россию, не было устроено никакой торжественной встречи. «Одному близкому к покойному лицу урну с его пеплом, упакованную в ящик, пришлось везти с вокзала в ручных салазках», — отмечалось в отчете⁴⁸.

В настоящем очерке поставлено много вопросов, и только на некоторые из них найдены были ответы. Поставим в заключение еще один вопрос: удалась ли пропагандистская акция, предпринятая в связи с кончиной Петрова? Журналист С. Варшавский отвечает на этот вопрос отрицательно: он свидетельствует, что всем, присутствовавшим на прощании с ученым 9 января в здании пражского крематория, «внутренняя лживость, надуманность советской версии была слишком ясна». «Может быть там, в красной Москве, — писал С. Варшавский, — эта проделка Аросева и встретит одобрение, но здесь, в Праге, она произвела самое отвратительное впечатление. Аросев не учел того, что и чехи, и русские, пришедшие отдать последний долг покойному, знали, при каких условиях он жил и умер [...]»⁴⁹.

Москва, конечно, рассчитывала на другую реакцию в Чехословакии в связи с проводами в последний путь русского ученого. Кремация и выступление А. Я. Аросева, которые должны были хоть как-то связать А. Л. Петрова с советской идеологической доктриной, не только не дали ожидавшегося эффекта, но и имели противоположный результат. Показательно, что в некрологах о Петрове в чешских научных изданиях, где сообщалось о присутствии на панихиде ученых и государственных деятелей Чехословакии, о скандальном выступлении советского полпреда не говорится ни слова.

«История А. Л. Петрова» была рассчитана на зарубежную общественность. Советским же людям разъяснять на примере этого «полуэмигранта» необходимость преданности СССР и господствовавшей в нем идеологии было даже нежелательно: ведь, в отличие от подавляющего большинства советских граждан, советскому профессору была дана возможность жить за рубежом продолжительное время и изучать вопросы церковной исто-

рии, которые в Советском государстве были под запретом. В результате сообщение ТАСС в «Известиях» оказалось, по существу, единственным откликом в советской прессе на кончину Петрова, а спустя месяц после событий в Праге советские власти потеряли к нему всякий интерес. «Близкое к покойнику лицо» (скорее всего, сын покойного), взвалило ящик с прахом скончавшегося на салазки и по заснеженному Ленинграду повезло его, чтобы предать прах земле...

Так трагически закончилась история жизни и смерти видного русского ученого.

Научная деятельность отечественного ученого-слависта Алексея Леонидовича Петрова состояла преимущественно в собирании, обнародовании, разъяснении и критической оценке источников. Работы Петрова отличаются сочетанием объективности и критичности, свидетельствуют о превосходном знакомстве с изучаемым краем, о тесных личных контактах с закарпатскими деятелями, демонстрируют его огромную эрудицию. По авторитетному мнению И. В. Ягича, высказанному еще в 1913 г., работы столь трагически закончившего свой путь русского исследователя останутся «историческим фоном для всех дальнейших филолого-исторических и этнографических карпато-русских штудий»⁵⁰.

Примечания

¹ *Veška J.* Za A. L. Petrovem // *Naše kniha*. Praha, 1932. Č. 6/7. S. 91.

² *Варшавский С.* Трагедия компромисса: к кончине проф. А. Л. Петрова // *Россия и славянство*. Париж, 1932. 16. I. № 164.

³ *Горяинов А. Н., Досталь М. Ю.* А. Л. Петров и его научные славистические поездки 1920-х годов: из писем и документов русских и чешских архивов // *Переписка славистов как исторический источник: Сб. научн. ст.* Тверь, 1995. С. 94—119.

⁴ О Петрове писали, главным образом, хорошо знавшие его ученые, работавшие в Чехословакии. См.: *Яворский Ю. А.* Из истории научного исследования Закарпатской Руси. Прага, 1928. С. 6—18; *Он же.* Последний труд А. Л. Петрова // *Живая мысль*. Прага, 1932. № 1. С. 2—4; *Дорошенко Д. И.* Памяти проф. А. Л. Петрова // Там же. № 1. С. 4—6. № 2/3. С. 2—5; *Veška J.* Op. cit. Č. 6/7. N. 91—92; *Hartl A.* Aleksej Leonidovič Petrov // *Slovanský přehled*. Praha, 1932. № 1. S. 62; *Panas I.* Profesor A. L. Petrov (1859—1932) // *Časopis Národního musea*. Praha, 1932. Sv. 3/4. S. 375—377; *Z. H.* [A. L. Petrov] // *Český časopis historický*. Praha, 1932. Zesz. 1. S. 203—204; [*Panas I.*] Prof. A. L. Petrov // *Ročenka Slovanského ústavu*. Praha, 1935. Sv. 5/8. S. 250—252. Биографические сведения об А. Л. Петрове, взятые из этих работ и включенные ранее в нашу совместную с М. Ю. Досталь статью, даются без ссылок на источники.

⁵ *Горяинов А. Н., Досталь М. Ю.* Указ. соч. С. 101.

⁶О нем подробнее см.: *Родосский А.* Биографический словарь студентов первых XXVIII-ми курсов С.-Петербургской духовной академии, 1814—1869 гг. СПб., 1907. С. 355—356. Ю. А. Яворский в указанной выше книге и, вслед за ним, автор статьи об А. Л. Петрове в биобиблиографическом словаре «Славяноведение в дореволюционной России» (М., 1979, с. 263) С. О. Вялова неточны, называя Л. П. Петрова профессором богословия.

⁷См.: *Петров Л. П.* Двадцатипятилетие Шестой С.-Петербургской гимназии: Записки, сост. к 17-му апреля 1887 года Законоучителем Гимназии Протоиереем Л. Петровым. СПб., 1887. 47 с.; *Буткевич К. Ф., Николаев Л. П.* Историческая записка, изданная ко дню пятидесятилетия С.-Петербургской Шестой гимназии (1862—17/IV—1912)... СПб., 1912. Подпись под фотографией Л. П. Петрова после с. 56.

⁸*Буткевич К. Ф., Николаев Л. П.* Указ. соч. С. 117.

⁹*Петров Л. П.* Двадцатипятилетие Шестой С.-Петербургской гимназии... С. 39.

¹⁰ЖМНП. СПб., 1882. Ч. 222. № 8. С. 243—286; Ч. 223. № 9. С. 41—89; Ч. 224. № 11. С. 45—104; № 12. С. 243—273. 1883; Ч. 225. № 2. С. 361—383; Ч. 226. № 4. С. 181—215; Ч. 227. № 6. С. 205—239 (всюду Отд. наук).

¹¹См.: История славянских народов: Лекции [...] 1891/1892 гг. СПб., 1892; Лекции по славяноведению, читанные [...] в 1892/1893. II—IV курс. СПб., [1893]; Лекции по славяноведению, 1893—1894. III курс [...] СПб., 1894; Лекции по славяноведению, читанные на Высших женских курсах [...], 1896—1897. I курс. СПб., 1897 и др.

¹²*Петров А. Л.* Генриха Итальянца сборники форм писем из канцелярии Отокара II Премысла. СПб., 1906—1907. Отд. 1—2.

¹³*Дорошенко Д. И.* Памяти проф. А. Л. Петрова // Живая мысль. 1932. № 2/3. С. 2.

¹⁴*Горяинов А. Н., Досталь М. Ю.* А. Л. Указ. соч. С. 110, 112, 113.

¹⁵Там же. С. 102—105.

¹⁶Там же. С. 97.

¹⁷Непременный секретарь РАН С. Ф. Ольденбург писал, например, 11 февраля 1924 г. академику Н. А. Котляревскому, отправившемуся в 1922 г. в научную командировку в Болгарию и просившему спустя полтора года об ее продлении: «Вы видите, что отсрочка дана. Но Вы, дорогой мой, как будто не чувствуете одного: каждый академик, остающийся долгие сроки, лишает других возможности поехать в командировку [...]. Отсрочка позволит Вам вернуться с теплом [...]» (РО ИРЛИ. Ф. 135. Д. 70. Л. 8).

¹⁸*Горяинов А. Н., Досталь М. Ю.* Указ. соч. С. 97.

¹⁹Там же. С. 103.

²⁰*Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 — начало 1930-х годов). М., 2004. С. 198.

²¹*Горяинов А. Н., Досталь М. Ю.* Указ. соч. С. 104.

²²Там же. С. 100.

²³*Варшавский С.* Указ. соч.

- ²⁴ Смотри Наркомпроса рабочими бригадами // Красная газета. 1929. 13.I.
- ²⁵ Горяинов А. Н., Досталь М. Ю. Указ. соч. С. 113.
- ²⁶ Там же. С. 110.
- ²⁷ Там же. С. 105—107.
- ²⁸ Варшавский С. Указ. соч.
- ²⁹ См.: Досталь М. Ю. П. Г. Богатырев в Чехословакии в 1920—1930-е годы // Славяноведение. 1998. № 4. С. 31—42.
- ³⁰ С. Варшавский писал в упомянутой выше статье: «Только в одном он был “нелоялен” (к советским властям. — А. Г.): он ходил в церковь, ходил часто и подолгу простаивал в далеком темном углу [...]».
- ³¹ Горяинов А. Н., Досталь М. Ю. А. Л. Петров и его научные славистические поездки... С. 110.
- ³² Кондратович И. М. Воспоминания об А. Л. Петрове // Карпатский свет. Ужгород, 1932. № 1. С. 1250—1253.
- ³³ См.: Россия и славянство. Париж, 1932. 19.VII. № 173.
- ³⁴ Горяинов А. Н., Досталь М. Ю. Указ. соч. С. 110.
- ³⁵ Там же. С. 109.
- ³⁶ [Panas I.] Prof. A. L. Petrov // Ročenka Slovanského ústavu... S. 252.
- ³⁷ Бем А. Л. Срезневский В. И. Переписка. 1911—1996. Брно, 2005. С. 116.
- ³⁸ Варшавский С. Указ. соч.
- ³⁹ Варшавский С. Кончина профессора А. Л. Петрова: надругательство большевиков над телом ученого // Возрождение. Париж, 1932. 15.I. № 2418.
- ⁴⁰ Варшавский С. Трагедия компромисса...
- ⁴¹ См.: Россия и славянство. Париж, 1932. 19.VII. № 173.
- ⁴² Варшавский С. Трагедия компромисса...
- ⁴³ Труды Института славяноведения. Л., 1932. Т. 1. С. 423—424.
- ⁴⁴ Горяинов А. Н., Досталь М. Ю. Указ. соч. С. 119.
- ⁴⁵ Варшавский С. Трагедия компромисса...
- ⁴⁶ Ве́йка J. Op. cit. S. 92.
- ⁴⁷ Варшавский С. Трагедия компромисса...
- ⁴⁸ Собрание памяти профессора А. Л. Петрова в Чешско-русской Едноте // Россия и славянство. Париж, 1932. 19.VII. № 173. Подп.: Д.
- ⁴⁹ Варшавский С. Трагедия компромисса...
- ⁵⁰ Archiv für slavische Philologie. Wien, 1913. Bd. 24. S. 278—279.

Несколько заключительных замечаний

Пестрота тематики вошедших в книгу исследований, их разноплановость и различная хронологическая протяженность требуют ответа на вопрос, существует ли нечто такое, что позволяет считать предлагаемый труд не просто сборником статей, а чем-то более или менее единым? Есть ли, другими словами, у собранных под одной обложкой разнородных, на первый взгляд, сюжетов проходящие через них «сквозные» темы, определяющие очерковый жанр книги? Положительный ответ на этот вопрос для автора, очевиден.

Прежде всего, необходимо отметить, что через все очерки проходит тема трагедии отечественного славяноведения. Трагедия обвала привычных условий существования ученых, их трудного приспособления к новым общественным отношениям и новым идеологическим требованиям. Трагедия русской научной эмиграции, оторванной от духовной атмосферы родины и источников для научного творчества. Наконец, трагедия непонимания, нетерпимости, нежелания считаться с нормами «буржуазной морали» новых властных структур и отдельных их представителей, трагедия репрессий в отношении славяноведов и забвения их вклада в науку.

Во-вторых, все очерки, вошедшие в книгу, содержат материал о том, как слависты в сложившихся трагических обстоятельствах выполняли свою повседневную работу — изучали славянство и славянские страны, публиковали по мере своих скудных возможностей славистические работы, готовили себе смену, как они настойчиво пытались доказывать необходимость развития отечественного славяноведения.

В-третьих, почти через все очерки в той или иной форме проходит тема связей отечественной и русской эмигрантской славистики.

Наконец, самое главное во всех предлагаемых очерках — утверждение того, что ни всяческие материальные и организационные трудности, ни идеологические препоны, ни общий неблагоприятный климат не смогли «отменить» славяноведение как отрасль научного знания и научного творчества. Пренебрежение к славяноведению, а затем его активное не-

приятие советской элитой, распыление в результате трудных условий существования научных сил и отход ряда специалистов от занятий славяноведением, уход славистов в эмиграцию, радикальное сокращение обмена результатами научного творчества с зарубежными коллегами сузили и деформировали славистический научный поток, бурно стремившийся вперед в предреволюционные годы. Но, отрицая научную значимость славяноведения и превращая его в политический фетиш, власти тем самым заставляли славистов обращаться к нетрадиционным для славистики темам. Последнее же привело к расширению тематических границ славистических исследований и развитию таких направлений научного творчества ученых, как изучение культурного развития славянских народов, строительства независимых славянских государств, современного состояния славяноведения в зарубежных странах и т. д.

«Да! Все говорит, что мы находимся накануне нового, небывалого расцвета славянских изучений», писал в 1923 г. Г. А. Ильинский. Состояние «накануне» длилось десятилетия, но оно все же закончилось. Возродившись через долгие годы забвения, славяноведение после Второй мировой войны превратилось в науку, объединяющую в своем составе целый комплекс научных дисциплин, среди которых были и те, что впервые начали признавать составной частью славяноведения слависты 1920—1930-х годов. И в этом заслуга не только ученых, вступивших на поприще славистики после 1945 г., но и тех специалистов довоенных лет, которые пытались сохранить славяноведение как научную дисциплину и в труднейших условиях готовили первых специалистов нового поколения, пришедших им на смену.

Приложения

Г. Ильинский, проф[ессор] славянской филологии
Саратовского университета

Что такое славянская филология?¹

I

Научная дисциплина, на которую я хотел бы обратить внимание читателей в настоящей статье, уже давно справедливо гордится своим славным прошлым и как предмет преподавания в высшей школе, и как одно из важнейших звеньев в системе гуманитарных знаний вообще. С небольшим через десять лет (в 1935 г.) исполнится ровно сто лет, как славянская филология была введена в учебную программу русских университетов в качестве равноправного члена в цикле других историко-филологических наук; но еще старше она — как самостоятельная область человеческого знания. Время ее зарождения и окончательной кристаллизации ее задач и методов падает на конец XVIII в., когда на литературную арену выступил гениальный чешский аббат Добровский, который в течение почти пятидесяти лет неустанного труда не только успел основательно вычистить авгиевы конюшни баснословных сказаний и некритического разглагольствования в области славянского прошлого, но и необыкновенно искусной рукой заложил прочный фундамент для постройки важнейших дисциплин славяноведения, в том числе и славянской филологии.

Но несмотря на то что над сооружением здания славянской филологии непрерывно трудится не менее пяти или шести поколений ученых, нельзя сказать, чтобы вопрос: «Что такое славянская филология?» не возбуждал никаких недоумений в сознании даже наиболее выдающихся представителей нашей науки. Совсем напротив: именно по этому вопросу в научной литературе существует необыкновенное разнообразие мнений, и нельзя назвать, кажется, и двух славистов, которые были бы солидарны в определении объема и содержания своей специальности.

На первый взгляд, можно было бы подумать, что причина такого странного разногласия по самому кардинальному вопросу славистики лежит в ее недостаточной полной и широкой разработке. Но думать так было бы глубоким заблуждением. Ведь не следует забывать, что в совершенно таком же положении, как славянская филология, находится [и]² ее старшая

сестра — классическая филология. Кто теперь решится сказать, чтобы эта дисциплина и в настоящее время представляла девственную почву? И однако же, что мы видим? О том, что такое классическая филология, каковы ее предмет, каковы ее задачи и методы, были исписаны в течение не менее пяти веков десятки томов и сотни статей, и, все-таки, современная наука так же далека от окончательного решения этих проблем, как и во времена основателя новейшей школы классической филологии, автора гениальных «*Prolegomena ad Homerum*» (1795) Фридриха Августа Вольфа³.

Если, таким образом, не только такая сравнительно юная дисциплина, как славянская филология, но и такая древняя старушка, как филология классическая, до сих пор не пришла к своему окончательному самопознанию, то ясное дело, что причина невозможности для ученых столкнуться по вопросу о сущности своей науки лежит не в них самих, а в предмете их изучения, точнее в имени, которое его определяет — именно в слове филология⁴. Буквально греч[еское] *philologia* обозначает «любовь к слову», «любословие», но так как греч[еское] *logos* может означать не только «слово» в смысле лат[инского] *verbum*, но еще чаще «литературное произведение», «творческая духовная деятельность» и даже «разум» вообще, то каждый автор по произволу мог то до крайности сужать значение слова «филология», то до бесконечности расширять. Вот почему и в определениях понятия «филология» царит такая субъективность и путаница.

Но мы не должны этим смущаться. Самое плохое определение предмета и задач известной науки предпочтительней работы вразброд и ошущью. Ведь еще Вольф справедливо заметил, что «никакое рвение не вознаграждается, если кто работает в каком-нибудь уголке большой нивы, не зная, чем занимаются работающие вокруг него в других местах». Но единство и согласованность в работе не достижимы, если она не производится по общеобязательному плану. Как зодчий не построит самой плохой хижины без заранее составленного чертежа, так и храм (безразлично какой: славянский ли, или романо-германский, [или]⁵ классический, или какой другой) филологии не может быть воздвигнут, если предварительно, по крайней мере, в общих чертах, не будут выяснены: 1) материал филологии, 2) ее объем, 3) основная точка исследования, 4) метод, 5) место среди других родственных дисциплин, 6) задачи и 7) значение для науки и жизни.

Нисколько не претендуя на окончательное решение проблемы, я и осмеливаюсь предложить читателям свои посильные соображения относительно всех поставленных вопросов.

Прежде всего попробуем выяснить материал славянского филологического исследования. Ведь известно, что именно в этом пункте расходятся мнения ученых по интересующему нас вопросу: в то время, как одни ученые склонны чрезмерно расширять объем нашей науки, другие, наоборот, впадают в противоположную крайность, суживая сферу славянской филологии границами одного славянского языкознания.

В первые десятилетия существования [науки]⁶ славянской филологии господствовал первый взгляд. И это было вполне естественно, пока и современная ей филология классическая понималась передовыми ее представителями, вроде уже упомянутого нами Вольфа, а также Аста, Бернгарди, Маттеи и даже Бека — столь же широко, т. е. как энциклопедия наук о греко-римской древности. Но первых славистов, как русских (Востокова, Григоровича, Бодянского, Прейса и Срезневского), так и инославянских (Добровского, Копитара, Шафарика), толкала к такому пониманию предмета уже сама жизнь: в то время, когда они действовали на научной арене, наука о славянах находилась, собственно говоря, еще в зародыше и, кроме того, почти лишена была общих пособий. Вследствие этого пионеры славистики не могли и думать ни о какой специализации, но должны были уже с первых шагов превращаться в каких-то всеобъемлющих «гелертеров» или энциклопедистов, вращающихся в одно и то же время и в области языкознания, и в сфере этнографии и археологии, и в царстве искусства, и в поле литературной истории⁷, и даже на ниве истории политической и т. д. Таким образом, практика как бы освятила теорию, что славянская филология есть не что иное, как синоним славяноведения вообще.

Но если такое мнение было простительно в первой половине XIX в., когда наша наука находилась еще в пеленках, то в настоящее время, когда славистика распалась на длинный ряд дисциплин, из которых каждая имеет свои специальные задачи и огромную литературу, отождествление славянской филологии со славяноведением вообще теряет всякий теоретический и практический смысл. Практический — потому, что ни один даже самый гениальный ученый не в состоянии овладеть всем колоссальным запасом знаний, накопленным вышеупомянутыми дисциплинами; теоретический же — потому, что материал некоторых дисциплин слишком разнороден и управляется слишком различными законами, чтобы его можно было свести под одну, так сказать, крышу. *Что общего, например, между социологическими законами и психофизическими условиями развития языка? Или между явлениями закономерности в истории ис-*

куства и такими же явлениями в области этнографии? Но где нет единства законов, там не может быть и единства методов. А без единого метода не может быть и единой науки!

Итак, пора раз навсегда расстаться с иллюзией, что славянская филология и славяноведение суть одно и то же. Но не менее необходимо расстаться с другим столь же ошибочным мнением, будто славянская филология есть лишь другое название славянского языковедения.

Хотя такого взгляда держатся такие видные слависты, как Будилович⁸ и Грот⁹, мы должны решительно протестовать против него по следующим соображениям.

Что задачи славянского языкознания не совпадают с проблемами языкознания вообще, и что его материал не только количественно, но и качественно отличается от строго лингвистического видно из того, что славянский языковед принужден обращать внимание на проблемы, которые изучать языковед-сравнитель не имеет ни времени, ни возможности. Такие, напр[имер], вопросы, как первоначальные этнические передвижения славянских племен, роль различных культурных влияний в распространении заимствованных слов, *практические*¹⁰ условия образования литературного языка, отношение его к народному, влияние на него языка школ и т. д. и т. д. — все это такие вопросы, которые требуют для своего разрешения капитальных знаний совсем другого характера, чем те, которыми обычно располагает языковед чистой воды. В частности, мою мысль, что содержание филологии вообще не совпадает с языковедением, подтверждает следующее соображение. Известно, что историк римского права нуждается в филологии для познания источников при помощи критики и объяснения. Если бы филология была тождественна с языкознанием, то, казалось бы, что достаточно ему было бы изучить историческую грамматику латинского языка, чтобы раз навсегда покончить счеты с «филологией». Но на практике, без услуг филолога он и в этом случае не обойдется, так как интерпретация памятников римского права невозможна без знакомства с древне-латинской палеографией, историей римской литературы, римскими древностями и другими дисциплинами, знание которых не всегда достижимо для юриста, но всегда обязательно для филолога.

Итак, только по недоразумению можно смешивать филологию с языковедением. Но если первая не может быть ни энциклопедией всех наук, относящихся к известной национальности, ни лингвистикой в узком смысле слова, то что же такое она представляет на самом деле?

Если мы обратимся за советом по этому вопросу к тому ученому, который в течение своей полувековой работы наиболее¹¹ сделал для процветания славянской филологии, к тому, кто стоял около 40 лет во главе лучшего периодического органа по славяноведению, — если мы обратимся к ныне, — *увы!* уже покойному акад[емику] Ягичу, то встретим в его монументальном труде «История славянской филологии» [СПб., 1910] определение науки, которое... поразит нас своей неточностью, неясностью и вообще ненаучностью. Именно первую главу своего вышеупомянутого труда он начинает такими словами:

«Славянская филология в обширном значении этого слова обнимает совокупную духовную жизнь славянских народов, как она отражается в их языке и письменных памятниках, в произведениях литературных то отдельных личностей, то общей силы простонародного творчества, наконец, в верованиях, преданиях и обычаях. Таким образом, она включает в круг своих занятий: во-первых, научные рассуждения о языках славянских, подвергая разбору как памятники языка, так и все диалектические особенности живых говоров, не обходя молчанием и языков литературных со всеми иногда довольно сложными условиями их происхождения и развития; во-вторых, историю славянских литератур, вдаваясь в объяснение целых эпох и оценку отдельных произведений, доискиваясь источников или зависимости от чужого влияния; в-третьих, историю бытовой, изображающую особенности народной жизни во всех ее изгибах. В этом объеме славянская филология представляет сложный организм различных предметов, сплоченных в одно целое» (История слав[янской] филолог[ии, с.] 1).

Как видит читатель, предложенное знаменитым славистом определение славянской филологии представляет как бы компромисс между обоими уже рассмотренными противоположными мнениями о нашей науке. С одной стороны, оно исключает из объема славянской филологии *область* искусства, политической и культурной истории славян и их правовых норм и отношений, а с другой стороны, соединяет с языкознанием историю культуры и этнографию, поскольку последняя изучает духовную жизнь славянских народов. Таким образом Ягич и приходит к вышеприведенному выводу, что славянская филология представляет «сложный организм различных предметов, сплоченных в одно целое». Но, по нашему мнению, — только по недоразумению. В самом деле, если действительно в центре изучения нашей науки должна находиться духовная деятельность славян, то остается непонятным, почему в сферу ведения славянских

филологов не входит и история искусства; в его творениях дух народа отражается не менее ярко, чем в бытовой истории, которую Ягич считает необходимым ингредиентом интересующей нас науки. Но не одно искусство может заявить свои права на свой уголок в храме славянской филологии, если только понимать ее в смысле Ягича. Ведь духовное творчество славянского племени проявлялось и проявляется не только в быте, но и в церковной, правовой и политической жизни и потому исключать их из области славянской филологии с точки зрения самого Ягича было бы, по меньшей мере, непоследовательно. Кроме этого произвола в проведении границ славянской филологии, Ягичево определение грешит еще тем, что не объясняет, чем славянская филология отличается от истории славянской культуры: ведь известно, что все указанное Нестором славянской культуры ее содержание уже с давних пор целиком входит и в область изучения культурной истории, — что совершенно естественно, так как что такое сама культура, как не плод собирательской деятельности народа? Итак, Ягичево определение славянской филологии не выдерживает критики; оно скорее даже запутывает, чем разъясняет вопрос, изображая славянскую филологию как агрегат наук, произвольно и механически сцепленных в одно целое. Но еще Гегель справедливо заметил, что если филология «действительно есть такое чисто внешнее сочетание нескольких дисциплин, то она есть все, что угодно, но не наука!..»

Только одно маленькое зерно истины мы видим в определении Ягича — это там, где он говорит, что в центре изучения славянской филологии лежит духовная деятельность славян. И я не сомневаюсь в том, но полагаю, что филолога она может интересовать не безотносительно, а лишь постольку, поскольку она выявляется в слове и его произведениях. Но так как всякое духовное творчество в сфере конкретного материала есть явление прежде всего культуры, то отсюда следует, что филология не есть какая-то вполне самостоятельная дисциплина, но как и классическая, романо-германская, еврейская и всякая другая, — лишь часть культурной истории вообще. Она относится ко всеобщей истории культуры, в частности, к духовной как часть к целому, или как национальное к общечеловеческому.

А если так, то я могу предложить следующее определение науки славянской филологии:

Славянская филология есть культурно-историческая дисциплина, изучающая духовную деятельность славянства, поскольку она проявляется в слове (resp. в языке) и его произведениях.

Быть может, не все согласятся с таким определением нашей науки. Но я надеюсь, что оно, по крайней мере, нисколько не противоречит традиционному значению и употреблению слова «филология». Как мы указывали уже, греч[еское] имя philologia (которое, кстати сказать, употребляется в мировой литературе уже более 12 столетий) есть сложное слово, состоящее из двух основ: philo — «любить» и «logo» — слово. Следовательно, буквально филология обозначает «любословие», как действительно и перевел это слово еще Епифаний Славинецкий. Но греч[еский] logos не есть то же, что glossa. Последнее выражает чувственный, звуковой элемент для выражения духовного содержания, а первое обозначает известную идею, понятие или вообще признак в его самом тесном и неразрывном соединении со звуковой оболочкой. Это слияние обеих элементов так же нераздельно, как слияние духа и тела в нашем организме¹². Но подобное же органическое слияние отдельных стихий предполагает и предложенное нами определение филологии как науки о духовной деятельности народа в ее словесных формах.

Итак, мы решили нашу первую задачу, — выяснили материал, служащий предметом изучения славянской филологии. Его составляют: 1) все славянские языки во всех их эпохах и состояниях и 2) все произведения, когда-либо и где-либо написанные на этих языках.

А зная, какие факты служат материалом для славянской филологии, мы можем теперь легко определить и объем нашей науки. Очевидно, в ее состав входят две главные дисциплины: 1) славянское языкознание и 2) славянские литературы. Если первая наука изучает эволюцию славянского народного духа на формах отдельных слов и их сочетаний, то вторая исследует духовную жизнь славянских народов, поскольку она отразилась в творческих комбинациях словесных форм. Другими словами, это значит, что славянское языкознание интересуется, главным образом, бессознательным словесным творчеством народа или народов, а история литературы — сознательным.

Но эти незначительные нюансы в способе освещения материала у обеих наук ни в малейшей степени не противоречат их принципиальному внутреннему единству. После гениальных исследований Поттебни, нельзя сомневаться, что разница между отдельным словом (объектом лингвиста) и литературным произведением (предметом исследования историка литературы) есть разница скорее количественная, чем качественная: и то и другое суть не что иное, как символы известных идей, то сознательно, то бессознательно возникающих в индивидуальной и кол-

лективной психике. Это теоретическое единство обоих словесных явлений, — я сознательно подчеркиваю явлений, а не произведений, — подтверждается и тем выводом современного языковедения, что отдельные слова, собственно говоря, никогда не составляли самостоятельных атомов, — они появились как результат весьма длительного процесса разложения и расчленения целых синтаксических предложений и фраз. А если *это* так, то в эволюции словесного творчества, вопреки популярному мнению, не слово составляет *gruis*, а фраза. Но объем некоторых литературных произведений, как, например, многих пословиц и поговорок и не превышает фразы! Поэтому тысячу раз был прав Потемня, утверждая, что «история литературы должна все более сближаться с историей языка, без которой она так же ненаучна, как физиология без химии» («Мысль и язык», 182)¹³.

Эти соображения доказывают, что помещение славянского языкознания и славянского литературоведения, так сказать, под один кров славянской филологии не включает в себе ничего искусственного, механического, случайного, но основано на генетическом единстве объектов изучения обеих дисциплин. С высшей точки зрения и языковедение и литературоведение, при всем кажущемся различии их бесконечно богатого и разнообразного содержания, представляют, в сущности, не две науки, а одну науку, — *именно науку о словесном творчестве*.

Если это так, то делается теперь понятным, почему и славянское языкознание, и славянское литературоведение нуждаются в услугах одних и тех же «вспомогательных дисциплин»: и лингвист, и историк литературы должны быть знакомы с результатами сравнительного и общего языковедения, как науки, оперирующей наиболее совершенными и точными методами; и тот и другой должны быть осведомлены с главными фактами славянской этнографии как науки, дающей единственную возможность разобраться в национальной дифференциации славянского материала; ни тому, ни другому не обойтись без помощи науки славянских древностей и археологии, бросающих яркий свет на первобытные этические и культурные отношения славян; еще более необходима для обеих категорий славистов палеография, как наука, изучающая материал и технику славянских писанных памятников. Наконец, не может быть исключена из числа вспомогательных дисциплин и культурная, экономическая и политическая история, составляющая *sine qua non* правильного уразумения социального фона изучаемых словесных произведений.

Впрочем, глубокую внутреннюю связь обоих главных отделов славянской филологии — языковедения и литературоведения можно доказать не одним только принципиальным тождеством их фактического содержания, и не одним только единством исходной точки его освещения. На то, что оба они составляют единый цельный организм, — на это указывает также и совпадение методов обеих наук.

В самом деле, в чем заключается филологическое изучение языка? Конечно, в основе его лежат грамматические штудии, но это штудирование носит здесь совсем другой характер, чем в области сравнительного или общего языковедения. Языковед-сравнитель, исследуя фонетический, морфологический и синтаксический строй известного языка, интересуется, главным образом, такими фактами, которые бросают свет на общий ход дифференциации индоевропейского языка и постепенной эволюции его говоров; явления же, совсем не имеющие аналогий и параллелей в других родственных языках, обычно оставляются им без внимания, хотя бы сами по себе они и имели первостепенное значение для понимания структуры языка. Поэтому материалом для сравнительного языковедения служат преимущественно факты, восходящие к древнейшим эпохам развития языков, явления же позднейших периодов, если не принципиально, то фактически выходят за пределы орбиты его внимания. Кому не известно, напр[имер], то огромное значение, которое имеет в истории русского языка «аканье»? И, однако же, мы напрасно стали бы искать каких-нибудь сведений о нем в курсе сравнительного языковедения — по той простой причине, что оно возникло уже на глазах истории, не ранее XIV века, когда не только русский язык, но и другие славянские языки¹⁴ выделились из праязыка в качестве самостоятельных особей. Поэтому для объяснения эволюции индоевропейского языка оно ничего не может дать. Гораздо более широкий кругозор имеет общее языковедение: для него важны и интересны факты языка всех эпох, времен и народов, но лишь постольку, поскольку они помогают установить общие законы развития языка, независимо от его национальной среды. Напротив, для филолога глубокое и всестороннее знакомство с этой средой составляет одно из самых важных и необходимых условий успешности его работы. Ведь его задача состоит не в том, чтобы открыть тот или иной закон в жизни языка вообще, а в том, чтобы на основании изучения писанных памятников и данных современной и исторической диалектологии нарисовать картину постепенной эволюции языка из ничтожного эмбриона праязычного говора до величественных высот литературного языка.

Но эта задача может быть достигнута лишь тогда, когда исследование всего этого сложного материала будет учитывать не только факты языка, но и этнические передвижения, происходившие на территории народа — носителя данного языка, и хозяйственный быт данного народа, и всевозможные культурные влияния, которым он подвергался со стороны других наций, и роль некоторых технических изобретений, как открытие книгопечатания, и даже такие чисто политические факторы, как, напр[имер], рост или возвышение одного города или государства за счет другого, — факторы, имеющие такое важное значение в истории образования литературных языков. Чем шире, последовательнее, систематичнее филолог будет пользоваться такими историко-культурными данными, тем скорее и ближе он подойдет к идеалу своего исследования — к воссозданию прошлых судеб языка не только как языка, но и как живого архива его носителя народа, сложившего в него «цветы своих чувств и пряжу своих мыслей». Но главным источником для научных построений филологии остаются, все-таки, писанные памятники. И это понятно, так как нигде так точно и прочно не фиксируется известный момент жизни языка, как именно в разных надписях, записях, рукописях, книгах и т. д. Поэтому не напрасно тщательное палеографическое описание памятников языка, их критическое издание и исчерпывающее статистическое исследование их грамматических особенностей считается не только почетной привилегией, но и обязанностью филологов.

Но от такого изучения памятников языка только один маленький шаг к изучению литературному. Я скажу даже больше: филологическое изучение невольно и незаметно переливается в историко-литературное. В этом легко убедиться на следующем примере. Предположим, что мы читаем Первоначальную летопись. Тогда, говоря словами Модестова (сказанными им, впрочем, по другому поводу и относительно других произведений), «уже при самом элементарном ученическом чтении с первых шагов делается очевидным, что для понимания множества мест в этом произведении недостаточно одного грамматического знания, а требуются на каждом шагу то исторические, то географические, то топографические, то метеорологические, то юридические, то палеографические и т. д. справки. Но когда дело коснется не ученического чтения по готовому тексту, а чтения ученого, тогда является много других вопросов капитальной важности: требуется прочное установление подлинности древнего текста, а это ведет к исследованию истории данного текста не только в печатных изданиях, но и в рукописях вплоть до древнейшей из сохранившихся.

Как только дело коснется рукописей, то сейчас же является запрос на палеографические знания; но и умения читать рукописи и определять принадлежность их к тому или иному столетию недостаточно; требуется вооружиться всеми средствами критики, требуется глубокое знакомство с особенностями языка и стиля читаемого писателя и твердое знание эпохи, в которую жил писатель, не только со стороны литературной, обуславливавшей разные особенности в духе, материи и стремлении писателя, невозможные в другую литературную эпоху. Таким образом, очевидно, что стоит затронуть какой-либо частный вопрос из области науки, как тотчас же поднимается запрос на самые разнообразные сведения и в результате всего — сознание, что наука нераздельна¹⁵.

Да! И языкознание, и литературоведение составляют одну науку не только по содержанию, — в том смысле, как это указано выше, — но и в методологическом отношении. Обе дисциплины, в сущности, оперируют одним методом — историко-сравнительным, причем под «историко» [я]¹⁶ имею в виду не только хронологическую последовательность памятников, в порядке которых изучается история языка и литературы, но, главным образом, связь изучаемых явлений с фактами культурной и политической истории вообще. А такой метод обнимает собой не только все приемы т[ак] н[азываемой] высшей и низшей критики, но и все способы исследования самых сложных и гениальных произведений литературного творчества.

II

Познакомившись с содержанием, объемом и методом филологии вообще и славянской в частности, нам не трудно теперь будет определить место ее в ряду других гуманитарных дисциплин.

Прежде всего ясно, что филология, как одна из многих культурно-исторических дисциплин не может считаться наукой, вполне равноправной с культурной историей — она есть только одна небольшая ее часть. Поэтому я совершенно согласен с проф[ессором] Зелинским, когда он утверждает, что «когда история развилась до нынешней глубины и серьезности и превратилась из политической в общекультурную, тогда она по необходимости материально совпала с правильно понимаемой филологией»¹⁷. Но тем решительней, с другой стороны, я должен возражать против другого положения нашего знаменитого ученого, именно, что «филология — это обращенная к памятникам история, а история — это обращенная к общим законам развития сторона историко-филологической

науки» и что «история и филология не две различные науки, а два различных аспекта одной и той же области знания».

Но, на наш взгляд, считать филологию и историю как бы флигелями («крыльями») какого-то третьего, никогда еще невиданного здания — историко-филологической науки является совершенно излишним делом, особенно, после того как мы доказали, что материал филологии — слово и его произведения, — есть одно из многих явлений человеческой культуры вообще. Если между филологией и историей в узком смысле слова и есть разница, то она заключается не в том, в чем хочет ее видеть проф[ессор] Зелинский, а в том, что филология изучает деятельность человеческого духа в словесных формах, а история исследует ту же деятельность *par excellence* — в ее общественно-политических. Сообразно с этим, и славянская филология относится к славянской истории как словесная и, в частности, литературная форма славянской культуры — к социальной и политической.

Еще легче определить взаимное отношение филологии вообще и славянской в частности к сравнительному языкознанию. Хоть материал обеих дисциплин до известной степени одинаков, но изучается он с разных точек зрения: в то время как сравнительное языкознание рассматривает славянские языки исключительно под углом зрения их родства с другими индоевропейскими языками, славянская филология видит в них одно из важнейших проявлений славянской духовной культуры. Различие основных точек зрения предопределяет и различие методов: в первой безусловно доминирует сравнительный метод, а во второй — исторический.

Наконец, что касается до отношения славянской филологии и истории всеобщей литературы, то о нем почти не приходится распространяться, так как эта наука сама представляет собой лишь часть культурной истории человечества или, говоря точнее, часть всеобщей филологии. Только в этом смысле историю славянской литературы можно считать отдельной ветвью всеобщей литературы.

Чтобы вполне исчерпать понятие славянской филологии, нам необходимо сказать еще несколько слов относительно задач и значения этой науки.

Что касается задач, то перечислить их здесь нет никакой возможности: их так много, как звезд на небе. И в этом нет ничего удивительного для того, кто помнит, что славянская филология изучает не менее 7 славянских языков и не менее 7 славянских литератур. Каждая из этих 14 научных систем, не считая их многочисленных вспомогательных дисцип-

лин, имеет множество своих частных задач, количество которых обратно пропорционально их разработанности — чем менее обследована известная область, тем более, понятно, возникает у ее возделывателя и всяких запросов и сомнений...

Давать посильные ответы на них и имеют своими задачами частные славянские филологии: болгарская, сербско-хорватская, словенская, чехословацкая и т. д. Каждая из них представляет как бы независимую державу, ведущую, так сказать, свое научное хозяйство и управляемую своими законами, но изнутри все они органически связаны между собой единством происхождения своего материала и тождеством своих методов. Но исследуя проявления духовной жизни известного славянского народа в его слове, филология ни на минуту не должна забывать, что *эта жизнь есть только один из многих лучей славянского племенного духа и что поэтому ее выводы неизбежно будут страдать роковой односторонностью*, если она в своих разысканиях не будет постоянно и систематически сравнивать и сопоставлять явления духовной жизни одного славянского народа с однородными явлениями такой же жизни других. Такой постулат диктуется очевидным духовным единством славянского племени, — единством, на которое указывает, между прочим, чрезвычайная близость всех славянских наречий как в их лексическом составе, так и в фонетическом и морфологическом строении. Но еще Будилович справедливо заметил, что «если все славянские наречия имеют один общий тип, то из этого несомненно следует, что и все народности славянские представляют одно целое как в физическом отношении (что выражается в тождестве звуков), так и в умственном (что видно из единства форм и построения языка). В самом деле, известные результаты предполагают свои известные причины: ход образования слов и предложений в языке должен соответствовать образованию понятий и представлений в душе, а логика языка должна отражать логику народа. Таким образом, положение о духовном единстве славян коренится на твердых началах науки о языке, как органе народной мысли и духа»¹⁸.

Лингвисты это положение уже давно осознали, и вот почему в настоящее время даже невозможно представить себе филолога, который бы изучал какой-либо славянский язык совершенно изолированно и вне его связи с другими его ближайшими и отдаленными его родичами. Но то, что давно стало аксиомой в языковедении, то все еще остается *privm desiderium* в литературоведении. Ведь и в настоящее время в изучении славянских литератур безусловно преобладают центробежные стремле-

ния над центростремительными. Правда, историки русской и сербо-хорватской литературы не забывают обыкновенно упомянуть о влиянии на их древнейшие периоды древнеболгарской, историки польской не отрицают такого же воздействия на нее со стороны древнечешской, а историки южнорусской и западнорусской прекрасно понимают невозможность их изучения без современной им польской, но все же такие опыты когэрентного, так сказать, изучения славянских литератур носят случайный и эпизодический характер и сводятся, главным образом, к выяснению источников тех или иных литературных произведений. Но то, что законным и естественным является с точки зрения частной славянской филологии, то, по меньшей мере, недостаточным является с точки зрения общей славянской филологии, которая рассматривает славянские литературы в их взаимной связи. В противоположность обзорам литературной эволюции отдельных славянских народов, она не может ограничиваться констатированием факта того или другого заимствования, но должна стремиться выяснить те общие условия и причины, которые в истории литератур разных славянских народов породили общие последствия. *Такие, например, могучие движения, как борьба за национальную Кирилло-Методиевскую церковь, богомилство, итальянский гуманизм, реформация, «Просвещение», романтизм и прочее»*¹⁹ отразились в большей или меньшей степени почти во всех славянских литературах и, однако же, до сих пор не было сделано ни одной попытки рассмотреть и изучить эти движения в общеславянском масштабе. А между тем без целого ряда таких детальных сравнительно-литературных работ немислимо даже мечтать о составлении такой истории славянских литератур, которая была бы общей не только по названию, как известная «История славянских литератур» Пыпина и Спасовича²⁰, а по существу, т. е. по композиции и методу.

К тому же выводу мы придем, если бросим взгляд на современное изучение славянских языков. Правда, в противоположность истории славянских литератур, почти не пользующейся сравнительным методом, славянское языкознание не только не чуждается его, но со времени Востокова, открывшего при его помощи тайну происхождения церковнославянских юсов (т. е. носовых гласных), продолжает с успехом применять его как при исследовании праславянского языка, так и при изучении разных вопросов истории и диалектологии отдельных славянских языков. Тем не менее нельзя не сознаться, что центром тяжести при таких разысканиях до сих пор являлась, все-таки, не славянская языковая система в ее целом, а исторические судьбы отдельных ее членов. Этим и объясня-

ется крайняя бедность научной литературы общими пособиями по изучению славянских языков. И в данный момент нельзя указать ни одного труда, который бы дал полную картину славянского языкового мира как одного органического целого. Ведь капитальный четырехтомный труд Миклошича «Vergleichende Grammatik der slav[ischen] Sprachen» (Wien, 1870—1876) в настоящее время совершенно устарел, аналогичный двухтомный труд Вондрака «Vergleichende slavische Grammatik» (Göttingen, 1906—1909) уже в момент своего появления поразил всех своей некритичностью, чрезмерным субъективизмом и крайней неполнотой своего фактического и библиографического материала, а весьма полезные во многих отношениях двухтомные «Лекции по славянскому языкознанию» (Киев, 1895—1897) Флоринского представляют соединение самостоятельных, хотя и построенных по единому плану грамматик отдельных славянских языков в одной книге... Эта скудность пособий синтетического характера, конечно, находится в теснейшей связи с крайне недостаточной разработкой многих общих вопросов славянского языкознания, напр[имер], об отношении праславянского языка к индоевропейским и, в частности, к балтийским, о классификации современных [славянских]²¹ языков, о взаимном их влиянии, о параллелизме их развития, о географических, этнографических и культурно-исторических факторах их истории и т. д. А между тем пока на эти и подобные вопросы наука не дала полного и удовлетворительного ответа, придется признать а priori тщетными все попытки воссоздать ход эволюции славянского слова как единого величественного психофизического процесса. Без наличности указанного условия, еще менее мы будем иметь основание надеяться на появление такого труда, который нарисовал бы общую картину развития духовной жизни славянского племени и тем самым дал бы как бы энциклопедию славянской филологии, *но энциклопедию не в смысле написанной разными авторами, хотя бы по одному плану, библиотеки книг, вроде той, напр[имер], которую издавала до Мировой войны Русская Академия наук, а в виде стройной системы нашей науки, ее как бы философии.*

Таковы — конечно, лишь самые общие теоретические задачи славянской филологии. Но, кроме них, наша наука имеет и множество жизненных, чистопрактических задач. Иначе и не может быть! Ведь славянская филология не есть наука, которая изучает давно отживший и сказавший свое последнее слово культурный мир, как это делает, напр[имер], филология ассирийская или египетская. Нет, она равно далека и от археологи-

ческого крохоборства и от благочестивого гробокопательства, ибо предмет ее исследования — духовная деятельность *племени, которое*²², несмотря на то, что подвигается на исторической арене уже более 1000 лет, в сущности, лишь начинает жить. Но ни один народ не может жить и действовать не зная самого себя, своего прошлого и настоящего. Славянская филология, которая изучает законы духовного развития славянского племени, является одним из главных светочей, озаряющих путь исторического развития славянских народов. А потому и знакомство с ее выводами необходимо для всякого серьезного славянского общественного деятеля. Что, выражаясь так, я нисколько не преувеличиваю жизненного значения нашей науки, это доказывает вся история славянского возрождения. Не случайно почти все главные вожди и корифеи этого мощного и полного нравственной красоты движения были слависты, хотя и, за редчайшими исключениями, они и не имели счастья излагать свои знания и научные завоевания *ex cathedra*. Но это не мешало им, по большей части, автодидактам и дилетантам в области точной науки, сделать прямо чудеса почти во всех областях славяноведения. Простой свинопас Караджич составил словарь сербского языка, равного которому, по научным достоинствам, трудно сыскать даже в мировой литературе²³; учитель и директор гимназии Шафарик заложил фундамент науки славянских древностей и написал образцовую книгу о славянской этнографии²⁴; домашний учитель Палацкий составил классическую «Чешскую историю»²⁵; два сельских учителя братья Миладиновы составили классический сборник песен македонских болгар²⁶; простой монах Хилендарского монастыря (на Афоне) Паисий сделал первую попытку воссоздать славное прошлое болгарского народа²⁷. И т. д. По большей части, нищие в материальном отношении, но истинные Крезы научного энтузиазма, все эти и подобные «будители» стремились лишь к одному

Чтоб... угнетаемому — вновь
Воздать все прежнее значенье!

Дабы достигнуть этой высокой цели, они бесстрашно спускались в самые глубокие родники народного духа и поочередно выносили оттуда полновесные слитки золота то в виде художественных и научных картин великого прошлого родного народа, то в виде неувядаемо-прекрасных произведений народной музыки, то в виде неистощимых сокровищ родного слова, то в виде остатков национальной вещественной и неувядающей

старины. Почти каждый «властенец» или «будитель» был одновременно и филолог, и лингвист, и археолог, и этнограф, и историк, но такими полигисторами их делали не какие-либо абстрактные академические интересы, а сама жизнь, властно толкавшая их к изучению всего того, что являлось залогом духовной независимости славянства.

Таким образом, перед нами замечательный факт: славянская филология, дитя славянского национального возрождения, с своей стороны, уже с первых шагов своего развития, сделалась одним из самых мощных факторов его дальнейшего прогресса²³.

Это обстоятельство и служит лучшим доказательством того, что славянская филология не есть только достояние некоторых наглухо замурованных от жизни ученых кабинетов, и не есть даже искусственно возвращенный цветок какой-нибудь хотя бы ученойшей небылицы, но есть живой и цельный организм, связанный миллионами нитей с самыми реальными, житейскими и даже, так сказать, с кровными интересами общественной, политической и духовной жизнью славянских народов. Я скажу даже более: как ингредиент и главное условие национального самосознания, славянская филология должна составлять необходимый элемент научного мирозерцания всякого работающего среди славянских народов гражданина.

Это положение не представляет, впрочем, ничего нового. Но еще задолго до Великой войны не только некоторые ученые слависты, но и часть русской и славянской прессы неоднократно и настойчиво доказывали необходимость введения начатков славяноведения, а, следовательно, и славянской филологии в систему преподавания средней школы. Но если десять лет тому назад одним эта мысль казалась фантастической мечтой сентиментального славянолюбия, другим — опасной политической ересью, а третьим — плодом ученого доктринерства, то в настоящее время после радикальной перестройки карты Европы только слепой не увидит той истины, что в самом близком будущем широкое знакомство, научное и практическое, со славянским миром станет одной из самых насущных и жизненных потребностей русского народа. Ведь ныне с Россией на западе граничат не две германские империи, как еще в недавнем прошлом, а почти исключительно (если не считать Румынии, культура которой в значительной степени славянская) славянские государства, именно Польша и (если Восточная Галиция и Унгарская Русь объединятся с прочей Россией) — Чехия. Поставленный лицом к лицу со своими соплеменниками, русский народ принужден будет вступить с ними в тес-

нейший контакт. И в какой бы плоскости этот контакт ни совершался, в области ли внешних дипломатических отношений со славянскими государствами, или в области экономических и торговых связей, или в сфере чисто духовного и культурного строительства — всюду и всегда *sine qua non* плодотворности такого взаимоотношения будет знакомство с географией славянских земель, этнографическим составом их населения, с историческим прошлым славянских народов, с их языками и литературами, с современными экономическими и политическими условиями их развития и т. д., и т. д. Но откуда же эти разнообразные и сложные сведения будут почерпаться? Да, конечно, из славяноведения, одну из важнейших дисциплин которого и составляет славянская филология.

Сказанное о России *mutatis mutandis* приложимо и к прочим славянским государствам. И здесь спрос на научно подготовленных специалистов-славистов в ближайшее время должен будет удесятиться. Те крайне сложные и запутанные этнографические и культурно-политические отношения отдельных славянских народов как друг к другу, так и к соседям, и которые, к великому сожалению друзей человечества, чреватые самыми грозными конфликтами, не могут быть беспристрастно урегулированы без экспертизы славистики вообще и славянской филологии в частности, *а если мы вспомним теперь, что два наиболее даровитых и культурных славянских народа, чешский и польский, скованные тяжелыми условиями подневольного существования, до сих пор только незначительную часть своих духовных и материальных сил могли отдавать изучению своей народности, и что только теперь, когда тот и другой, как фениксы, восстали из пепла к новой жизни, оба они получили возможность поставить у себя преподавание славяноведения на подобающую высоту, — если обратить внимание на все это, то получим полное право ждать лучших дней для славяноведения и на славянском западе. Да! Все говорит, что мы находимся накануне нового, небывалого расцвета славянских изучений. Этот расцвет будет так могуч и так пышен, что перед ним должны будут померкнуть и те бесчисленные заслуги, которые славяноведение оказало в своем более, чем столетнем прошлом.* Только теперь перед нашей наукой открывается перспектива нормального и беспрепятственного творчества во всей его необъятной широте, и только теперь славистика, — эта пока лишь незаметная часть универсального человеческого знания, — получает возможность выйти из тиши ученых кабинетов на широкий форум жизни!

Примечания

¹Статья опубликована в журнале Славянского общества Болгарии «Славянски глас» (1926. Кн. 1/2. С. 8—18. Кн. 3. С. 15—22) со следующим примечанием редакции: «С огромным удовольствием мы печатаем, в качестве второго издания (набрано в разрядку. — А. Г.), интересную и в высшей степени поучительную статью известного русского слависта, многоуважаемого Г. А. Ильинского, — мы говорим “в качестве второго издания”, поскольку, опубликованная первоначально в “Ученых записках Саратовского университетa”, 1923, [т. 1], вып. 3, [с. 123—135] с цензурными сокращениями, у нас она печатается с восстановлением этих сокращений».

²Здесь опущен союз *и*, имеющийся в подцензурном варианте статьи Г. А. Ильинского (А. Г.).

³*Wolf F. A. Prolegomena ad Homerum, sive de operum Homericorum prisca et genuina forma variisque mutationibus et probabili ratione emendandi...* Halle Saxonium, 1795. Vol. 1. 280 S. (А. Г.).

⁴В данной публикации подчеркиваются слова и предложения, выделенные автором. Курсивом обозначены цензурные изыятия в «саратовском» варианте статьи (А. Г.).

⁵Здесь опущен союз *или*, имеющийся в подцензурном варианте статьи Г. А. Ильинского (А. Г.).

⁶Здесь опущено слово *науки*, имеющееся в подцензурном варианте статьи. (А. Г.).

⁷В подцензурном варианте статьи вместо предлога *в* стоит предлог *на* (А. Г.).

⁸[Будилович А. С.] Несколько замечаний об изучении славянского мира // Славянский сб. СПб., 1877. Т. 2. С. 53.

⁹[Грот К. Я.] Об изучении славянства: [судьба славяноведения и желательная постановка его преподавания в университете и средней школе]. СПб., 1901. С. 49.

¹⁰В подцензурном варианте статьи вместо этого слова стоит слово *политические* (А. Г.).

¹¹Видимо, здесь следует читать «более всего» (А. Г.).

¹²Ср[авни:] *Пеховский [О].* Что такое филология? // Ж[урнал] М[инистерства] н[ародного] п[росвещения]. СПб., 1872. [Ч. 164. № 12. С.] 198 (Отд. наук).

¹³[Потебня А. А.] Мысль и язык. СПб., 1862. С. 182] (А. Г.)

¹⁴В подцензурном варианте статьи здесь добавлены слова *уже давно* (А. Г.).

¹⁵*Модестов [В. И.]* Предмет, задача, цель, область и преподавание классической филологии // Ж[урнал] М[инистерства] н[ародного] п[росвещения]. СПб., [1878]. Ч. 197. [№ 6.] С. 158—159.

¹⁶Здесь опущено местоимение *я*, имеющееся в подцензурном варианте статьи Г. А. Ильинского (А. Г.).

¹⁷[Зелинский Ф. Ф.] Филология // Энциклопедический слов[арь] / Издатели: Ф. А. Брокгауз и А. И. Ефрон. СПб., 1902. Т. 35. Полутом] 70. [С.] 812.

¹⁸Будилович А. С. Несколько замечаний... С. 6 (А. Г.).

¹⁹В подцензурном варианте статьи выделенное курсивом заменено словами *социальные движения* (А. Г.).

²⁰ Пыпин А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур. СПб., 1879—1881. Т. 1—2. (А. Г.)

²¹ Слово *славянских* имеется в подцензурном варианте статьи (А. Г.)

²² В подцензурном варианте статьи слова *племени*, которое заменено словами *народа*, *который*.

²³ [Караџић В. Српски рјечник истолкован немачким и латинским рјечма... Беч, 1818. LXXII, 927 с.] (А. Г.)

²⁴ [Šafařík P. J. Slovanský národopis. Praha, 1842. XII, 178 s.] (А. Г.)

²⁵ [Palacký F. Dějiny národu českého v Čechách a na Morave. Praha, 1848—1876. D. 1—5]. (А. Г.)

²⁶ [Миладинов Д., Миладинов К. Български народни песни, собрани от братя Миладиновци... Загреб, 1861. VIII, 542 с.] (А. Г.)

²⁷ [Паисий. История славеноболгарская о народах и о царех и святых болгарских и о всех деяния и бытия болгарская: Собрано и нарождено... во лето 1862...]. Книга распространялась в списках, впервые была опубликована без некоторых фрагментов в обработке Х. Д. Павловича (См.: Павлович Х. Д. Царственик, или История българская... Будим, 1844. 80 с.) (А. Г.)

²⁸ В варианте «Славянского гласа» ошибка: вместо слова *прогресса* там стоит слово *процесса*.

**Книги, присланные Г. Бакаловым
в 1933—1939 гг.
в Библиотеку им. В. И. Ленина,
сведения о которых отсутствуют в указателе
И. Данчевой «Георги Бакалов:
Биобиблиография» (София, 1963)**

Ленин В. И. Борбата на марксизма с ревизионизма и опортюнизма. — София: Б-ка «Звезда», 1934. — 104 с.

С автографом: Публ. библ. СССР им. Ленина. Г. Бакалов.

С пометой: Пож. 24/1934.

Рец.: Бакалов Г. // Звезда. София, 1933(!). Кн. 9. С. 281—282.

Вересаев В. В. Животът на Пушкина: Биографичен очерк / Превод Ст. Попова-Бакалова. — София: п[ечатни]ца «Радикал», 1937. — 64 с. — (Б-ка «Знание. — № 8).

В инвентарной книге (Арх. РГБ. Оп. 24 д. Ед. хр. 315. С. 48) запись: Болг. ВОКС.

О книге Г. Бакалов писал М. Я. Аплетину 16.1.1937: «Специально к предстоящим пушкинским дням я уже выпустил биографический очерк Вересаева». (См.: Литература славянских народов. М., 1961. Вып. 6. С. 246).

Вишневски Б. Произход на човека / Превод под ред. на Г. Бакалов. — София: п[ечатни]ца «Братя Миладинови», 1937. — 168 с.

В инвентарной книге (Арх. РГБ. Оп. 24 д. Ед. хр. 315. С. 48) запись: Болг. ВОКС.

Перелман Я. С ракета към звездите: завоевание на небесното пространство. — София: п[ечатни]ца «Радикал», 1937. — 126 с. — (Б-ка «Знание. — № 9).

В инвентарной книге (Арх. РГБ. Оп. 24 д. Ед. хр. 315. С. 48) запись: Болг. ВОКС.

О книге Г. Бакалов писал М. Я. Аплетину 4.6.1937: «Наконец, я очень просил бы Вас сделать для меня срочную выборку популярно-научных книг [...] (в том числе книжек Перельмана и М. Ильина, за исключением «На ракете к звездам» [...]).» (См.: Литература славянских народов. М., 1961. Вып. 6. С. 247).

Работы сотрудников Отдела восточного славянства, опубликованные в рамках изучения истории отечественного славяноведения 1917 — начала 1950-х годов (Россия и эмиграция)

1978

Дьяков В. А. Политические интерпретации идеи славянской солидарности и развитие славяноведения (с конца XVIII в. до 1939 г.) // Методологич. проблемы истории славистики. М. С. 232—260.

1979

Дьяков В. А. Современное состояние и ближайшие задачи изучения истории славистики // Комплексные проблемы истории и культуры народов Центр. и Юго-Вост. Европы: итоги и перспективы исследований. М. С. 221—229.

1981

Историки-слависты СССР: Биобиблиогр. словарь-справочник. М. 205 с. Справочник составлен авторским коллективом с участием ряда ученых, среди которых сотрудники отдела В. А. Дьяков, А. Н. Горяинов, А. С. Мыльников.

План-проспект биобиблиографического словаря «Славяноведение в СССР»: (М-лы для обсуждения). М. 69 с. Проспект составил авторский коллектив с участием В. А. Дьякова, А. Н. Горяинова (члены редколлегии словаря), Е. П. Аксеновой, М. Ю. Досталь, Н. П. Митиной, М. В. Никулиной, М. А. Робинсона (члены авторского коллектива словаря).

Горяинов А. Н. Печатные материалы Георгия Бакалова в фондах Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина: (из истории болгар.-слав. книж. связей 1930-х гг.) // Рус.-болг. связи в обл. книж. дела: Сб. науч. трудов. М. С. 121—137.

Горяинов А. Н. Советская славистика 1920—1930-х годов // Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М. С. 5—21.

Горяинов А. Н. Справочник о кафедре южных и западных славян МГУ: [Рец. на кн.:] Историки-слависты Моск. ун-та... М., 1979. 211 с. // Сов. славяноведение. № 4. С. 122—123. Подп.: А. Г.

Дьяков В. А. О некоторых аспектах развития славистики 1918—1939 гг. // Сов. славяноведение. № 1. С. 78—92.

1982

Горяинов А. Н. Университетская славистика 1920—1930 гг. в Советском Союзе // Узловые вопр. сов. славяноведения: Тезисы докладов и сообщений IX Всесоюз. науч. конф. историков-славистов... Ужгород. С. 324.

Дьяков В. А. Основные черты развития славистики в межвоенный период // Zeitschrift für Slawistik. Berlin. Bd. 27. H. 1. S. 29—37.

Дьяков В. А. Состояние и перспективы исследований по истории отечественной славистики // Узловые вопр. сов. славяноведения: Тезисы докладов и сообщений IX Всесоюз. науч. конф. историков-славистов... Ужгород. С. 320—321.

1983

Из новых материалов о ленинградских славистах / Введение, публ. и примеч. *А. Н. Горяинова* // Из истории университет. славяноведения в СССР: Сб. статей и м-лов к 80-летию С. А. Никитина. М. С. 162—183.

1984

Горяинов А. Н. О подготовке славистических кадров в Ленинградском университете (1920-е годы) // Историогр. исследования по славяноведению и балканистике. М. С. 261—283.

1985

Горяинов А. Н. О ходе работы над биобиблиографическим словарем «Славяноведение в СССР» // Нар.-демокр. революции и развитие славян. стран по пути социализма: X Всесоюз. науч. конф. историков-славистов... Тезисы докладов и сообщений. Харьков. С. 230.

Робинсон М. А. А. А. Шахматов и В. В. Виноградов // Рус. речь. № 1. С. 70—74.

1986

Горяинов А. Н., Кишкин Л. С. Книжное собрание М. П. и Н. М. Петровских // Сов. славяноведение. № 5. С. 80—86.

Горяинов А. Н. Из истории университетской славистики в первое десятилетие Советской власти // Вопр. истории славян. Воронеж. [Вып. 9]. История зарубеж. славян в сов. историографии. С. 128—138.

Митина Н. П. Советское славяноведение 1920—1930-х годов и вклад польских политэмигрантов в его становление и развитие // Историография и источниковедение стран Центр. и Юго-Вост. Европы. М. С. 124—139.

1987

Отзыв З. Р. Неудлы о докторской диссертации К. А. Пушкаревича «Чехи в России». Публ. *А. Н. Горяинова* // Вопр. историографии и истории зарубеж. славян. народов: К 150-летию славяноведения в Моск. ун-те. М. С. 160—161.

1988

Горяинов А. Н., Шостакович Б. С. Славяноведение в Иркутске (вторая половина 1930-х — 1940-е годы) и К. А. Копержинский // Славян. филология. Л. Вып. 6. С. 156—170.

Горяинов А. Н. Отечественное славяноведение: история и соврем. состояние // Вестник АН СССР. № 1. — С. 111—119.

Горяинов А. Н. М. Н. Покровский и начальный этап советского славяноведения // Великий Октябрь и зарубеж. славян. страны: XI Всесоюз. науч. конф. историков-славистов...: Тезисы докладов и сообщений. Минск. С. 238—239.

Дьяков В. А. Важнейшие черты развития славяноведения в 1918—1939 годах // *Stowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918—1939)*. Wrocław. S. 9—28.

1989

Горяинов А. Н. Славяноведение в Московском университете (1917—1927): из истории преподавания славистич. дисциплин и организации цикла юж. и зап. славян // Сов. славяноведение. № 4. С. 51—61.

Горяинов А. Н. Цикл южных и западных славян МГУ (1927—1930) // 50 лет ист. славистики в Моск. гос. ун-те. М. С. 13—33.

Робинсон М. А. А. А. Шахматов и молодые ученые // Рус. речь. № 5. С. 86—92.

1990

Аксенова Е. П. «Изгнанное из стен Академии»: (Н. С. Державин и академич. славяноведение в 30-е годы) // Сов. славяноведение. № 5. С. 69—81.

Горизонтов Л. Е. Федерация исторических обществ Восточной Европы (1927—1943 гг.) // XII Всесоюз. конф. историков-славистов: осн. направления ист.-славистич. исследований и преподавания университет. курса по истории юж. и зап. славян на соврем. этапе... Тезисы докладов и сообщений. М. С. 154—156.

Горяинов А. Н. Еще раз об «Академической истории» // Вопр. истории. № 1. С. 180—181.

Горяинов А. Н. Славяноведение на историческом факультете Московского государственного университета (1934—1939 гг.) // XII Всесоюз. конф. историков-славистов: осн. направления ист.-славистич. исследований и преподавания университет. курса по истории юж. и зап. славян на соврем. этапе: Тезисы докладов и сообщений. М. С. 17—18.

Горяинов А. Н. Славяноведы — жертвы репрессий 1920—1940-х годов: нек-рые неизвест. страницы из истории сов. науки // Сов. славяноведение. № 2. С. 78—89.

Никулина М. В. Русско-болгарские научные связи в области истории и филологии с начала XX в. до второй мировой войны (по м-лам переписки) // Славяноведение и балканистика в отечеств. и зарубеж. историографии. М. С. 290—316.

1991

Горяинов А. Н., Ратобильская А. В. Д. Н. Егоров: науч. деятельность и славистич. исследования // Исследования по историографии стран Центр. и Юго-Вост. Европы. М. С. 80—111.

Петровский Л. П., Горяинов А. Н. Неизвестная страница биографии С. А. Никитина: (по м-лам ОГПУ нач. 1930-х гг.) // Путь ученого: К 90-летию со дня рождения С. А. Никитина. М. С. 11—21. (Балк. иссл. — Вып. 14).

Аксенова Е. П. Из истории советской славистики в 1930-е годы // Сов. славяноведение. № 5. С. 83—93.

Горяинов А. Н. «Ленинградская правда» — коллективный организатор «великого перелома» в Академии наук // Вестник АН СССР. № 8. С. 107—114.

Горяинов А. Н. Человек неукротимой энергии: [Д. Н. Егоров] // Сов. 6-фия. № 2. С. 49—59.

Горяинов А. Н. Derzhavin, Nikolai Sevastyanovich // Great Historians of the Modern Age: An international Dictionary. New York [e. a.]. P. 534—535.

Дьяков В. А. Picheta, Vladimir Ivanovich // Great Historians of the Modern Age: An international Dictionary. New York [e. a.]. P. 568.

Робинсон М. А. Государственная политика в сфере науки и отечественное славяноведение 20-х годов // Исследования по историографии стран Центр. и Юго-Вост. Европы. М. С. 111—134.

1992

Документы к истории отечественного славяноведения 40-х годов XX в. / Публ. подг. А. Н. Горяиновым и М. Ю. Досталь // Славистика СССР и рус. зарубежья 20—40-х годов XX века: Сб. статей и м-лов. М. С. 97—144.

Робинсон М. А., Петровский Л. П. Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте «дела славистов» (по м-лам ОГПУ—НКВД) // Славяноведение. № 4. С. 68—82.

Аксенова Е. П. Академическое славяноведение в предвоенный период: (Докум. этюды из истории славяноведения в конце 1930-х — начале 1940-х годов) // Славистика СССР и рус. зарубежья 20—40-х годов XX века. С. 3—27.

Горизонтов Л. Е. Евразийство, 1921—1931 гг.: взгляд изнутри: [Публ. путешественника по евраз. литературе «Евраз. 6-фия, 1921—1931»] // Славяноведение. № 4. С. 86—104.

Из научного наследия К. А. Пушкиревича / Публ. подг. Е. П. Аксенова // Славистика СССР и рус. зарубежья 20—40-х годов XX века. С. 91—96.

Горяинов А. Н. Из забытых «мелочей» журнала «Славянски глас» (1919—1933) // Славяноведение. № 4. С. 56—67.

Горяинов А. Н. Славяноведение на историческом факультете МГУ (1934—1941 гг.) // Славистика СССР и рус. зарубежья 20—40-х годов XX века. С. 28—37.

Досталь М. Ю. Д. И. Дорошенко в Праге в 20-е годы: (страница из жизни укр. эмиграции) // Славистика СССР и рус. зарубежья 20—40-х годов XX века. С. 53—77.

Досталь М. Ю. Печатные источники для изучения истории славистики русского зарубежья: (чехословац. славистич. центр) // Славистика СССР и рус. зарубежья 20—40-х годов XX века. С. 38—52.

Дьяков В. А. Славянская идея в истории и современности // Свобод. мысль. № 4. С. 73—83.

Робинсон М. А. Письмо П. Н. Савицкого Ф. И. Успенскому // Славяноведение. № 4. С. 83—85.

Робинсон М. А. Судьбы отечественного славяноведения глазами ученого: (по письмам Г. А. Ильинского) // Славистика СССР и рус. зарубежья 20—40-х годов XX века. С. 78 — 90.

1993

Славяноведение в СССР: изучение юж. и зап. славян: Биобиблиогр. словарь. New York: Nortman Ross Publishing Inc. 528 с. Биобиблиографический словарь составлен авторским коллективом с участием широкого круга ученых, среди которых В. А. Дьяков, А. Н. Горяинов, А. С. Мыльников (составители и члены редколлегии), Е. П. Аксенова, Н. А. Богаева, Е. Л. Валева, Л. Е. Горизонтов, М. Ю. Досталь, И. А. Калужская, Т. В. Коняхина, Е. Н. Масленникова, Л. Б. Милякова, Н. П. Митина, М. В. Никулина, В. Э. Орел, Л. П. Петровский, М. А. Робинсон, Т. И. Студеникина, В. П. Сычева, Е. А. Хелимский (члены авторского коллектива).

Аксенова Е. П., Горяинов А. Н., Молок Ф. А. Константин Алексеевич Пушкаревич // Славяноведение. № 6. С. 84—97.

Аксенова Е. П., Васильев М. А. Проблемы этногонии славянства и его ветвей в академических дискуссиях рубежа 1930—1940-х годов // Славяноведение. № 2. С. 86—104.

Робинсон М. А., Сазонова Л. И. О судьбе гуманитарной науки в 20-е годы: (по письмам В. Н. Перетца М. Н. Сперанскому) // Труды Отд. древнерус. литературы. СПб. Т. 48. С. 458—471. (РАН. Ин-т рус. литературы).

Аксенова Е. П. Институт им. Н. П. Кондакова: попытки реанимации: (По материалам архива А. В. Флоровского) // Славяноведение. № 4. С. 63—74.

Аксенова Е. П. Историческая наука СССР и русского зарубежья в оценке А. В. Флоровского // Междунар. науч. конф. «Культур. наследие рос. эмиграции, 1917—1940-е годы»: Сб. м-лов. С. 17—18.

Горизонтов Л. Е. «Методологический переворот» в польской историографии на рубеже 1940—1950-х годов и советские историки // Славяноведение. № 6. С. 50—66.

Горяинов А. Н. Библиография работ Д. Н. Егорова [по истории] // Сред. века. Вып. 56. С. 306—309.

Досталь М. Ю. До історії становлення і розвитку славистики в Київському університеті св. Володимира // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. Київ. Вип. 4. С. 3—11.

Досталь М. Ю. К истории создания кафедры славистики в Киевском университете Св. Владимира // Славистика в ун-тах России: Сб. науч. трудов. Тверь. С. 9—25.

Досталь М. Ю. Круглый стол «Российская эмиграция в славянских странах» // Славяноведение. № 4. С. 127.

Досталь М. Ю. Неопубликованная статья А. А. Кизеветтера по проблемам славянской идеологии // Славяноведение. № 4. С. 81—84.

Досталь М. Ю. Российские слависты-эмигранты в Братиславе // Славяноведение. № 4. С. 49—62.

Дьяков В. А. О научном содержании и политических интерпретациях историсофии евразийства // Славяноведение. № 5. С. 101—115.

1994

Горяинов А. Н., Ратобылская А. В. Д. Н. Егоров: науч. наследие и судьба медиевиста // Сред. века. М. Вып. 57. С. 223—234.

Робинсон М. А., Досталь М. Ю. Переписка Р. О. Якобсона и П. Г. Богатырева // Славяноведение. № 4. С. 69—91.

Аксенова Е. П. Из переписки Г. В. Вернадского и А. В. Флоровского // Славяноведение. № 4. С. 92—101.

Аксенова Е. П. Историческая наука СССР и русского зарубежья в оценке А. В. Флоровского // Культур. наследие рос. эмиграции, 1917—1940: М-лы междунар. науч. конф. М. Кн. 1. С. 95—100.

Аксенова Е. П. Письмо И. О. Панаса А. В. Флоровскому 1929 года // Славяноведение. № 4. С. 108—110.

Аксенова Е. П. Последние годы Института им. Н. П. Кондакова // Рос. византиноведение: итоги и перспективы: Тезисы докладов и сообщений на Междунар. конф., посвящ. 100-летию Рус. археол. ин-та в Константинополе и 100-летию Визант. временника. М. С. 8—9.

Горяинов А. Н. Одесский славист М. Г. Попруженко в годы болгарской эмиграции (1920—1944) // Культур. наследие рос. эмиграции, 1917—1940... М. Кн. 1. С. 137—143.

Горяинов А. Н. Советский режим и судьба двух славистов: (о нек-рых м-лах из наследия Г. А. Ильинского и М. Г. Попруженко) // Из истории отечеств. филол. науки, 20—50-е годы: Тезисы докладов конф... М. С. 17—19.

Горяинов А. Н. Трактовка славянской взаимности и славяноведения в советских работах 1920—1930-х гг. // L'idea dell'unità e della reciprocità slava e il suo ruolo nello sviluppo della slavistica: Atti del Convegno della Commissione per la storia della Slavistica... Roma. P. 81—92.

Досталь М. Ю. Из переписки В. А. Францева: (письмо В. А. Францева В. С. Иконникову, письма А. В. Флоровского В. А. Францеву) // Славяноведение. № 4. С. 102—107.

Досталь М. Ю. Е. Ф. Карский в годы «советизации» Академии наук: (трагич. страницы истории сов. славистики) // Из истории отечеств. филол. науки, 20—50-е годы... М. С. 20—22.

Досталь М. Ю. Письма Н. П. Кондакова Ю. Поливке // Рос. византиноведение: итоги и перспективы. Тезисы докладов и сообщений на Междунар. конф... М. С. 45—47.

Досталь М. Ю. Славянский конгресс в Белграде в 1946 г. // Славян. съезды XIX—XX вв. М. С. 128—142.

Дьяков В. А. О давних и нынешних спорах вокруг «русской идеи» // Славяноведение. № 6. С. 32—46.

Робинсон М. А. Перелом в довоенном советском славяноведении: идеолого-теоретич. аспекты // L'idea dell'unità e della reciprocità slava e il suo ruolo nello sviluppo della slavistica. P. 93—107.

1995

Горяинов А. Н., Досталь М. Ю. А. Л. Петров и его научные славистические поездки 1920-х годов: из писем и документов рус. и чеш. архивов // Переписка славистов как ист. источник: Сб. науч. статей. Тверь. С. 94—119.

Горяинов А. Н., Петровский Л. П. Репрессированная славистика: к изучению источников из архивов органов гос. безопасности // Тоталитаризм и анти тоталитар. движения в Болгарии, СССР и др. странах Вост. Европы (20-е — 80-е годы XX века): М-лы Междунар. науч. конф... Харьков. Т. 2. С. 317—324.

Горяинов А. Н., Петровский Л. П. Тоталитаризм и славяноведение: к изучению источников по истории сов. науки 20 — нач. 50-х годов // Тоталитаризм: ист. опыт Вост. Европы. М. С. 255—280.

Досталь М. Ю., Робинсон М. А. Письма Р. О. Якобсона М. Н. Сперанскому и Л. В. Щербе // Изв. РАН. Отд-ние лит. и яз. М. Т. 54. № 6. С. 63—71.

Аксенова Е. П. К истории русской научной эмиграции в Югославии: (письма А. Л. Погодина А. В. Флоровскому) // Славяноведение. № 4. С. 78—83.

Аксенова Е. П. Материалы фонда А. В. Флоровского в Архиве Российской Академии наук о русской научной эмиграции в Чехословакии // Междунар. конф. «Рус., укр. и белорус. эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами: результаты и перспективы исследований: фонды Славян. б-ки и праж. архивов»... Сб. докладов. Прага. [Т. 1]. С. 500—507.

Аксенова Е. П. Судьба советского славяноведения первой половины 1930-х годов в письмах отечественных славистов // Переписка славистов как ист. источник. С. 120—133.

Горяинов А. Н. Некоторые новые материалы об А. Л. Беме // Междунар. конф. «Рус., укр. и белорус. эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами: результаты и перспективы исследований: фонды Славян. б-ки и праж. архивов». Прага. [Т. 1]. С. 344—352.

Досталь М. Ю. Е. Ф. Карский в годы «советизации» Академии наук // Изв. РАН. Отд-ние лит. и яз. М. Т. 54. № 3. С. 77—82.

Досталь М. Ю. Русский культурно-исторический музей в Праге в творческой судьбе В. Ф. Булгакова: (по новым архив. данным) // Междунар. конф. «Рус., укр. и белорус. эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами...» [Т. 2]. С. 548—556.

Дьяков В. А. «Русская идея» в эмигрантских изданиях 1920—1960 годов // Славяноведение. № 4. С. 3—16.

1996

Аксенова Е. П. Русские ученые-эмигранты первой волны в Югославии: (по м-лам архива А. В. Флоровского) // Рус. эмиграция в Югославии. М. С. 148—166.

Горяинов А. Н. Русский медиевист Д. Н. Егоров и советско-немецкие научные связи 1920-х годов // Вопр. истории славян. Воронеж. Вып. 11. С. 29—40.

Досталь М. Ю. Валентин Булгаков і Російський культурно-історичний музей у Празі: (з історії російської еміграції в міжвоєнній Чехословаччині) // Проблеми слов'язознавства. Львів. Вип. 49. С. 95—102.

Досталь М. Ю. Неизвестные документы по истории создания Института славяноведения АН СССР // Славяноведение. № 6. С. 3—25.

1997

Досталь М. Ю., Робинсон М. А. Лекция Е. Ф. Шмурло «Москва — Третий Рим» // Славяноведение. № 5. С. 52—66.

Аксенова Е. П. Восприятие в СССР науки русского зарубежья в 20—30-е годы // Славян. альманах, 1996. М. С. 130—142.

Аксенова Е. П. Флоровский Антоний Васильевич // Рос. зарубежье: золотая кн. эмиграции. Энцикл. биограф. словарь. М. С. 650—653.

Аксенова Е. П. А. В. Флоровский и Русское историческое общество в Праге // Rossica: науч. исследования по русистике, украинистике, белорусистике. [Прага]. № 1. С. 77—82.

Горяинов А. Н. Попруженко Михаил Георгиевич // Рос. зарубежье: золотая кн. эмиграции. С. 597—599.

Досталь М. Ю. Идея славянской солидарности и несостоявшийся в Москве в 1948 г. первый общеславянский конгресс ученых-славистов // Славянский вопрос: веки истории. М. С. 182—203.

Досталь М. Ю. Проблемы закарпатского национального возрождения в трудах русских и украинских эмигрантов в межвоенной Чехословакии // Славяноведение. № 6. С. 67—72.

Досталь М. Ю. Славянская комиссия Академии наук СССР (1942—1946) // Славян. альманах, 1996. М. С. 107—129.

1998

Бернштейн С. Б. Из «Зигзагов памяти» / Публ. А. Н. Горяинова и М. Ю. Досталь // Славяноведение. № 1. С. 89—100.

Горяинов А. Н., Робинсон М. А. Шесть писем А. Л. Бема и о А. Л. Беме // Славяноведение. № 4. С. 94—104.

Аксенова Е. П. Вдали от родных берегов: (об условиях жизни и работы рус. ученых в первые годы эмиграции) // Славян. альманах, 1997. М. С. 168—181.

Аксенова Е. П. Из переписки В. А. Мошина и А. В. Флоровского // Русь и юж. славяне: Сб. статей к 100-летию со дня рождения В. А. Мошина... СПб. С. 134—143.

Аксенова Е. П. Славянская идея и советское славяноведение перед Второй мировой войной // Славян. идея: история и современность. М. С. 160—172.

Горяинов А. Н. [Рец. на кн.]: А. И. Доронченков. Рос. эмиграция «Первой волны» о нац. проблемах покинутого отечества. СПб., 1997 // Славяноведение. № 4. С. 118—119.

Горяинов А. Н. «Славянская взаимность» в трактовке советской историографии 1920 — 1930-х годов // Славян. идея: история и современность. С. 147—159.

Досталь М. Ю. Белградский славянский конгресс победителей фашизма // Славян. движение XIX — XX веков: съезды, конф., совещания, манифесты, обращения. М. С. 226—242.

Досталь М. Ю. П. Г. Богатырев в Чехословакии в 1920—1930-е годы // Славяноведение. № 4. С. 31—42.

Досталь М. Ю. Патриарх Тихон и славяне: (несколько эпизодов из жизни и деятельности рус. первосвященника) // Религия и политика в Европе XVI—XX вв. Смоленск. С. 114—124.

Досталь М. Ю. Славянский съезд победителей фашизма // Всеславян. Собор: Альманах. М. С. 42—46.

Досталь М. Ю. Bratislavské roky historika Eugena Julianoviča Perfeckého // Slovenské štúdie. Bratislava. [Sv.] 1. S. 51—56.

Робинсон М. А. К. Я. Грот — общественные взгляды и судьба в науке (начало 30-х годов) // Славян. альманах, 1997. М. С. 196 — 210.

1999

Аксенова Е. П., Горяинов А. Н. Русская научная эмиграция 1920 — 1930-х годов: по переписке М. Г. Попруженко и А. В. Флоровского // Славяноведение. № 4. С. 3—15.

Горяинов А. Н. Славянская идея и русская эмиграция в Болгарии: (по м-лам журн. «Славянски глас», 1920—1933 гг.) // Славян. альманах, 1998. М. С. 133—141.

Досталь М. Ю. «Борьба с космополитизмом» на историческом факультете МГУ весной 1949 г. // Интеллигенция и власть. М. С. 167—175.

Досталь М. Ю. Владимир Иванович Пичета // Историки России XVIII—XIX веков. М. Вып. 6. С. 97—110. (Арх.-информ. бюл. / Ист.-арх. отд.-ние Междунар. акад. информатизации. № 2(22)).

Досталь М. Ю. Е. Ю. Перфецкий. — популяризатор славянской идеи в Словакии в 20-е годы XX века // Берасцейскі хронограф: Зборнік науковых прац. — Брэст. Вып. 2. С. 273—279.

Досталь М. Ю. Письма русских ученых-эмигрантов Н. П. Кондакова и Г. В. Флоровского Иржи Поливке // Славяноведение. № 4. С. 90—101.

Досталь М. Ю. Славянское движение в годы второй мировой войны // Идея славян. взаимности в прошлом и настоящем: (к 150-летию I славян. съезда: Сб. м-лов симпозиума...) М. С. 45—48.

Досталь М. Ю. Украинская тематика на страницах журнала «Славяне» в годы Великой Отечественной войны // Славян. альманах, 1998. М. С. 142—159.

2000

Аксенова Е. П. Из истории отечественного славяноведения, 1930-е годы. — М. Ин-т славяноведения РАН. 222 с.

Аксенова Е. П. Георгий Флоровский о славянской идее // Славян. мир на пороге третьего тысячелетия: (Сб. м-лов симпозиума...) М. С. 80—85.

Аксенова Е. П. Г. В. Флоровский о славянской идее // Славяноведение. № 5. С. 93—100.

Досталь М. Ю. «Новое славянское движение» в СССР и Всеславянский комитет в Москве в годы войны // Славян. альманах, 1999. М. С. 175—188.

Досталь М. Ю. А. С. Пушкин на страницах журнала «Славяне» (1942—1945) // Е. Р. Дашкова и А. С. Пушкин в истории России. М. С. 142—147.

Досталь М. Ю. А. С. Пушкин на страницах журнала «Славяне» (1942—1945) // А. С. Пушкин и мир славян. культуры: (к 200-летию со дня рождения поэта). М. С. 256—263.

Досталь М. Ю. [Рец. на кн.:] Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1918—1939). — Praha, 1998 // Славяноведение. № 4. С. 83—84.

Робинсон М. А. Академик А. А. Шахматов: последние годы жизни: (к биографии ученого) // Славян. альманах, 1999. М. С. 189 — 203.

2001

Аксенова Е. П., Досталь М. Ю. Русская ученая академия в Праге в годы второй мировой войны // Славяноведение. М. № 4. С. 31—54.

Аксенова Е. П., Досталь М. Ю. Русский свободный университет (Русская ученая академия) в годы Великой Отечественной войны // Rossica: науч. исследования по русистике, украинистике и белорусистике. [Вып.] 3—4 (1998—1999). № 2. С. 85—102.

Горяинов А. Н., Досталь М. Ю. Проблема научной этики в воспоминаниях С. Б. Бернштейна о 1930—1950-х годах // Славян. альманах, 2000. М. С. 349—358.

Аксенова Е. П. Славянофил А. А. Башмаков о кризисе славянской идеи // Славяноведение. № 5. С. 83—89.

Аксенова Е. П. Славянская идея в русской философской мысли (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, Г. В. Флоровский) // Славян. альманах, 2000. М. С. 152—167.

Горяинов А. Н. [Рец. на кн.]: С. И. Михальченко. Юридический факультет Варшавского университета, 1869—1917 гг.: краткий ист. очерк. Брянск, 2000; Е. Ляцкий: м-лы к биографии / Подг. текстов и публ. С. И. Михальченко. Брянск, 2000 // Славяноведение. № 5. С. 112—113.

Досталь М. Ю. Запись беседы А. А. Жданова с организаторами конгресса ученых-славистов, март 1948 г. // Ист. архив. С. 3—13.

Досталь М. Ю. Пичета Владимир Иванович (1878—1947) // Историки России: Биографии. М. С. 571—580.

Досталь М. Ю. Проблемы славяноведения (всеславянский аспект) на страницах «Исторического журнала» в годы Великой Отечественной войны // Проблемы славяноведения: Сб. науч. статей и м-лов. Брянск. Вып. 3. С. 291—308.

Робинсон М. А. Письма на родину: ученые-эмигранты и рос. славистич. элита (20-е годы) // Славян. альманах, 2000. М. С. 211—235.

2002

Бернштейн С. Б. Зигзаги памяти: Воспоминания. Дневниковые записи / Отв. ред. акад. РАН В. Н. Топоров; Публ. подг. М. Ю. Досталь и А. Н. Горяиновым при участии Г. К. Венедиктова, В. П. Гудкова, Р. В. Булатовой и Е. Н. Овчинниковой. М.: РАН. Ин-т славяноведения; МГУ им. М. В. Ломоносова. Филол. фак. 374 с.

Бирман М. А., Горяинов А. Н. Российские интеллектуалы-эмигранты в Болгарии 1920—1930-х годов // Новая и новейшая история. № 1. С. 173—193.

Горяинов А. Н., Досталь М. Ю. Профессор С. Б. Бернштейн о болгарском менталитете (по воспоминаниям ученого) // Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополит. столкновений XX в. СПб. С. 91—97.

Аксенова Е. П., Записка А. В. Флоровского 1938 г. «Славянскому институту в Праге» // Славяноведение. № 4. С. 65—67.

Аксенова Е. П. Славянская идея в русской философской мысли: Н. А. Бердяев // Берасцейскі хронограф: Зборнік науковых прац. Брэст. Вып. 3. С. 6—14.

Горяинов А. Н. Всеволод Измайлович Срезневский и Библиотека Академии наук // И. И. Срезневский и соврем. славистика: наука и образование: Сб. науч. трудов. Рязань. С. 50—57.

Горяинов А. Н. В. И. Пичета как поборник единства славян и сторонник идей социализма // Славян. альманах, 2001. М. С. 286—303.

Горяинов А. Н. Трагическая страница биографии В. И. Пичеты в свете одной стенограммы 1928 г. // Славяноведение. № 1. С. 62—72.

Горяинов А. Н. Тюремная запись В. И. Пичеты 1931 г. на книге Л. П. Гроссмана «Записки д'Аршиака» // Археогр. ежегодник за 2001 год. М. С. 188—190.

Досталь М. Ю. [Рец. на кн.]: L. Harbul'ová. Ladomirovsk reminiscencie: z dejin ruskej pravoslavnej misie v Ladomirovej, 1923—1944 гг. // Славяноведение. № 4. С. 99—100.

Робинсон М. А. Русская академическая элита: советский опыт (1910-е — 1920-е годы) // Новое лит. обозрение. М. № 53. С. 159—198.

Робинсон М. А. Отделение русского языка и словесности в период реформирования Академии наук (1920-е годы): взгляд изнутри // Славян. альманах, 2001. М. С. 234—262.

Робинсон М. А. Русские слависты-эмигранты и их контакты 20-х годов с коллегами, оставшимися на родине: (по м-лам переписки) // Emigracja gosyjska: Losy i idee. Łódź. S. 135—150.

2003

Горяинов А. Н., Досталь М. Ю. Труды С. Б. Бернштейна в области истории славяноведения // Проблемы славяноведения: Сб. науч. статей и м-лов. Брянск. Вып. 5. С. 219—225.

Горяинов А. Н., Иванов Ю. Ф. Новое об академике В. И. Пичете // Вопр. истории славян. Воронеж. Вып. 16. С. 3—34.

Горяинов А. Н. В. И. Срезневский — археограф, славяновед и общественный деятель // Славян. альманах, 2002. М. С. 237—252.

Досталь М. Ю. А. Духнович в интерпретации русских и украинских эмигрантов в межвоенной Чехословакии // Олександр Духнович і наша сучасність: міжнародна наукова конференція, присвячена 200-літтю від дня народження О. Духновича: Тези доповідей... Пряшів. С. 41.

Досталь М. Ю. Кафедра славянской филологии в МГУ (1943—1948): (к 60-летию ее основания) // Славяноведение. № 5. С. 32—47.

Досталь М. Ю. Научные связи советских славистов со славянскими учеными в 40-е г. XX в. // Межславян. связи и взаимодействие в Вост. Европе: история, проблемы, перспективы. Брянск. С. 16—19.

Досталь М. Ю. [Рец. на кн.]: Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Praha, 2000—2002. D. 1—2 // Славяноведение. № 4. С. 104—105.

Досталь М. Ю. Сектор славяноведения Института истории АН СССР // Славян. альманах, 2002. М. С. 253—290.

Досталь М. Ю. Становление кафедры славянской филологии в ЛГУ // Проблемы славяноведения. Брянск. Вып. 5. С. 193—203.

Досталь М. Ю. Украинская славистика в канун и в годы Великой Отечественной войны // Белоруссия и Украина: история и культура: Ежегодник 2003. М. С. 347—354.

Робинсон М. А. Академик В. Н. Перетц — ученик и учитель // Славян. альманах, 2002. М. С. 178 — 236.

Робинсон М. А. Отделение русского языка и словесности Российской Академии наук (конец 1910-х — 1920-е годы) // Histoire de la slavistique: Le rôle des institutions. Paris. P. 68 — 87.

2004

Горяинов А. Н., Ратобильская А. В. Дмитрий Николаевич Егоров (1878—1931) // Портреты историков: время и судьбы. М. Т. 3. Древний мир и средние века. С. 387—406.

Горяинов А. Н. «Тут и вся наша с Вами работа...»: Д. Н. Егоров и В. И. Невский в их переписке, [6-фия трудов Д. Н. Егорова по 6-фии и библиотекосведению] // Б-фия. М. № 2. С. 84—95.

Досталь М. Ю. А. В. Духнович в освещении карпатоведа Ф. Ф. Аристова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія історія. Ужгород. Вип. 9. С. 209—213.

Досталь М. Ю. Кафедра истории южных и западных славян МГУ в первые послевоенные годы // Проблемы славяноведения. Брянск. Вып. 6. С. 129—142.

Досталь М. Ю. Международные научные связи советских славистов в 40-е годы XX в. // Славянский альманах, 2003. М. С. 244—291.

Матвеева И. В. Из жизни русской эмиграции в Болгарии: отрывки воспоминаний / Публ. А. Н. Горяинова // Славян. альманах, 2003. М. С. 491—515.

Робинсон М. А. Слависты и «новая религия» вместо науки (1920-е — начало 1930-х годов) // Славян. альманах, 2003. М. С. 204—243.

Робинсон М. А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 — начало 1930-х годов). М.: Индрик. 430 с.

Сокращения названий учреждений и их подразделений, в которых хранятся использованные в книге документы

Арх. БАН	Архив Болгарской Академии наук, София
Арх. РГБ	Архив Российской государственной библиотеки, Москва
БГМТ	Библиотека Государственного музея Л. Н. Толстого, Москва
ГАРО	Государственный архив Рязанской области, Рязань
ГМТ	Государственный музей Л. Н. Толстого (фонды), Москва
МИБ РГБ	Музей истории Российской государственной библиотеки, Москва
ОР и РК РНБ	Отдел рукописей и редких книг Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург
ОР РГБ	Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, Москва
РГАЛИ	Российский государственный архив литературы и искусства, Москва
РО ИРЛИ	Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской академии наук, Санкт-Петербург
ЦГА СПб.	Центральный государственный архив Санкт-Петербурга

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А

- Абрамович Д. И. 51
Авджиев Ж. 177, 199
Адрианова-Перетц В. П. 51
Аксаков И. С. 38, 121, 149, 212
Аксенова Е. П. 4—7, 12, 21, 29, 30, 33,
201, 254, 256, 257, 299, 301—309
Акулов А. И. 32
Александров Г. Ф. 144
Алексеев, студент 76
Алпатов В. М. 30, 32, 83, 258, 259
Алпатов М. А. 115
Альтшуллер М. И. 132
Амиантов Ю. Н. 152, 153
Ананьич Б. В. 32
Анатольев П. А. 165
Андреев В. 240
Андреев Л. Н. 157, 167
Андреева М. В. 88
Анголовский 271
Антонов-Овсенко В. А. 61
Анфилофьева М. А. 176
Анциферов Н. П. 211, 213, 220, 238,
240
Аплетин М. Я. 198, 298
Апостолов (Арденс) Н. Н. 223
Априлов В. Е. 244, 256
Аптекарь Б. В. 88
Арасимович Л. В. см.: Разумовская
Арденс Н. Н. см.: Апостолов
Аристов Ф. Ф. 310
Аросев А. Я. 269—272
Арсеньев С. В. 185
Артузов А. Х. 166
Архангельская А. Г. 164
Архиппов К. А. 67
Аст Ф. 280
Ахматова А. А. 176
Ашбель М. И. 62
Ашнин Ф. Д. 31, 32, 83, 258, 259

Б

- Базанова Д. В. 240
Бакалов Г. б. 90, 176—203, 290, 299
Бах А. Н. 131, 134
Бахрушин С. В. 67, 164, 168
Башмаков А. А. 15, 30
Безруч П. 230
Бек Х. Д. 280
Белинский В. Г. 146, 191
Белкин А. А. 149
Белошевская Л. 240
Бель М. 266
Бем (Омельяненко) А. И. 216—218
Бем А. Л. 7, 18, 204, 205, 209—231,
234—243, 255, 268, 269, 275, 305,
306
Бем Т. А. см.: Рейзер
Бенеш Э. 140
Бенешевич В. Н. 22, 32, 51, 83, 204,
214, 249
Берберова Н. 175
Беркова (Птицына) Е. А. 80, 187, 188
Берналь Диас дель Кастильо, кон-
кистадор 115
Бернгарди А. Ф. 280
Бернштейн С. Б. 33, 44, 53, 56, 57, 64,
65, 71, 76—81, 83—88, 181, 183, 200,
201, 306, 308, 309
Бесядовская Е. К. 71
Бечка И. 260, 271, 273, 275
Битнер Х. 22
Благоев Д. 179, 182, 200
Благоева Н. 182
Блок А. А. 230
Бобинский С. 42
Боброва С. П. 139, 140, 220
Бобчев С. 13, 16, 30, 249
Богаева Н. А. 303
Богатырев П. Г. 23, 65, 266, 275, 304,
307
Богданов В. В. 66, 67, 69
Богословский М. М. 164
Богучарский В. Я. 209
Бодянский О. М. 267, 280
Божков Д. 194
Бонч-Бруевич В. Д. 178, 180, 184, 188,
200, 208, 231—234, 237, 240, 241
Борил см.: Борис
Борис (Борил), болгарский царь 257,
259
Ботев Х. 179, 182, 184, 193, 197
Бочаров С. Г. 230, 238, 239, 241, 242
Брандль В. 244, 257
Брандт Р. Ф. 54, 85, 185
Брачев В. С. 32, 152
Бржезина О. 230

Бродский А. Л. 132
 Бродский Н. Л. 119, 149, 220
 Бубеникова М. 7, 204, 205, 224, 238, 241, 242
 Будде Е. Ф. 81
 Будилович А. С. 281, 290, 296
 Будкевич Б. 22
 Бузескул В. П. 112
 Бузук П. А. 22, 249
 Булатова (Никитина) Л. В. 160
 Булахов М. Г. 82, 258
 Булаховский Л. А. 38
 Булгаков В. Ф. 124, 305, 306
 Булгаков С. Н. 120
 Буня М. 241
 Буткевич К. Ф. 274
 Бухарин Н. И. 134, 184, 193
 Быстров В. 242
 Бычков А. Ф. 250, 258
 Бычков И. А. 261

В

Вазов И. 244
 Валева Е. Л. 303
 Валк С. Н. 28, 212
 Вартапетов, студент 76
 Варшавский С. 260, 263, 265—275
 Василев И. 22
 Василевский П. 33
 Васильев М. А. 303
 Васильевский В. Г. 261
 Вейнгарт М. 271
 Венгеров С. А. 212, 220, 228
 Вергун Д. Н. 55
 Веревкина А. Н. 114
 Вересаев В. В. 298
 Веркович С. 52, 85
 Вернадский В. И. 23, 120
 Вернадский Г. В. 304
 Веселовский А. Н. 45, 220
 Веселовский С. Б. 168
 Видаль Ф. 157
 Виноградов А. К. 101, 185, 186
 Виноградов В. В. 23, 300
 Виноградов П. Г. 90
 Витте Х. 111, 115
 Вишневский Б. 298
 Вознесенский С. В. 120, 123, 149
 Волгин В. П. 61, 62, 65, 66, 72, 75, 109
 Волков, сотрудник НКВД 170
 Волконский, князь 155
 Вольф Ф. А. 279, 280, 296
 Вондрак В. 292
 Воскресенская Л. А. 161
 Востоков А. Х. 207, 237, 280, 291
 Вукотич Н. А. 218, 223, 232
 Вялова С. О. 274

Г

Габровский Н. 177
 Гайсинович А. И. 165

Гальберштадт Л. 173
 Ганка В. 234
 Гаршин В. М. 246, 257
 Гегель Г. 45, 146, 283
 Гејдрих Р. 235
 Гельмольт, немецкий хронист 94, 95
 Генкина Э. В. 146
 Генрих Итальянец 274
 Георгиев К. 203
 Георгиевский А. П. 38, 82
 Герцен А. И. 126, 146, 191
 Гершензон М. О. 90
 Гессен С. И. 227
 Гиляровский В. А. 120
 Гинцбург И. Я. 210, 232
 Глушков В. 241
 Гоголь Н. В. 125, 228—230, 246, 257
 Гольдсвейзер А. Б. 157
 Гомер 279, 296
 Горизонтов Л. Е. 7, 33, 301—303
 Городецкий Е. Н. 144
 Горький А. М. 156, 159, 170, 177, 190, 191, 197, 230
 Горяинов А. Н. 7, 30, 32, 33, 81—85, 88, 112—115, 148, 172, 199, 200, 203, 205, 238—242, 256—259, 273—275, 299—310
 Готье Ю. В. 22, 67, 122, 125, 137, 149, 150, 164, 168, 186, 187
 Грацианский Н. П. 37, 109
 Грачева Л. Е. 185, 195, 201
 Греков Б. Д. 144, 146
 Гречанинова В. С. 7, 176, 177
 Грибоедов А. С. 85
 Григоренко М. Г. см.: Пичета М. Г.
 Григорович В. И. 234, 242, 280
 Гроссман Л. П. 138, 148
 Грот К. Я. 281, 296
 Грузинский А. С. 215
 Грушевский А. С. 36, 37, 129
 Грушевский М. С. 23, 24
 Грушка А. А. 58
 Гудзий Н. К. 149

Д

Данчева Й. 177, 190, 199, 298
 Данчов Н. Г. 293
 Данчова И. Г. 203
 Деборин А. М. 184
 Дебс Ю. 203
 Дельбрюк Х. 106
 Демиденко Г. Г. 237
 Демьянчук В. К. 22
 Дербов Л. А. 82
 Державин Н. С. 13, 17, 19—21, 23, 26, 30, 44—46, 48—54, 80, 84, 180, 184, 201, 248, 253, 302
 Дживелегов А. К. 120
 Димитров Д. Д. 22, 26, 33, 52, 53, 85
 Димитрова Б. 84, 256
 Дмитриев М. В. 129, 151
 Дмовский Р. 13

Добиаш-Рождественская О. А. 104
 Добровский И. 244, 257, 278, 280
 Добролюбов Н. А. 235, 242
 Дорохотов П. 207
 Долинин (Искоз) А. С. 212—220
 Долобо М. Г. 44—46, 48, 49, 51
 Допш А. 104, 114
 Доронченков А. И. 306
 Дорошенко Д. И. 262, 273, 274, 302
 Досталь М. Ю. 5, 7, 30, 81, 142, 150—
 153, 207, 237, 260, 261, 264, 270,
 273—275, 299, 302—310
 Достоевский Ф. М. 19, 220, 225, 227,
 230, 236, 246, 257
 Драй-Хмара М. П. 24, 25, 33
 Дринов М. С. 246, 257
 Друсковский А. 42
 Дубровский С. М. 59
 Дукор Е. Я. 150, 152
 Дунаев В. А. 156, 161, 173, 174
 Дурденевский В. Н. 67, 69
 Дурново Н. Н. 23, 24, 32, 40—43, 57,
 59, 64, 65, 83, 302
 Дьяков В. А. 3, 7, 29, 82, 149, 299—305

Е

Егоров Л. Н. 16, 22, 90—115, 127, 136,
 164, 168, 181, 249, 301, 302, 305, 310
 Егоров И. псевд., см.: Никитин С. А.
 Едрева П. 202
 Елизавета Петровна, русская импера-
 трица 238
 Елин Целин, болгарский писатель,
 183
 Епифаний Славинецкий, писатель и
 ученый 284
 Еремин И. П. 51
 Еремин С. А. 44
 Ерзин С. А. 230
 Есенин С. А. 230

Ж

Жебелев С. А. 184, 249
 Жеромский С. 52
 Жирмунский В. М. 220
 Жорж М. (псевд.: Морис Парижа-
 нин) 193
 Журавлев В. К. 257, 258

З

Закревская-Бенкендорф-Буд-
 берг М. И. 175
 Зарев П. 183
 Заринский А. А. 212
 Захарова-Цедербаум К. И. 181, 200
 Збарский Б. И. 131, 133
 Зеленин Д. К. 17—19, 40, 85
 Зелина, сотрудник Библиотеки
 им. В. И. Ленина 189
 Зелинский Ф. Ф. 288, 289, 296
 Зеньковский В. В. 224, 240

Зигель Ф. Ф. 39
 Златарский В. Н. 46, 48, 84
 Злыднев В. И. 177, 179, 183, 198—200,
 203
 Зусманович Я. 75, 88
 Зутис Я. Я. 165

И

Иван IV Грозный, русский царь 104,
 114
 Иванисенко В. 33
 Иванов Г. 176
 Иванов К. 70
 Иванов Ю. Ф. 7, 139, 140, 148, 151—
 153
 Иванова В. 186, 187
 Иванова Л. В. 83
 Иванова Ю. В. 88
 Иванов-Полосин И. И. 168
 Иконников В. С. 304
 Ильин М. 298
 Ильина И. В. 153
 Ильинская А. Я. 252, 253
 Ильинский Г. А. 6, 9—11, 17, 19, 20,
 22, 23, 25, 29, 37, 39, 41, 42, 59, 64—
 68, 70, 78—80, 243, 247—255, 257—
 259, 278, 296, 303, 304
 Ильф И. 8
 Иоаннисани А. 3, 74
 Иоксимович Ч. М. 124, 125, 149
 Иоффе Э. Г. 134, 136, 138, 140, 150—
 152
 Исаев М. И. 62, 63
 Искоз А. С. см.: Долинин
 Истрин В. М. 41, 55, 58, 264

Й

Йене А. 99, 133

К

Кабакчиев Х. 72
 Казанович Е. П. 221
 Калужская И. А. 303
 Караджич В. 293, 297
 Карасев В. Г. 116, 148, 154
 Кареев Н. И. 93, 113, 114, 120
 Каринский Н. М. 248
 Карсавин Л. П. 93, 113
 Карский Е. Ф. 45, 48, 50, 57, 84, 263,
 304, 305
 Касаткин В. М. 172, 173
 Каценбоген С. 3, 83
 Кельнер В. К. 149
 Кизеветтер А. А. 303
 Кирков Г. 179
 Кишкин Л. С. 88, 300
 Ключевский В. О. 112, 117, 119, 142,
 145, 149
 Кнорин В. Г. 42, 129
 Княжнин В. Н. 219

Ковалевский А. И. 27, 33
 Ковалевский М. М. 120
 Ковач, студент 271
 Козлова О. И. 71
 Козма Пресвитер, болгарский автор
 Х в. 245, 254, 257
 Коллонтай А. М. 102
 Колоницкий Б. И. 149
 Колтановская Н. А. 220
 Коменский Я. А. 227
 Комоликова Т. Л. 160
 Кондаков Н. П. 18, 304, 307
 Кондратович И. М. 275
 Кондратьева В. Н. 67, 80, 87
 Кони А. Ф. 157
 Конон И. 128, 135, 136, 150, 151
 Константин (Кирилл), проповедник
 христианства, создатель славян-
 ской азбуки 52
 Коняхина Т. В. 303
 Копанев А. И. 236, 237, 241, 242
 Копержинский К. А. 300
 Копитар Е. 280
 Кораблев В. Н. 17, 20, 21, 23, 45, 49,
 249
 Кордуба М. 24, 33
 Корелин М. С. 90
 Коробейников М. 218
 Короленко В. Г. 120, 155, 157
 Королук В. Д. 117, 129, 148, 150
 Короткова В. И. 172
 Корш Ф. Е. 120, 211, 214
 Косминский Е. А. 109
 Коссовский А. И. 38, 44
 Костадинова Л. 84, 256
 Костюшко И. О. 200
 Котляревский И. П. 207, 237
 Котляревский Н. А. 274
 Кохановский Я. 39
 Кочубинский А. А. 244
 Кравцов Н. И. 24, 70, 71
 Крамарж К. 13, 15, 30, 125
 Краснов В. А. 219
 Крижанич Ю. 117, 118, 121, 122,
 147—149
 Кристи М. П. 263, 264
 Кропоткин П. А. 157
 Крылов И. А. 256
 Кубиков И. Н. 71
 Кулаковский П. А. 121, 149
 Кулижников Г. А. 156, 159—161, 172—
 174
 Кульбакин С. М. 37, 50
 Кунов Г. 106
 Курнаков Н. С. 23
 Курнатовский Г. 123
 Куроптев Т. 88
 Кынчев С. 202
 Кюлявков К. 193

Л

Лавров П. А. 34, 44—47, 51, 52, 82, 84,
 85, 243, 254, 259
 Лавровский В. М. 109

Ламанский В. И. 39, 246, 261
 Лампрехт К. 93, 97
 Лаптева Л. П. 82, 85, 112
 Лапшин И. И. 227
 Лассаль Ф. 190
 Леманн П. 104
 Лемберг Э. А. 52, 85
 Ленин В. И. 6, 43, 76, 124, 125, 131,
 146, 191, 193, 202, 208, 231, 237, 298
 Лермонтов М. Ю. 235, 240—242, 246,
 257
 Лернер Н. О. 108, 109
 Лингарт Л. 193, 202
 Линниченко И. А. 37, 81
 Лихачев Н. П. 111
 Логачев К. И. 80, 81
 Ломоносов М. В. 238
 Лосский Н. О. 227
 Лукин Н. М. 103, 184
 Лукьяненко А. М. 36, 50
 Луначарский А. В. 47, 184, 234
 Луппол И. К. 188, 189
 Любавский М. К. 22, 32, 62, 63, 67,
 93, 111, 113, 136—138, 165, 168
 Любарская Б. Л. 176
 Ляпунов Б. М. 20, 27, 42, 50, 51, 55,
 59, 78, 81, 246, 247
 Лященко А. И. 48

М

Магеровский Д. А. 84
 Майков А. Н. 246, 257
 Макаров И. С. 168
 Макаровский С. О. 55
 Македаров, студент 87
 Маковицкий Д. П. 162, 174, 237
 Максимов А. Н. 62, 66
 Максимович Г. А. 37
 Малевич О. М. 240
 Малый И. 114
 Мальшич И. 69
 Марков Д. Ф. 7, 200
 Маркс К. 35, 109, 169, 178, 179, 181,
 182, 190, 191
 Марр Н. Я. 17, 52, 84, 88, 249
 Мархлевский Ю. 47, 83
 Масарик Т. Г. 123, 228, 266
 Масленникова Е. Н. 303
 Маслов С. И. 36, 37
 Матвеева И. В. 310
 Матвеева-Исаева Л. В. 52, 53
 Матейка И. 271
 Маттеи X.-Ф. 280
 Маха К. Г. 230
 Машкова М. В. 239
 Маяковский В. В. 171
 Мейснер Д. 236
 Мельгунов С. П. 120
 Мельцер Д. Б. 136, 151
 Менжинский В. Р. 167
 Мессинг С. 166
 Мефодий, проповедник христианст-
 ва, создатель славянской азбуки
 52

Миклошич Ф. 292
 Миладинов Д. 293, 296
 Миладинов К. 293, 296
 Милетич Л. 251—253
 Милюков П. Н. 12, 90, 120
 Милотин В. П. 35
 Милякова Л. Б. 303
 Минаев И. П. 261
 Минц И. И. 144
 Мирошниченко В. А. 81
 Миско М. В. 71
 Митина Н. П. 32, 81, 299, 300, 303
 Митряев А. И. 81, 256
 Михайлов А. А. 27, 28, 33
 Михайлов К. А. 161
 Михальченко С. И. 82
 Мицкевич А. 185
 Модестов В. И. 287, 296
 Молок Ф. А. 303
 Молотов В. М. 47, 84, 134
 Морис Парижанин см.: Жорж М.
 Морковин В. 235, 240, 242
 Москаленко А. Е. 87, 164, 165, 172
 Мошин В. А. 306
 Мука Э. 264
 Мурко М. 251
 Мыльников А. С. 299, 303

Н

Нарочницкий А. Л. 175
 Наумов Е. П. 148, 149
 Невский В. И. 101, 102, 105, 106, 114,
 176, 177, 181, 182, 184, 187—189,
 194—196
 Неедлы З. 300
 Нескрасов Н. А. 234, 242
 Ненашева З. С. 29, 149
 Нечкина М. В. 144
 Нидерле Л. 129, 271
 Никитенко А. В. 234, 242
 Никитин А. В. 161
 Никитин В. В. 155
 Никитин Д. В. 155—164, 169, 172—
 174
 Никитин С. А. 22, 68, 154—156, 161,
 162, 164—167, 169—175, 300, 301
 Никитина Г. С. 162, 167, 170, 171
 Никитина Е. А. 162, 174, 175
 Никитина Л. В. см.: Булатова
 Николаев Л. П. 274
 Никольский Н. К. 34, 81, 234
 Никулина М. В. 299, 301, 303

О

Обнорский С. П. 46, 48, 49, 51, 85
 Ольденбург С. Ф. 184, 263, 264, 274
 Омеляненко А. И. см.: Бем А. И.
 Ончуков Н. Е. 51
 Орел В. Э. 303
 Орлов А. С. 62, 71, 248
 Отгон, епископ Бамбергский 261

П

Павлов Т. 183
 Павлович А. И. 55, 67
 Павлович Х. Д. 296
 Паисий Хилендарский 293, 296
 Палацкий Ф. 293, 296
 Панас И. О. 267, 273, 275, 304
 Панеях В. М. 32
 Панкратова А. М. 142—146, 153
 Пастернак С. Ф. 133
 Пашуканис Е. Б. 105, 106, 115
 Пейскар К. 129
 Пескарж И. 271
 Пеленьский Е. 18
 Перельман Я. И. 298
 Перетц В. Н. 22, 23, 38, 51, 52, 264, 303,
 310
 Перфецкий Е. Ю. 14, 15, 30
 Перченко Ф. Ф. 32
 Петерсон М. Н. 62
 Петлюра С. В. 120
 Петров А. Л. 45—47, 260—275, 305
 Петров Г. С. 194
 Петров Е. 8
 Петров Л. П. 261, 274
 Петров П. Г. 44
 Петров С. Г. см.: Скиталец
 Петровский Л. П. 7, 32, 155, 161, 166,
 172, 174, 175, 301—303, 305
 Петровский М. А. 71
 Петровский Н. М. 37
 Петровский М. П. 69, 88, 300
 Петровский Н. М. 37, 69, 88, 300
 Петрусь В. П. 22
 Петрушевский Д. М. 168
 Петухов А. А. 173
 Петухов Е. В. 39
 Пеховский О. 296
 Пешкова Е. П. 170
 Пичета (Григоренко) М. Г. 116
 Пичета В. И. 11, 22, 29, 42, 43, 80, 116—
 151, 302, 307—309
 Пичета И. 116, 148
 Пичета К. В. 136
 Платонов С. Ф. 32, 111, 136—138, 152,
 232, 233, 241
 Плетнев Р. В. 228, 240
 Плеханов Г. В. 120, 122, 123, 125, 177,
 178, 191
 Погодин А. Л. 18, 37, 40, 82, 115, 120,
 305
 Покровский М. Н. 11, 12, 16, 17, 19,
 21, 24, 29, 30, 43, 105, 106, 108, 109,
 129, 136—138, 152, 166, 301
 Покровский Ф. И. 218
 Поливка И. 52, 85, 263, 265—267, 304
 Полонский В. П. 174
 Поляков Г. П. 185, 186
 Попов Н. А. 246
 Попова-Бакалова С. 198, 298
 Поповкина Т. 173
 Попруженко М. Г. 20, 37, 66, 79, 243—
 259, 304, 306, 307

Поржезинский В. К. 55, 56
 Поспелов П. Н. 144
 Поступальский В. С. 74, 77
 Потевня А. А. 220, 284, 285, 296
 Предтеченский А. Н. 28
 Прейс П. И. 280
 Преображенский П. Ф. 61, 72—76, 88
 Протасов Н. Д. 59
 Пршемысл Отокар II, чешский король 262, 274
 Птицына Е. А. см.: Беркова
 Пустовойт П. Г. 149
 Пушкаревич К. А. 20, 27, 44, 48—52, 85, 300, 302, 303
 Пушкин А. С. 149, 228, 230, 238, 241, 257, 298
 Пшибышевский Е. 22
 Пыпин А. Н. 246, 291, 297
 Пятаков Г. Л. 216
 Пятышина А. И. 68, 75, 77, 87, 88

Р

Радзишевский Х. 127, 150
 Радич С. 20
 Радичевич Б. 54
 Радозевич М. 123
 Размирович Е. Ф. 194—197
 Разумовская (Арасимович) Л. В. 43, 51, 52
 Раппопорт Ш. 193
 Раскольников Ф. Ф. 194, 196
 Расторгуев П. А. 55, 56, 58, 59
 Ратобьльская А. В. 7, 112, 113, 301, 304, 310
 Регель В. Э. 39
 Резникова Г. В. 79
 Рейзер (Бем) Т. А. 239
 Риттер Г. 86
 Робинсон М. А. 5—7, 29, 32, 64, 80, 81, 83, 85—87, 89, 238—240, 247, 257, 258, 264, 274, 299—310
 Родосский А. 274
 Рождественская М. В. 148
 Рожков Н. А. 166, 167
 Розенталь Д. Э. 67
 Розов В. С. 212
 Романский С. 253, 256
 Ротштадт Ю. 81
 Рубинштейн Н. Л. 11, 29
 Руколь Б. М. 83, 118, 119, 148, 149
 Рыбаков Б. А. 71
 Рыхлик Е. А. 36

С

Сабанин А. В. 66
 Савин А. Н. 90, 96, 109
 Савицкий И. 30
 Сазонова Л. И. 303
 Сакулин П. Н. 220
 Свалковский Б. С. 173
 Светоний Гай Транквилл, римский историк и писатель 104

Свешников П. П. 57, 67
 Селищев А. М. 23, 37, 38, 56—60, 62—69, 72—74, 76, 77, 79—81, 246, 253
 Селищенский М. И. 67
 Семиз Д. 117, 148
 Сербента В. А. 135, 136
 Серебряков М. В. 133
 Сивков К. В. 120
 Сигизмунд II Август, польский король 150
 Сидоров Е. А. 164
 Симеон Логофет, византийский хронист 207, 237
 Сказкин С. Д. 67, 69, 109, 165
 Скиталец (Петров) С. Г. 157, 173
 Сладек З. 240
 Слободчикова О. А. 138
 Смолич А. А. 133
 Соболевский А. И. 8, 36, 40, 48, 55, 58, 85, 237, 243, 246, 257
 Советов С. С. 46, 48, 51, 52, 54
 Соколов Б. М. 55
 Соколов Н. Н. 39
 Соколов Ю. М. 61, 62, 65, 66, 70, 71
 Соколова П. Б. 187, 201
 Соколовский Л. Г. 148
 Соловьев И. М. 119
 Соловьев Н. Н. 166, 167, 170
 Спасович В. Д. 291, 297
 Сперанский М. Н. 23, 56, 58, 246, 257, 303, 305
 Срезневский В. И. 7, 204—216, 218—242, 255, 268, 275
 Срезневский И. И. 205, 207, 208, 218, 229, 236, 237, 242, 261, 280
 Сталин И. В. 26, 140, 147, 193, 196
 Стасов В. В. 157
 Степович А. И. 36
 Стефан Душан, сербский царь 36, 67, 117
 Струве П. Б. 13—15, 30
 Струмилин С. Г. 184
 Студеникина Т. И. 303
 Сурат И. З. 230, 238, 239, 241, 242
 Сухотина-Толстая Т. Л. 163, 173, 174
 Сушицкий Ф. П. 37
 Сычева В. П. 303

Т

Тарле Е. В. 11, 143, 146
 Толстая А. А. 210, 238
 Толстая А. Л. 158, 159, 172—174, 223
 Толстая С. А. 156—158, 163, 173, 174
 Толстов С. П. 76
 Толстой Л. Н. 19, 124, 154—158, 160—163, 172—174, 207, 209—211, 213, 218, 219, 222, 226, 228—230, 237—239
 Толстой С. Л. 157, 173
 Томсон А. И. 249
 Трошенко Е. 74
 Трубецкой В. С. 258
 Трубецкой Н. С. 23, 32, 302
 Тутаринов Е. А. 130, 151

Тукалевский В. Н. 210
 Туницкий Н. Л. 34, 36, 59
 Тургенев И. С. 230

У

Угланов Н. А. 102
 Улашик Н. Н. 150
 Успенский Ф. И. 45, 244, 246, 247
 Уткина Л. И. 83
 Ушаков Д. Н. 57, 58, 62—66
 Ушинский К. Д. 256

Ф

Фалев И. А. 48
 Фасмер М. Р. 40, 106, 186
 Федосеев П. Н. 144
 Фигатнер Ю. П. 233, 234
 Филипович Ф. 22
 Флоринский Т. Д. 35, 36, 292
 Флорова В. 84, 256
 Флоровский А. В. 227, 256, 303, 307,
 309
 Форстен Г. В. 261
 Францев В. А. 18, 39, 67, 246, 253, 257—
 259, 304
 Фридлянд Ц. 109, 110

Х

Хавкина Л. Б. 189
 Хаманн М. 115
 Харлампович К. В. 8, 58
 Хартл А. 273
 Хвостов М. М. 90, 175
 Хелимский Е. А. 303
 Херре П. 103
 Христов К. 122
 Худоложкин, студент 76

Ц

Цанков А. 179
 Цедербаум С. И. 181, 200
 Цедербаум Ф. И. 123
 Цурканович, чехословацкий сенатор
 271

Ч

Червяков А. Г. 130
 Черемных Г. И. 132
 Черепнин Л. В. 168
 Чернобаев В. Г. 44, 46, 49—52, 81, 85
 Чернышевский Н. Г. 191
 Чернявский Г. И. 179, 199, 201
 Черняев М. Г. 121, 149
 Чертков В. Г. 124, 157, 209, 223
 Чеснокова М. Р. 79
 Чехов А. П. 157, 246, 257
 Чеховский М. 70
 Чижевский Д. И. 227
 Чуч Г. Т. 39, 40, 43, 82

Ш

Шаляпин Ф. И. 157
 Шариков К. Г. 47
 Шатобриан Ф. Р. 238
 Шафарик П.-И. 280, 293, 296
 Шахматов А. А. 120, 206—208, 211,
 213—218, 220, 222, 225, 228, 229, 264,
 300, 308
 Шестаков Д. П. 38, 39, 82
 Шеффер, французский ученый 157
 Шиллер Ф. П. 198, 199, 203
 Шимкевич В. М. 263
 Шипов А. 114
 Шлиман Г. 113
 Шляпкин И. А. 216
 Шмид Х. 104, 114
 Шмидт О. Ю. 133, 134
 Шмидт-Отт Х. 107
 Шмурло Е. Ф. 306
 Шостакович Б. С. 300
 Штаден Г. 104, 114
 Шульгин С. П. 160, 172
 Шуляковский Е. Г. 139, 140
 Шустер У. А. 74, 80

Щ

Щеголев П. П. 110, 115
 Щепкин В. Н. 55, 65, 85
 Щерба Л. В. 305
 Щербаков А. С. 143, 153

Э

Эйнгарт, немецкий средневековый
 ученый и писатель 104, 114
 Эйхенбаум Б. М. 219
 Энгельгардт Б. М. 220
 Энгельс Ф. 27, 35, 109, 169, 178, 179,
 181, 182, 190, 191

Я

Яворский М. И. 133
 Яворский Ю. А. 37, 272—274
 Ягич И. В. 41, 245, 246, 273, 282, 283
 Яжборовская И. С. 83
 Якобсон Р. О. 23, 61, 64, 65, 230, 304,
 305
 Яковкин И. И. 233, 234
 Яковлев А. И. 140, 164, 166—168
 Яковлев Н. В. 85
 Яковлев Н. Ф. 73, 76
 Яковлев Я. А. 52
 Якунин В. В. 119
 Янчак С. С. 79
 Янчук Н. А. 56, 127, 128
 Ясинский А. Н. 39
 Ястребов Н. В. 18, 44, 45

Содержание

Предисловие.....	3
Идея «славянской взаимности» в 1920—1930-е годы: трактовка в Советской России и в среде эмиграции	8
Советское университетское славяноведение 1920-х годов	34
Д. Н. Егоров: научная деятельность и судьба медиевиста-слависта	90
В. И. Пичета, его убеждения и его трагедия	116
Семейные истоки формирования личности и начало научной биографии С. А. Никитина	154
Болгарский коммунист и главная библиотека России: вклад Г. Бакалова в новое славяноведение	176
В. И. Срезневский и А. Л. Бем: история дружбы через фронты и границы	204
Советский режим и судьба двух славистов: М. Г. Попруженко и Г. А. Ильинский	243
Кремация в Праге, или Как профессор А. Л. Петров превратился в «академика»	260
Несколько заключительных замечаний.....	276
Приложения	
Г. Ильинский. Что такое славянская филология?.....	278
Книги, присланные Г. Бакаловым в 1933—1939 гг. в библиотеку им. В. И. Ленина, сведения о которых отсутствуют в указателе И. Данчевой «Георги Бакалов: биобиблиография» (София, 1963).....	298
Работы сотрудников Отдела восточного славянства, опубликованные в рамках изучения истории отечественного славяноведения 1917 — начала 1950-х годов (Россия и эмиграция).....	299
Сокращения названий учреждений и их подразделений, в которых хранятся использованные в книге документы.....	311
Указатель имен	312

Научное издание

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОРЯИНОВ

В РОССИИ И ЭМИГРАЦИИ:
ОЧЕРКИ О СЛАВЯНОВЕДЕНИИ
И СЛАВИСТАХ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Ответственный редактор

доктор исторических наук *М. А. Робинсон*

Книга подготовлена к печати
в отделе редакционной подготовки рукописей
Института славяноведения РАН

Подписано в печать 24.10.2006. Печ. л. 20,0.
Тираж 300 экз. Заказ № . Цена договорная.

ООО «Пробел-2000»
121069, Москва,
Поварская ул., 36

